



ШЕЙЛА
УИЛЬЯМС

ДЕСЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
МАРИАМ

Впервые на русском!

Annotation

1870 год. В штате Огайо идет перепись населения. Древняя как мир темнокожая старуха дремлет во дворике небольшого домишки. Скучающий переписчик фиксирует ее ответы на вопросы. Имя: Мариам Присцилла Грейс... бывшая рабыня. Родилась: в 1758 году, а может, и раньше, место рождения... Из памяти старухи поднимаются давно забытые воспоминания: с родовых врат, с собственного непроизносимого имени раскручивается причудливая спираль жизни мамы Грейс, наполненных тяжелым трудом, заботой о больных, но также любовью и, главное, жаждой свободы, о которой родившимся в Африке остается только рассказывать своим детям. «Десять жизней Мариам» – увлекательная историческая эпопея, посвященная путешествию женщины, прозванной «африкской ведьмой», через океан лет, такой же неохватный, как Атлантический, который навсегда разлучил ее с родиной.

- [Шейла Уильямс](#)

-

- [Часть I](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [Часть II](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
- [Часть III](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
- [Часть IV](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)

- [50](#)
 - [51](#)
 - [52](#)
 - [53](#)
 - [54](#)
 - [55](#)
 - [56](#)
 - [57](#)
 - [58](#)
 - [59](#)
 - [60](#)
 - [61](#)
 - [62](#)
 - [63](#)
 - [64](#)
 - [65](#)
 - [66](#)
 - [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
 - [71](#)
 - [72](#)
 - [73](#)
 - [74](#)
 - [75](#)
 - [76](#)
 - [77](#)
 - [78](#)
-



Шейла Уильямс

Десять жизней Мариам

*Посвящается нашим прабабушкам.
Благослови Господь тех, кто их помнит.*

Всё это осталось в прошлом, но шрамы на моем старом теле видны и по сей день. А уж повидать мне довелось много разного, еще и похуже того, что случилось со мной.

Мэри Рейнольдс, бывшая рабыня из Блэк-Ривер, Луизиана. (Из интервью в Далласе, штат Техас, 1937 год. Возраст миссис Рейнольдс примерно 100 лет.)

Sheila Williams
THINGS PAST TELLING

Copyright © 2022 by Sheila Williams
All rights reserved

Печатается с разрешения Amistad (импринт HarperCollins Publishers).

Издательство выражает благодарность литературному агентству Andrew Nurnberg Literary Agency за содействие в приобретении прав.

© Н. Б. Буравова, перевод, 2024

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Иностранка®

Часть I

В прежние времена

Следует помнить, что в начале девятнадцатого века подавляющее большинство негров, как рабов, так и свободных, не проживали в Черном поясе, не выращивали хлопок и не исповедовали христианство.

Айра Берлин. Тысячи и тысячи пропавших: первые два века рабства в Северной Америке (1998)



Городок Либерти, округ Хайленд, штат Огайо

Май 1870 года

Я сижу на солнышке. Старым костям солнышко по нраву. Николас говорит:

– Мама Грейс, ежели и дальше будешь там сидеть, до хрустящей корочки прожаришься!

А я ему отвечаю:

– Вот и дай мне прожариться как следует!

На солнышке так приятно, так славно, его тепло – единственное, отчего суставы болят поменьше. Оно, как теплое масло, растекается по моим изболевшимся рукам.

Из дверей выбегает Фрэнсис и направляется прямиком ко мне. О господи, ну что за женщина! Двигается, словно солдат на марше.

– Мама Грейс! Ты так и не позавтракала. Совсем ведь истаешь, коль есть не будешь, – хмурится она.

Вижу-то я плохо, зато слышу хорошо и знаю, что Фанни хмурится. Стыдно портить такое красивое лицо. Но ее беспокойство вызвано любовью.

– Да не очень и есть-то хочется, Фанни, – говорю я ей. – Я уже порядком стара, вот и таю потихоньку. – Я смеюсь: мне нравится эта маленькая шутка.

Николас ворчит. У этого мальчика нет чувства юмора.

– Мама Грейс, тебе нужно поесть.

Я качаю головой, потираю колени. Как же солнце приятно ласкает мои кости! И вызывает в памяти историю, слышанную... да уж давненько. О чем была та история? О Зекииле в пустыне и – подумать только! – еще о костях^[1]. Высохших. Он их складывал вместе, те сухие кости. Зекииль этот... Мне всегда было очень интересно, что этот парень делал среди песков у черта на куличках.

– Мама Грейс?

– Да я уже поела, Ники. Мне хватит.

Они с Фанни пристально смотрят друг на друга, я это чувствую. И знаю, что они думают: «Ну, что ты будешь делать с этой женщиной?»

Вспомнилось ей! Мысли ее бог весть где блуждают». Я улыбаюсь про себя, откидываюсь на маленькую подушку, которую Трехцветка сшила специально для моего стула. Ощущение, будто сидишь на перине. Эта моя девчонка просто чудо. Она может сделать что угодно, вот прямо что угодно. И откуда только берутся такие славные дети?

Солнышко теплое, греет. Прямо как, помнится...

Адмирал лает надрывно, с хрипом, словно его душат. Кто-то идет. Вот же глупая псина. Любимая работа этого прохвоста – погавкать от души. А теперь рычит. О, видать, белый идет.

Непонятно, почему Ники научил глупое животное рычать только на белых... Хотя нет, понятно. Ники всем своим собакам дает одну и ту же кличку. Этот четвертый... или пятый? Да неважно, все предки этого тьякужи звались Адмиралами, и всех учили грозно рычать на белых людей. Но человека, который там идет, я пока разглядеть не могу, надо подождать, когда подойдет поближе. Слышу его голос. О, теперь он близко. Ники, должно быть, схватил Адмирала за шкуру. Один-то глаз у меня еще ничего, а вот вторым я вижу только тени. Слышны голоса, отдельные слова, но о чем речь, не понять. Впрочем, по тону похоже, толкуют о каком-то деле. Что-что он там говорит?

– Как фамилия? Сколько вас здесь живет? Кто ты такой?

Помню много лет – нет, десятилетий – назад, перед войной, тоже переписчик приходил. В этом Огайо хорошо умеют подсчитывать жителей. Тот парень все никак не мог сосредоточиться на мне и детях. Ему казалось, что у меня один цветной ребенок и один белый, и он пытался понять, как такое может быть. А я посоветовала на любом поле посмотреть на корову и быка. Или спросить, как такое получается, у собственной матери.

А у этого белого голос высокий, тонкий и пронзительный. Какой-то козлиный. Напоминает давешнего кайнтукийца. У того голос тоже прям вонзался в ухо, аж по спине холодок бежал. Ну, вроде замолчал. У Ники-то голос низкий, и к белым людям он обращается громко, вежливо, но без почтения. Его не воспитывали почтительным. Я снова хихикаю. Но Ники хоть пытается быть вежливым. А Фанни? Вот прям чувствую, как она кипит. Представляю ее смуглое лицо, высокие скулы, темные глаза, мечущие стрелы в незваного гостя. Девчонка-то что твой порох! А, успокоилась, покончила с этой ерундой, я слышу. А

теперь я вижу и переписчика, ничего особенного в нем нет. Просто еще один белый человек в коричнево-серой одежде.

Мужчина облизывает палец и переворачивает страницу. Бумагу подхватывает ветер и принимается с ней играть. Будучи главой семьи, Николас отвечает переписчику, как учила его мать: «Всегда говори с белым вежливо, как воспитанный. Но на этом всё. Ты такой же свободный человек, как и он». Трехцветка сказала это сыну, потому что он умеет красиво говорить. И он молодец, послушался маму. Мне тоже доводилось отвечать на вопросы белых мужчин, с одними я говорила вежливо, а с другими нет.

– Я Николас. Мне сорок пять...

– Откуда ты? – перебивает белый человек. Слышу, как протяжно вздыхает Фанни. Она стоит позади меня, поэтому лица ее я не вижу, но этот вздох похож на раскат грома.

– Из Огайо.

Белый пишет, проговаривая каждую букву, словно на уроке.

– Цветной?

А это что за вопрос?

– Мулат, – отвечает внук.

И что это за ответ? Он же просто светлее меня, вот и всё. Зачем отмежевывается от родни? Переписчик яростно строчит, стараясь не отставать.

– Моя жена Фрэнсис, сорока двух лет, из Вирджинии. Мулатка. Двое сыновей. Наш старший, Сэмюэл, живет отдельно, а Шелтон еще на занятиях. Учится в... – В голосе Ники слышна гордость. Для него свет сошелся клином на этих мальчиках. Шелтон учится на кузнеца. Но Ники надо быть осторожней. Белым людям вовсе не нравится слышать в наших голосах гордость.

– Твоя жена из Старой Вирджинии? – уточняет переписчик.

А что, есть и Новая?

– Да. Но все наши дети родились здесь, в Огайо.

У меня в голове голос внука продолжает: «И все мы мулаты, кроме...»

Зеккиль соединил сухие кости.

Я закрываю глаза и позволяю солнышку согреть веки. Солнце. Тепло. Вспоминаю места, где тепло было каждый день, как и ощущение солнца на коже. А теперь я ощущаю взгляд переписчика. Он

должен записать и меня, но я знаю, о чем он думает. А думает он, что я не в счет. И я помалкиваю, ибо уже сказала людям почти все, что хотела, ради чего явилась на эту землю.

За меня отвечает внук.

– Это моя бабушка. Мариам Присцилла Грейс. П-р...

– Я знаю, как это пишется, – бурчит белый.

Я чувствую, как мне в плечо впиваются пальцы Фанни.

Держи себя в руках, девочка.

– Сколько же ей лет? На вид уж очень стара.

– Сто двенадцать. Родилась в тысяча семьсот пятьдесят восьмом году. Или шестьдесят восьмом. Я не уверен, да и она тоже. Но никак не меньше девяноста.

– А ее саму ты не можешь спросить?

Ники объясняет мужчине, что я очень молчалива. Проходит несколько мгновений, и я понимаю, что внук жестом дает понять переписчику, что я маленько не в себе. Сам-то он, конечно, в это не верит, просто тогда люди оставляют меня в покое. Я решаю всхрапнуть. Позади фыркает Фанни.

– Мама Грейс... она слепая, – продолжает Ники.

Для кого как. Кое-что я вижу.

– И откуда она?

– Из Вирджинии.

Меня передергивает.

Да нет же, я не оттуда! Впрочем, меня никто не слышит. Но да, я из Вирджинии, прожила там много лет. И нет. Не оттуда. Вирджиния похожа на Огайо: дом, да не дом. Жизнь, да не жизнь... просто привыкла, ведь столько родных душ потеряла, столько урожаев вырастила, стольким младенцам появиться на свет помогла, на земле, где... семена и грехи.

Вирджиния мне знакома, да. Но родилась я не там.

Фанни прерывает мужа:

– Простите, сэр, вы хотите знать, откуда мама Грейс приехала? Или где она родилась?

Я слышу в ее голосе знакомую гордость. Фанни умеет читать, писать и считать. В школе преподает. Она сильная, Фанни.

– А это имеет значение? – спрашивает мужчина. В его голосе слышно раздражение, и я знаю... догадываюсь, что он думает обо мне.

Я знаю, кого он видит: старую слепую негритянку, больную, уже ни на что не годную и не стоящую даже двух центов, не говоря уже о 1500 долларах, которые Нэш получил, продав меня Маккалоху. Переписчик откашливается.

– Официально, – заявляет он Фанни, – здесь написано «место рождения».

– Ну, что же, – девочка старается не важничать, чтобы не провоцировать этого белого, – мама Грейс родилась в Африке.

Это слово ударило меня по лицу, будто Фанни дала мне пощечину. Я даже почти встала.

Африка.

Я не слышала этого слова, пока не оказалась... здесь. А побывать-то мне довелось во всяких местах со странными названиями и жить разными жизнями. Я их позабыла. Почти. Но не совсем. Не могу.

Теннесси. Остановка.

Старая Вирджиния, говорят, теперь есть еще одна.

Ямайка, помню ее запах. Помню первое место, где я ступила на твердую землю после стольких дней в море... этом бескрайнем, прекрасном, темном, ужасном, смертельном море... по волнам плывут обтянутые кожей кости, а за ними мчатся огромные плавники. Караван смерти. Очень похоже...

Южная Каролина и тот остров, где игбо^[2] выходили в море.

Норфолк.

А теперь этот Огайо и разлившаяся быстрая грязно-коричневая река.

Я много где побывала и отправилась назад. И оказалась в том месте, о котором сказала Фрэнсис. *Африка.*

Не помню даже, как это и называется-то. Странное такое слово, трудно выговорить. Совсем не так, как давным-давно, в то время, когда я жила там...

– Что ты сказала, мама Грейс? – спрашивает Ники. – Иногда она что-то бормочет, – поясняет он переписчику.

Я открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука. Тогда я открыла глаза и моргнула. Солнце, собираясь отправиться освещать другую сторону мира, сияло во всю мочь. *Откуда я родом?* Я вижу место, которое так давно покинула. У него есть свое название. При мысли о нем у меня перехватывает горло. Запахи... Звуки, пение птиц, птиц,

которые сюда не долетают. Прошли годы, десятилетия, несколько жизней... Интересно, существует ли еще это место? Я познакомилась со многими оттуда, когда выбралась из той большой лодки. Некоторые были похожи на меня, и речи их были мне так же знакомы и близки, как душа моей матери. Были и другие. Стоя бок о бок с ними на рынках, я выучила некоторые их слова. Эти люди были темнокожими, как и я, но их лица отличались от моего. Многие вели себя странно, некоторые поклонялись злым богам. Они пели свои песни о землях по ту сторону бескрайних воды и песка и о тамошних событиях. Да, я знала многих, таких, как я, привезенных издалека...

Что произошло там после того, как нас насильно переселили сюда? Землю затопили мрачные воды, как пелось в старинных песнях? Или ее постигла мерзость запустения? Она превратилась в пустыню, в место, о котором синекотные печальные люди^[3] рассказывали в своих сказках, – там нет ни деревьев, ни воды, а только песок, похожий на волны?

Там больше нет людей? Их всех... нас всех привезли сюда?

Мы называли это место по-разному, многими именами, но они обозначали одно и то же место. И никто, пришедший оттуда, никогда не употреблял это слово: *Африка*.

Никто.

И вот теперь я, та, что прожила очень долго, сижу и думаю, а не единственная ли я в этой Америке, кто помнит, откуда мы все были.

Не последняя ли я?

– Эй, бабушка, ты откуда родом? – крикнул переписчик.

Мне не нравится, когда меня называют «бабушка». Меня зовут не так.

Фанни процедила сквозь зубы:

– Мама Грейс прекрасно слышит.

– Из Эдо^[4], – ответила я белому парню. – Я родом из Эдо.

Я закрываю глаза и позволяю горячему солнцу целовать мои веки.

1758 год или позже

Я прошла через дверь, откуда нет возврата, наделенная только судьбой да именем. С тех пор я прожила много жизней, накидывая и снимая их, как шали, то жесткие и грубые, будто из дешевой шерсти, то мягкие и легкие, словно китайский шелк. Меня называли разными именами, и я откликалась на них, хотя ни одно не было моим. Это тоже были своего рода шали, в которые другие люди считали своим долгом заворачивать меня.

Настоящее имя я храню у самого сердца.

И никогда его не назову.

Этим именем меня нарекли родители. Его мало кто слышал и тогда, годы и годы назад, а теперь, когда они мертвы, ушли в страну теней и шепота, и подавно некому произнести. Маленькую меня родители называли ласковым именем, но не тем, что дали при рождении. У братьев и сестер были припасены для меня разные прозвища, то добрые, то насмешливые. Тогда мне это не нравилось. А сейчас? Думаю, родные оказали мне благодеяние. Мое настоящее имя не слетало с чужих уст, поэтому осталось только моим. Здесь никто не сумеет его написать. Я и сама-то не могу. С тех пор, как я в последний раз слышала родную речь, прошло много лет. Но сила тайного имени всегда оберегала меня.

Историю моего появления на свет следует рассказывать в кромешной тьме, когда работы уже закончены, дети спят и лишь тлеющие в очаге угли бросают на лица слушателей немного света. Звучит она неправдоподобно, и, если бы мне ее рассказали, я подумала бы, что речь в ней идет не обо мне, а о девочке из дальних неведомых краев. О девочке, чье имя означает «маленькая птичка».

Всего у моего отца было три жены, которые родили ему десять дочерей и шесть сыновей. Но жены эти были при нем не одновременно, не как у большинства мужчин в нашей деревне.

«Да что б я и делал с двумя-то женами в одной постели? – я вспоминаю, как, скривив губы, ехидно осведомлялся он, завершая

фразу тоненьким смешком. – Разве нормальному мужику под силу осчастливить двух баб сразу? Зато порадовать одну можно когда угодно и сколько угодно!» Слушатели легкомысленно хихикали, вторя ему.

Первая жена моего отца, тогда еще мальчика, только-только обретшего статус мужчины, была немногим старше меня в ту пору, когда мне пришлось покинуть деревню, – так, во всяком случае, выходило по рассказам моих взрослых сестер. Они с отцом были счастливы, но ее сразила какая-то хворь – кашляла, кашляла и умерла. Тогда отец женился на старшей сестре моей матери, и та исправно рожала ему дочерей и сыновей, пока утроба ее полностью не истощилась. Наши женщины долго не живут. Умерла она так давно, что мало кто в нашей деревне ее помнил. Но отец говорил, что она была красивой, грациозной и покладистой и что ее дочери, мои единокровные сестры Аяна, Те’зира и Джери, очень на нее похожи. От них самих я слышала это по десять раз на дню.

Моя мать, третья жена отца, принесла в семью свой веселый нрав, смекалку, сильный дух (и тело ему под стать), а также значительное приданое. Сердцем отца она завладела благодаря красоте и уму, а закон и традиции их соединили. Она была травницей, с детства училась врачевать, принимать роды и читать будущее и прошлое. В деревне ее считали ведуньей, а кое-кто называл похуже. Но мать это не тревожило. «Ты многого добьешься, моя Маленькая Птичка, – твердила она, – если не станешь слушать, что о тебе говорят другие».

Впервые забеременев, мама разрешилась двойней: девочка и мальчик. Это было серьезным предзнаменованием. Первой вышла девочка, крупная и буйная, она заорала во всю глотку, едва появившись, брыкалась и извивалась в руках повитухи, громогласно требуя еды. А мать, измученная тяжелыми родами, не могла приложить дочь к груди, пока не выйдет второй ребенок. Дым от тлеющих трав и благовоний наполнял родильную хижину дурманящим туманом, – мать заранее выбрала и смешала нужные снадобья, используя себе во благо собственное ремесло. Дым обострял внимание роженицы, а густой пряный аромат помогал пересилить страх и правильно дышать.

Мать сидела на горе одеял, раскинув ноги, запрокинув голову и закрыв глаза. Когда она напрягалась, силясь вытолкнуть ребенка, с ее

тела капал пот и кожа цвета красного дерева натягивалась на огромном животе. В зубах она сжимала гладкую деревяшку, а руками держалась за толстые пеньковые веревки, чтобы не соскользнуть. Служанка обтирала ей лоб, пока повитуха проверяла раскрывающийся цветок родовых путей – он пульсировал, то расширяясь, то сжимаясь.

– Не спеши, слушай мой голос.

– Майша, полегоньку, полегоньку... – Женские голоса слились в общий хор ободрения и утешения.

Моя двоюродная бабушка, присутствовавшая при тех родах, рассказывала, что перед тем, как вытолкнуть детей на свет, мать издала крик, похожий на боевой клич воина.

Мама же говорила, что ничего не помнит о той муке, кроме голоса повитухи, нашептывающего слова, которые повивальные бабки наговаривали, верно, с начала времен. Сама она, принимая роды у других женщин, шептала то же самое и жгла те же травы, привезенные с острова на востоке, заполняя родильную хижину плотными клубами ароматного дыма. Его струи обвивали тело роженицы, шипя и скользя, подобно змеям, ползущим по ночному песку.

Когда второй ребенок выскользнул наконец наружу, женщины замолчали. Никто не двинулся с места. Все затаили дыхание. Старшая повитуха схватила мальчика и принялась сосредоточенно тискать его крохотное тельце. Шею ребенка обвивала пуповина, а личико было сплюснутым, морщинистым и синеватым.

Одна из женщин выкрикнула:

– У него на лице след! Другой ребенок еще в утробе затоптал его до смерти!

Мальчика приложили к груди, но он не захотел или не смог сосать. А вот девочка, красная от гнева и голода, крепко стиснув кулачки и поджав ножки, с такой свирепостью впилась в сосок, что молодая мать ахнула. Из ее груди, огромной, набухшей за время беременности, хлынула струя молока, и новорожденная принялась жадно глотать.

Мальчик умер. Дух, которого он оттолкнул, вернулся в страну теней. Отец опечалился... Но и порадовался рождению четвертой здоровой дочери. Мать пела ей, обнимая и укачивая. Женщины понесли по домам мрачные вести о здоровенной девчонке, которая

жадно впивалась в грудь и громко сыто рыгала, и о крохотном мальчике, который был так слаб, что даже не взял в рот сосок.

Мне было восемь лет, когда я услышала историю своего рождения и узнала, почему некоторые люди отводят от меня взгляд, перебирая амулеты всякий раз, как я прохожу мимо. Они называли меня Убийца Мужчин.

Маленькая Птичка

Ох уж эти дочери! Отец поверить не мог. Как сейчас вижу трех дочерей моей тети, второй жены отца: высокие, стройные, красивые девушки, прекрасные настолько, что даже королевские скульпторы мечтали заполучить их в модели для своих работ. Особенно же хороша была моя сестра Джери, поговаривали даже, будто сама королева-мать ей завидовала. По крайней мере, так сплетничали женщины, чью болтовню я однажды подслушала, когда они справляли нужду возле мангровых зарослей у реки. Как рассказывали, тетушка была идеальной женой: нежная сердцем, кроткая нравом и прекрасная лицом и телом. Ее звали... впрочем, если я когда и знала это, то забыла. Она умерла родами еще до моего рождения и забрала с собой ребенка. Но оставила Эву, моего старшего брата, и трех дочерей, чьи смешки, пересуды и словечки наполнили мое детство удивлением и страхом. Мои прекрасные и устрашающие сестры. У них я научилась красиво одеваться, выбирать годную еду, делать подношения, выполнять работу по дому и заплетать волосы. Думаю, стойкости и выдержке я тоже научилась у них. А точнее, Джери научила меня этому. Джери, которая мучила и дразнила меня до слез. Джери, которая научила меня выживать.

Меня, шестого ребенка в семье, четвертую дочь, растворившуюся среди такого количества девочек, любили, но замечали мало. Всего лишь одна из многих, а никакая не особенная. Я же не была *Ййоба*^[5] (о чем сестры мне то и дело напоминали) и не восседала в центре самого Бенина, Эдо или еще какого-нибудь королевства. Мне это объяснили, когда я и ходить-то едва научилась.

Смутно помню тот день, когда я забралась к матери на колени, потянулась к ее груди и принялась сосать. Мать ударила меня по щеке и оттолкнула. Говорят, я кричала так, будто мне руку отрезали.

– Нет! – строго сказала мать. – Хватит. Ты уже большая. Ступай с Те'зирой, она тебя напоит. Шагай!

Я кинулась бежать, вопя, из глаз ручьями лились слезы. После этого живот матери вырос и округлился, но не слишком, а потом ее

грудь жадно сосал уже другой ребенок, мальчик. Я больше не была бесценной, балуемой девочкой. За тем мальчиком последовал еще один, а потом еще. Меня задвинули в самый дальний угол женского дома, сначала насмехались, затем перестали обращать внимание и почти забыли. Даже мое имя, каким бы необычным оно ни было (по крайней мере, так говорил отец), стало похоже на брошенную ненужную одежду. Прежде чем позвать меня, мать выкрикивала имена каждой из сестер и даже самого младшего брата.

Старшего ребенка обычно ценят, особенно если это сын, младшего холят, лелеют и нежат, потому что он или она может оказаться последним, а всех, кто между, обычно упускают из вида. Лет в шесть-семь мне надоело, что меня окликают только после младшего брата. Я решила, что больше не хочу быть затерянной и найду способ заставить маму, заставить всех запомнить мое имя. Заставить их видеть меня. И я научилась мастерски притворяться и подражать разным людям, в точности используя их же слова, манеру говорить, интонации и жесты. Я научилась становиться кем-то другим.

Лучшего развлечения я для себя и выбрать не могла. То была игра, в которой я всегда побеждала. Маленькая и гибкая, способная сложиться почти пополам, я прислушивалась, присматривалась и, сама того не осознавая, оттачивала сноровку. Даже в базарный день мне не мешала какофония из людских голосов, звуков, издаваемых животными, и воплей торговцев – слух у меня был острый и из любого шума вылавливал, например, каждое слово, жалобно произнесенное женщиной йоруба^[6], которая предлагала купить здоровенных кур. Я улавливала музыкальную речь женщин игбо, распевавших «стиральные» песни, то и дело заливаясь смехом. Я повторяла слова и песни про себя до тех пор, пока не научилась произносить их или петь не задумываясь. А вот речь людей в тюрбанах царапала мне язык. Я знала несколько их слов, но произнести не могла.

Подслушивать для всеми забытой маленькой девочки стало так же естественно, как дышать. Она достаточно мала, чтобы спрятаться за любой преградой или под ней, достаточно худа, чтобы вжаться в стену и стать дышащей тенью, и, пожалуй, самое важное – эта девочка, четвертая или пятая дочь (кто помнит, какая по счету?), шестой или седьмой ребенок (из десяти), родившийся у человека, имевшего трех жен, никому не интересна и ни для кого не важна. Она не стоит

внимания. У нее и приданого-то тьфу. Среди обширной родни что она есть, что нет ее. Ее никто не замечает.

А она слушает и слышит. Понимает слова женщины менде, которая живет в рабынях среди народа иди. Знает, как правильно здороваться со странными розоволицыми людьми, которых ее отец называет португальцами и которые ведут торговлю с королем. Она выучила оскорбления акан, приветствия женщин ифе, которые добродушно переговариваются с ее матерью, и пару слов гортанного арабского языка, подслушанных у неловко сидящего на корточках в высокой траве мужчины с прикрытым лицом. Мать говорит, что он из синего народа, возвращается из паломничества в Тимбукту. А потом девочка в лицах показывает всё это дома. Смешит сестер и вызывает улыбку у матери.

Братья, не желая признаваться, что они в восторге, продолжали меня дразнить и вести себя так, будто они какие-нибудь *оба*^[7] или воины и имеют надо мной власть. Но даже они то и дело стали отводить меня в сторону, разговаривать, задавать вопросы и прислушиваться к моим советам. «А как сказать вот это?» «А это слово что означает?» Они охотно внимали моим историям, которые я выуживала из разговоров, подслушанных у дагомейских^[8] женщин на рынках, у меднокожих людей, у ремесленников из племени фон.

Мать хихикает, прикрывая рот рукой. Мой братик Огу у нее на руках удовлетворенно сосет грудь. По-моему, он слишком старается. Мать исхудала.

– Птичка, какая ж ты непослушная девчонка, – поддразнивает меня мама, продолжая посмеиваться над историей, которую я только что рассказала. – Тот, в тюрбане, – священник, нехорошо так шутить. Его бог разгневается. – Но она все еще улыбается.

Джери шлепает меня по макушке.

– Ой! – вскрикиваю я, отталкивая ее.

– Ну что ты как маленькая, – ругается она, – это же был просто шлепок.

Я смотрю на сестру. Ага, просто шлепок... Как же... Слишком уж увесисто.

– Если он найдет на нас проклятие, виновата будешь ты, – добавляет Джери, как всегда, исполненная самомнения и сарказма. – Бог этого человека в тюрбане злее всех наших богов, вместе взятых!

Мать предупреждающе фыркает, Джери вздыхает, но больше ничего не говорит. Огу закапризничал, мама отвлекается. Джери сильно щиплет меня за руку и наклоняется так близко, что ее нос почти касается моего.

– Виновата будешь ты, – шипит она.

Именно в то время отец заметил меня, и я стала для него кем-то большим, чем просто четвертой дочкой, одной из многих. Это было необычно – по традиции женщины и мужчины работали и жили порознь: девочки с женщинами в женском доме, мальчики с мужчинами в мужском. Но отец во многом был первопроходцем, и мнение окружающих его не особо беспокоило. Его и так считали странным – надо же, всего одна жена, хотя явно может позволить себе двух! А теперь отец, уезжая по делам, еще стал время от времени брать с собой меня. Чем он занимался, я если когда и знала, то уже забыла. Думаю, он поступал так, потому что у него не было сына, который мог бы его сопровождать: Эва, мой старший брат, женился и перебрался в Бенин-Сити, где служил *оба*, а трехлетний Огу был еще ни на что не способным ребенком. Мне же исполнилось восемь, и я была достаточно сильной и сообразительной, чтобы не отставать от отца в поездках и выполнять какие-то его поручения, но не настолько взрослой, чтобы женщины приняли меня в свой круг. У меня еще не выросли груди, и я не уронила свою первую кровь, хоть было уже пора, потому и не интересовала их.

И вот однажды отец обернул мне голову тканью, как это делают малайцы («Уродливый пацан!» – прокомментировала, наморщив нос, Джери, разглядывая меня) и взял с собой в Бенин-Сити, в Калабар, странный оживленный город на воде, населенный странными людьми, место, где высокие белокрылые корабли отдыхали перед очередным плаванием. В каком-то смысле я стала собственному отцу поддельным сыном.

– Мой орленок, – говорил он мне иногда, печально улыбаясь. – Это неправильно, что ты разъезжаешь со мной как мальчик и я учу тебя охотиться. Тебе следует знать, как быть хорошей женой! Но без правильной повязки на голове кто примет тебя за девочку? – Он засмеялся. – Какой мужчина возьмет в жены орла?

Я не понимала. В поездках, особенно по лесам, отец рассказывал мне о существах, которые жили среди скал, в лесах и на лугах, среди

деревьев и на равнинах. Мне нравились истории об орлице-змеееде, которая парила высоко в небе, а потом грациозно пикировала вниз, чтобы схватить высмотренную рептилию на ужин своим орлятам. Это были лучшие из матерей, сильные, преданные и бдительные. Они были бесстрашны. И неустанно охотились, чтобы прокормить птенцов.

– Они летают так высоко, отец, – заметила я. – Видят далеко, ловят змей для своих детей. Защищают свои гнезда. Разве это не идеальные жены?

– Правду ты говоришь, Маленькая Птичка. Как охотники они не имеют себе равных. – Он придержал меня за локоть. – Целься высоко, сделай вдох, чтобы рука была твердой, и сосредоточься на добыче.

Мой камень нашел цель, и с дерева упала жирная птичка. Это было мое первое убийство, и я пришла в восторг.

– Я как мать-орлица! – вскричала я, пускаясь в истовый танец победы.

Отец бросил птицу себе в мешок.

– Из тебя выйдет прекрасная мать, дочка. – Он улыбнулся мне, погладил по голове, затем посмотрел на горизонт. И про себя добавил так тихо, что я почти не расслышала: – Но мало кто из мужчин захочет видеть в своей постели орлицу, как бы искусно она ни владела копьем.

Когда мы вернулись домой, отец отправился к своим складам или на совет старейшин. Я же двинулась по извилистой тропе через лес обратно в деревню. На самой окраине меня поймал Чимаоби с братьями и друзьями. Все они в той или иной степени мои родичи.

– О, какая встреча! Сама Птица!

Чимаоби. Я его ненавидела, хотя мама говорила, что ненавидеть бесполезно. Но ведь маме-то не приходится почти каждый день драться с ним.

Я побежала. Летела что есть духу, но Чима был старше и крупнее, и я знала, что он меня догонит. За спиной я услышала смех его друзей и решила остановиться. И повернулась к нему лицом.

– Меня зовут не так, – возразила я, глядя ему в глаза. У Чимы было круглое лицо и глазки-бусинки, как у орла-змеееда. Но он был глуп. И напоминал жабу. – И когда я закончу учиться у мамы, ты сможешь звать меня Госпожа Орлица. – Последнее я добавила, чтобы его позлить. На самом-то деле еще возрастом не вышла, чтоб учиться у мамы, но ему-то это знать необязательно. У моей матери была в

деревне серьезная репутация. И Чима ненавидел меня не только из-за отца – уважаемого старейшины, – но и потому, что моя мать была из достойной семьи и с немалым приданым. Его же мамаша была третьей женой, у которой и хижины-то своей, почитай, не было.

– Ты маленькая демоница, вот ты кто! – начал Чимаоби свои каждодневные причитания. – Мне мама рассказала. Ты Убийца Мужчин. Затоптала братика до смерти еще до рождения.

И снова эти слова. Убийца Мужчин. Сколько мне еще таскать их на спине, как мешок с камнями?

– И никакая ты не орлица, а курица худосочная! – хохотал он. – С тощими ручонками (и ножонками), как цыплячьи лапы, и клювом вместо носа! Ха, ха!

Смех друзей придал Чиме смелости, и он бросился ко мне.

– И не птица, и не птица, а вовсе даже курица...

Он сжимал в потной ладони камень, и как только швырнул его, я бросилась бежать. Но поскользнулась и упала. Если бы я не свалилась, Чима, который явно ставил перед собой мерзкую цель, только задел бы мне этим камнем ногу. Но судьба оказалась не на моей стороне. Камень оставил внушительный след у меня на лбу. А Чима тут же схватил меня и принялся трясти.

– И не птица, и не птица, а вовсе даже курица...

Свободной рукой я изо всех сил ударила его по уху, и он закричал от боли.

Отлично.

Я вырвалась и побежала вниз по холму, Чима кричал мне вслед, насмешки других мальчишек и их смех звенели в ушах.

– Я тебя искала. – Звук голоса Джери ударил по ушам не хуже камня Чимы. Непонятно, чей голос я боялась услышать больше, Чимы или ее. – Твоя матушка... – Сестра всегда старалась подчеркнуть, что матери у нас разные. – Моя уважаемая тетушка послала меня за тобой... Что ты сделала со своей головой?

Я зарычала на нее. Можно подумать, я сама себя саданула камнем. Сестрица протянула изящную ладошку, намереваясь до меня дотронуться, но потом передумала.

– Ты грязная. Впрочем, как всегда. – В ее светло-карих глазах светилось враждебное, злое веселье и нескрываемое удовлетворение. – Твоя мать будет недовольна.

Она схватила меня за руку и потащила к дому матери, самому большому в отцовском поместье, стараясь, чтобы моя пыльная, испачканная травой и грязью рубашка не касалась ее безупречного платья. Больше всего на свете сестра любила издеваться надо мной, а еще рассматривать себя в зеркало, сооружать разные прически и размалевывать красками глаза, щеки и губы. Двигалась она быстро, и я споткнулась, пытаюсь не отставать. Джери была на четыре года старше и на много ладоней выше меня. Мои ноги не могли двигаться так проворно, как ее.

Джери. Сейчас я улыбаюсь, думая о ней. А тогда? Красавицу Джери, как ее называли, желали заполучить в жены многие мужчины в нашей деревне, выкуп за нее предлагали огромный, и от женихов отбою не было. Впрочем, не будь мы сестрами, едва ли ее сильно заботило бы, что я то и дело топчусь рядом с отцом и вечно бегаю замарашкой. А так – я ж ее позорю.

– Нашла! – торжествующе объявила она, потянув меня за ухо, и резко толкнула вперед.

– Ой! – Я вскрикнула, чуть не упав к ногам матери.

Та громко вздохнула. Потом протянула ко мне руку, а другой обняла нового ребенка, еще одного мальчика, который спал.

– Маленькая Птичка, где ты была и почему так испачкалась?

– Она снова каталась в грязи с этими мальчишками.

Когда рядом Джери, причин объясняться нет. В голосе сестры прозвучало отвращение. Она махнула рукой служанке, съездившейся в углу хижины:

– Сделай что-нибудь с этим тряпьем! И девчонка вся в пыли!

Мать глянула на Джери, а затем снова на меня. Она привыкла к вспышкам гнева моей сестры.

– Что мне с тобой делать, моя Маленькая Птичка? – сочувственно спросила она. Потом похлопала по подушке рядом с собой, и я села. Мать погладила меня по щеке тыльной стороной ладони. Длинная полоса черной грязи, словно темная татуировка, пересекла чуть выступающие вены. Я расстроилась. Мать нахмурилась, затем потянулась за влажной тканью, которой, вероятно, собиралась обтирать ребенка.

– Мам, я хочу сменить имя, – выпалила я. – Мое мне не нравится. Над ним все смеются. Меня называют то птицей, то курицей. Я хочу

зваться по-другому. Мама, не могли бы вы с отцом дать мне другое имя?

Мать улыбнулась, всматриваясь темными глазами в мое лицо. Смахнула набежавшие слезы и взяла меня за подбородок.

– Вот когда станешь взрослой и выйдешь замуж, сможешь называться, как пожелаешь. А пока ты – моя Маленькая Птичка, мой Красный Орленок. И думаю, ты когда-нибудь порадуешься, что тебе дали это имя. Красная орлица высоко парит и многое видит. Она сильная, храбрая и ловкая.

– Вот уж вряд ли, – мигом отозвалась Джери. – Скорее, замызганная неприглядная растрепка.

– Джери, – суровым голосом одернула ее мать, хоть губы ее улыбались. – Богиня отводит нам разные роли.

Она смолкла, наблюдая, как сестра сбросила платье и принялась восхищенно вертеться перед зеркалом, дорогой вещью, которую отец купил в Бенин-Сити, а теперь держала для нее служанка.

Кожа у Джери была гладкой и темной, как красновато-коричневые глиняные вазы, которые мы видели на рынках. Точеные плечи, узкая талия. Ее груди, большие и слишком полные для такой юной девушки, свисали, словно спелые груши. Джери действительно была красива. Она поворачивалась то туда, то сюда, пытаясь лучше рассмотреть свое тело. Мать покачала головой.

– Тебя, моя племянница, одарили таким лицом и телом, которые вызывают в мужчинах восхищение и желание. Тебе тело дано для любви и младенцев.

Джери улыбнулась от удовольствия, услышав слова матери.

– А у даров твоей сестры предназначение совсем другое.

Мать посмотрела на меня, затем снова на ребенка.

– Защищать, сражаться и... выживать. – Голос ее был едва слышен, словно она говорила из неведомого далека и видела доступное только ей одной.

Митти, служанка, вытиравшая с меня пыль, поспешно сделала оберегающий жест, думая, что мать не смотрит. Мы с Джери, отбросив взаимную неприязнь, обменялись понимающими взглядами. Вот такое влияние мать оказывала на людей!

Наши мужчины обычно брали себе жен из своих же людей, но из другой деревни. А мой отец сделал нечто большее. Своих жен – и мать

Джери, и мою – он выбрал из числа «старых людей» нашего племени, связанных кровным родством, но пришедших из земель к югу и западу от каменных ворот, построенных древними предками синего народа. В тех местах богини так же могущественны, как и боги, а их королей, говорят, охраняли вооруженные луками, копьями и щитами женщины, устремлявшиеся в бой на верблюдах. Мать не охотилась и не воевала, но ей был открыт мир теней, а травы и зелья, которые она смешивала, исцеляли не только телесные недуги, но и душевные.

– Значит, мне можно поехать с отцом? Когда он отправится в Бенин-Сити? – спросила я с нетерпением, натянув чистую рубашку. Для меня самым лучшим было оказаться подальше от Чимаоби и насмешек, и его, и сестринских, особенно Джери.

– Нет, глупая девчонка, – ответила вместо матери моя заклятая врагиня. – У тебя скоро придут крови. И ты выйдешь замуж. – Она ехидно ухмыльнулась. – Если отец сумеет отыскать того, кто захочет жениться на таком тощем крысенке.

– Джери!

На этот раз в голосе матери не было ни капли снисходительности. Он рассек воздух щелчком кнута. Сестра поспешно закрыла рот и опустила голову.

– Хватит дразнить сестру. Немедленно оденься! И ступай за водой.

Я вскочила и двинулась к выходу.

– Маленькая Птичка, и ты марш с ними, да не пачкайся! Джери! Ты меня слушаешь?

– Да, тетушка.

Это был ежедневный ритуал и одно из моих любимых развлечений, как и поездки с отцом, хотя общество сестер мне радости не доставляло. Шли мы не одни. Целый караван незамужних дочерей, несших на плечах и головах высокие кувшины, пробирался к колодцу сквозь кусты, валуны и крупный песок. Это была процессия земных богинь, и хотя сестры меня мучили, я гордилась ими.

Впереди шла семнадцатилетняя Аяна, за ней следовали тринадцатилетняя Те'зира и шестнадцатилетняя Джери. Мои сестры, хоть и от другой матери и такие непохожие на меня. Черноволосые, с золотисто-шоколадной кожей и светло-карими глазами. Рослые для своего возраста и хорошо сложенные, Аяна и Те'зира были

пышнотелыми, а Джери отличалась изяществом. Моя мать их отлично выучила, и теперь они двигались грациозно, как холеные и гладкие большие кошки. Споткнувшись, я вздохнула и потащила за ними. Меня мама тоже учила всему этакому, но я плоховато справлялась с ее уроками. Ну не досталось мне ни капельки ни от внешности, ни от грации сестер.

– Она была моей сестрой, но у нас, как и у вас с Джери, были разные матери, – ответила мама, когда я пожаловалась. В ее глазах плясал смех. – Иногда это имеет решающее значение.

Мне это не казалось забавным. Я шла, спотыкаясь о камни, слишком торопясь, чтобы не отстать от сестер, и ветки, опущенные ими, хлестали меня по лицу, и я спрашивала себя, насколько легче была бы моя жизнь, будь я высокой и стройной, как Аяна, или красивой и грациозной, как Джери. Тогда бы не налетала на эти дурацкие валуны.

– Не переживай, Птенчик, – поддразнила меня Джери, забрав из моих рук кувшин с водой и передав его Те'зире. – В следующем году в это время тебе придется нести все эти кувшины самой. Тебе и Те. – Те'зира удивленно распахнула глаза. – Через две луны у Аяны свадьба. И у меня тоже.

Сердце у меня замерло при мысли о жизни без своей мучительницы. Кувшины с водой весили немало, но мы с Те'зирой справимся. И думать об этом было приятно.

– Кроме того, – добавила Джери (она всегда подкидывала еще какую-нибудь пищу для размышления), – твоя мать, моя уважаемая тетюшка, решила, что из всех дочерей именно тебе следует обучаться ее искусству и навыкам.

– Мне? Но почему же мне-то? – заскулила я в отчаянии.

Приятные мечты о том, как мы с Те'зирой мирно идем по тропинке к колодцу без постоянных поддразниваний старших сестер, разбились вдребезги. Джери толкнула меня вперед. Я чуть не уронила кувшин с водой.

– Почему не тебе?

– Потому, что я выйду замуж, и у меня будет красивый муж.

У меня от отчаяния все внутри опустилось и даже плечи поникли. Мне не терпелось вернуться и спросить маму, правду ли сказала Джери.

– Ну почему же я-то? – повторила я, будто, если задать вопрос еще раз, получишь другой ответ. У меня даже голос сел.

А в ответ была тишина в сочетании с самодовольной и лукавой ухмылкой Джери. Она же не могла знать, что ее пророчество исполнится в отношении только одной из нас.

Никогда не забуду, как смеялись мои сестры. Их смех звучал словно музыка, словно нежнейшая рулада самой сладкоголосой из всех певчих птиц, воплощение легкости духа, это был смех как он есть, самая его сущность, воплощение легкости духа. Джери, Те'зира и Аяна развлекали себя и меня шутками и историями. И даже не дразнились. В конце концов, они были старше, а я, по их мнению, вообще ни на что не годилась. «Ты еще ребенок, тебе не понять», – говорила мне обычно Джери. Да и неважно. Улыбаться от удовольствия и неудержимо хихикать меня заставляли вовсе не их шутки, не колкие замечания о ком-то, кого я не знала, не истории о чьих-то благополучно разрешившихся невзгодах или зловключениях. Мне не требовалось во всё это вникать. И было совершенно неважно.

Значение имел только смех сестер. Их голоса сверкали, рассыпались искрами, как солнце, восходящее над верхушками деревьев, сияли, как отражение света факелов на щитах воинов, стоящих в строю, переливались, как песни звезд. Их смех был хором, в котором одну и ту же мелодию пели разные голоса, дополнявшие друг друга, словно яркие нити, сплетавшиеся в невесомую ткань.

Сестры шли, выстроившись по возрасту, одна за другой. Я, самая младшая, еще ребенок и самая бестолковая, плелась в конце. Это был обычный день, привычное время, и мы, незамужние девушки, выполняли одно из обыденных семейных поручений.

Лес в тот год разросся: дожди шли хорошие, солнце светило, когда положено, согревало землю, щекотало семена и корни и заставляло их пускать ростки. Отец сказал, что боги довольны и благословили нас плодами своей радости. Но эта пышность, радовавшая отца, мешала мне видеть сестер, и они, казалось, уходили все дальше и дальше, хотя слышала я их так ясно, словно они стояли рядом. Время от времени мелькало ядовито-желтое одеяние Аяны, по яркости цвета напоминающее оперение иволг, которые прилетали в наши края каждое лето. Время от времени прорывался голос Те: «Маленькая Птичка! Ты где там? Не отставай!» Меня раздражало ее жалкое

покровительство. Всего на два года старше, а поди ж ты! Те всегда проводила больше времени с сестрами и их ровесницами, чем со мной. И крови к ней пришли. Теперь в нашей семье только я – девочка.

Тихий шепот – это Джери рассказывала очередную забавную историю (точнее, сплетню), которыми она славилась. Я не расслышала имени несчастной жертвы, слова слишком быстро пролетели мимо. Но вскоре мои уши заполнил взрыв смеха, сигнал, что история закончилась и кому-то не повезло, и я тоже засмеялась, хотя и не знала, что там произошло. Глубокий, раскатистый смех Аяны ласкал мой слух, как, впрочем, и пронзительное хихиканье Те, которое вскоре перешло в продолжительное «ха-ха-ха», и восторженное взрыкивание Джери, быстро превратившееся в самый насыщенный и в то же время самый глупый звук, который когда-либо исходил изо рта моей самой грозной сестры.

Смех.

Смех моих сестер. Несколько драгоценных невозвратных, навсегда утраченных мгновений. И вдруг он прервался. Прозвучал другой звук – возник сам собой. Не смех.

Нет.

Все произошло быстро. Даже очень. Вспышки. Потом тьма. Она пожирала густую зелень деревьев. Что-то двигалось... Что-то... вспыхивало и перемещалось, подобно молнии. Здесь. Там. Вокруг. Все чувства обострились и дошли до предела. Беззаботные трели сестер сменились возгласами удивления, тревоги и превратились в крик ужаса. Этого чувства я раньше никогда не испытывала. От него у меня перехватило дыхание и остановилось сердце. Кровь застыла в жилах. Ружейная канонада, если хоть раз слышал этот звук, никогда его не забудешь, а я слышала, когда мы с отцом ездили в Калабар^[9]. Крики, голоса мужчин, но не наших, не отца, дядей или других родственников, эти низкие голоса были угрожающими, они злобно выкрикивали незнакомые мне слова. Запахи леса тоже изменились: из травяных, насыщенных и влажных стали сухими, пыльными и удушливыми. Дым. Что-то горело, пепел заполнял мне нос и горло, а рот словно забила пыль. Я поперхнулась, закашлялась, непроизвольно дернула головой, повернувшись назад, в сторону дома. А там к облакам тянулась огромная спираль черного дыма. Горела деревня.

Кожа чешется. Ноги... Я остановилась. Ноги словно проваливаются в рыхлую грязь. Я стала как каменная. Застыла, заглодела. Навалилось ощущение, о существовании которого я даже не подозревала и потом долгие годы больше не испытывала. И все же оно было реальным, оно охватило меня и пригвоздило к месту, сковало мышцы так, что я даже шевельнуться не могла.

Крики. Дым. Кроны деревьев колышутся от трепета крыльев разлетающихся птиц, земля дрожит от топота разбегающихся животных. Хищники. Охотятся. За мной.

Глаза сильно слезятся, вижу с трудом. Меня окружает лес, дым и какой-то белесый туман. Вообще ничего не вижу. Не понимаю, что делать, даже где я. Помню... расплакалась, открыла рот, чтобы позвать маму. Вдруг меня, как тисками, схватили за плечо, выдернули из тумана и заставили замолчать. Совсем близко лицо Джери, ее нос в нескольких дюймах от моего. Выражение глаз... Совершенно неузнаваемый голос, резкий и низкий, больше похожий на рычание.

Никакого смеха, никаких шуток. Старшая сестра приказывает, рассчитывая, что ей подчинятся беспрекословно и без колебаний.

– Беги.

Их боевой клич был громоподобен, и земля содрогалась под тяжестью их гигантских шагов.

Или мне так казалось.

Ведь все это видели глаза десятилетнего ребенка.

Они возникли из ниоткуда, как неожиданный ливень. Но вместо капель дождя посыпались удары дубинок, копий и кулаков. Эти гиганты двигались как пантеры. Перемещались, словно по волшебству, с быстротой, несопоставимой с шажками маленькой испуганной девочки. Нас с Джери разделило, я не знала, куда подевались Аяна и Те'зира. Это были демоны из такого ужасного места, что нет ему названия, которое можно было бы произнести вслух. Они явились ослепить нас и для этого заполнили всё вокруг отвратительным белесым туманом и ядовитым дымом.

Мы с воплями разбежались в разные стороны, зигзагами пробираясь между деревьями, надеясь ускользнуть от них, зная, что они не смогут последовать за каждой. И в каком-то смысле поступили правильно. Кто они, я тогда еще не знала. *Менде, игбо, дагомейцы, йоруба*. Их язык, резкий и отрывистый, я вроде бы и узнавала, а вроде

бы и нет. А вот цели были вполне понятны: наловить нас побольше. Мы попались работорговцам.

Кувшин с водой упал на землю и разбился, облив мне ступни.

Я бежала до тех пор, пока не перестала чувствовать ноги, пока не задохнулась. Неслась в единственном направлении, которое имело смысл: подальше от дома, подальше от реки. Дышала часто и тяжело, ветер гнал дым, обжигая глаза, забивая нос и горло, заставляя кашлять. В ушах звенело от грохота ружейных выстрелов. Я не знала, куда иду, не знала, где сестры, хотя казалось, слышу их голоса... Они кричат где-то рядом. От воплей Те у меня стынет кровь, меня зовет кухня Шариша, Джери ругается такими словами, я и не подозревала, что она их знает. Я молчу, никого не зову и не кричу.

– Сожмись в комочек, – шепчет Джери, отталкивая меня, словно тискаами сжимает мою руку своей, потом бросается бежать.

Я сделала, что она сказала. Но не спаслась.

Падая, я споткнулась о ствол упавшего деревца, поцарапала ноги и сорвала кожу с ладоней. Увидела над собой в огромном стволе дупло, забралась в него и свернулась клубком, пытаюсь не обращать внимания на муравьев, в чье гнездо вторглась.

Гиганты, огромными ногами топая среди деревьев и раздвигая их, словно высокую траву, заполнили лес. Грубыми и резкими голосами выкрикивали они друг другу команды. Я уловила отдельные слова, когда один проходил мимо. Замысловатое произношение, которое как-то слышала на рынке и которому подражала, когда мамы не было рядом. Дагомейский.

Перед моим дуплом остановилась нога величиной с маленькую собачку. Две больших руки, толстых и длинных, как могучие ветви, потянулись ко мне и вытащили меня наружу. Темные глаза-щелки великана уставились на меня с красновато-черного лица, ноздри расширились и испустили какое-то бычье фырканье. Из груди вырвалось рычание, отдаленно похожее на смех.

– Ого! – Это означало: смотрите-ка, что тут есть! Маленькая Птичка!

Он сунул меня под мышку, словно мешок с зерном. Я боролась, пыталась вырваться из железной хватки, но гигант ударил меня по затылку, и все вокруг закружилось. Прежде чем потерять сознание, я услышала, как он пробурчал: «Ну-ка, тихо!»

Очнулась я с железными обручами на лодыжках. Рядом лежал мальчик примерно моего роста, нас связывала толстая, тяжелая цепь. Он спал. Я дернула за цепь, чтобы разбудить его, но мальчик не пошевелился.

Надо мной прошла тень. Это был один из гигантов. Я сидела неподвижно, оцепенев, будто это могло сделать меня невидимой. Великан фыркнул, грубо толкнул спящего мальчика огромной ногой, затем снова толкнул, потом перевернул, протащив и меня.

– Этот очурился, – произнес он на своем языке, грубо и громко, и эти звуки царапали мне слух. Потом скользнул по мне взглядом, словно по пустому месту, по травинке или палке. По камню. По тому, на что нет причин обращать внимание. Обменялся резкими словами с дружкой, который сказал, как выплюнул, что-то неприятное, и размахисто взмахнул длинными руками. Другой гигант отвязал меня от мальчика и привязал к другому человеку, женщине. Браслет тяжелой оковой повис на лодыжке.

Не знаю, сколько нас там было. Я видела позади себя толпу, которая размывалась вдали и терялась в полутьме. Знакомых не было – ни сестер, ни хоть кого-то из нашей деревни. В горле застыл ком, который не давал ни плакать, ни говорить, ни дышать. И почти не давал думать.

По ушам ударил щелчок кнута. Мужчина передо мной, вздрогнув, вскочил на ноги и сделал пару шагов, это движение застало меня врасплох, и я упала. Великан снова щелкнул кнутом и пролаял команду.

«Шагайте!»

И мы шагали. Дни, недели, вечность. Работоторговцы – а среди них были не только дагомейцы, но, судя по говору, и *менде*, и *фон* тоже – зигзагами вели нас через леса, протаскивали через кустарники и воды рек, как золотую нить, которую я когда-то видела вплетенной в одежду *Ййоба*. Время от времени они останавливались раздать нам немного воды или какой-нибудь совершенно неудобоваримой еды. Больных, умирающих и трупы отцепляли. А их хватало. Мужчина передо мной вытянул ногу, собираясь сделать шаг, а в следующий момент уже лежал, ткнувшись лицом в пыль. Девушка, чуть дальше позади, упала на колени да так и не встала. Шептались, что она по пути преждевременно родила, они с ребенком ослабели и их оставили где-

то по дороге. Были и другие: там пожилая женщина, тут мальчик, мой ровесник. Это происходило каждый день, а может, и каждый час, не знаю. Время перестало существовать. От ужаса и одиночества мой язык присох к глотке, слезы высохли. А от запаха смерти напрочь пропал аппетит. На каждом шагу слышались стоны и крики. Мне то и дело снились кошмары. И до сих пор еще снятся.

Щелканье кнута. Выкрик главаря:

– Шагайте!

И мы шагали. Так далеко и так долго, что я была уверена: земля скоро кончится, мы окажемся на высоком утесе и упадем в темную бездну, потому что поставить ногу будет просто некуда. Мне потом встречались те, кто проделал это «путешествие», хоть их осталось совсем немного. Тех, кто прошагал до темных вод вечности, а потом приплыл к тому месту, где оказались мы. Женщина-*игбо*, назвавшая это «долгим походом». Ангольский жрец, заявивший, что то было время «долгих дорог». И другие, которые давали этой «прогулке» разные названия, одни были прекрасными и поэтичными, а другие нет. Мы спорили о ее продолжительности, о жаре, дождях, загонах для скота, в которых нас держали. Об одном только не спорили никогда – о воспоминаниях. Забыть не сможет никто из нас.

Для меня это был не столько поход, сколько перетаскивание. Все были скованы друг с другом. У многих связаны руки. Мы брели по земле наших матерей и отцов, загребая грязь и корни, траву и камни. Сдирая кожу с ног, стирая в кровь ступни, поливая родную землю потом, мочой и кровью. Оставляя позади эти капли и частички себя. Как и всё остальное.

Как-то мы остановились на поляне, и четырех мужчин и четырех мальчиков продали группе розоволицых торговцев. На другой стоянке, когда некоторых отцепили, чтобы они могли сходить по нужде, двое мужчин вырвались и побежали в лес. Но их схватили, одного вернули сразу и сковали ему запястья и лодыжки. Другого приволокли обратно позже, избитого, израненного, истекающего кровью.

Под покровом ночи нас привели в Уиду и затолкали в загон наподобие того, в котором отец держал коз, – мужчина позади меня прошептал, что это называется *барракун*, забавное словечко. Загон был открыт ночью звездам, днем солнцу и дождям, когда они приходили. Я вспомнила, как тыкала палкой в одну из отцовских коз. Теперь от этой

мысли мне стало грустно и стыдно, и я попросила прощения у богини. Нынче тыкать палкой и дразнить можно было меня.

Я уже бывала в Уиде. Первый раз с отцом, сопровождала его в деловой поездке. Мне было лет восемь или девять, но я была рослой для своего возраста и могла ходить по улицам рядом с отцом, поэтому меня и выбрали. И по-прежнему больше походила на мальчика, чем на девочку. Помню, как я гордилась такой честью. Те'зира умоляла взять с собой ее, но отец сказал, что она слишком хороша и будет отвлекать. На самом-то деле Те вовсе не была красивой (как и я), но у нее уже появилась грудь, и, наверное, отец потому отказал ей. Впрочем, сейчас это уже неважно.

Город представлял собой обширное шумное грязное беспорядочное скопление жилищ, его улицы кишели телегами, животными и людьми. Тогда мне это нравилось. Быков, коров, коз и кур я раньше видела и слышала и в нашей деревне, и в других, куда мать ходила на рынок. А вот столько людей – впервые. Я шла, стараясь держаться рядом с отцом, но споткнулась о свои (и отцовские) ноги, налетела на прохожих и едва не оказалась перед караваном верблюдов, но отец схватил меня за руку и подтащил к себе.

У англичан и некоторых португальцев лица были розовыми, а пряди соломенных волос выбивались из-под странных шапок. Отец говорил, что они называются «шлемы». У других белолицых мужчин волосы были темными, почти как у меня, и такие же глаза. Повсюду мельтешили чудесные женщины в разноцветных одеждах и замысловатых головных уборах, одни несли корзины в руках, за другими их тащили слуги. Женщины смеялись и болтали друг с другом на звонком плавном языке, которого я не знала. Некоторые были похожи на мою родню, другие явно пришли откуда-то еще, их кожа цветом напоминала корицу, носы были тонкими, а глазами золотыми, как песок, или серо-голубыми, как небо.

Я никогда не видела ничего подобного. Звуки, запахи и кипучая энергия жителей этого места заставляли мое сердце биться сильнее. Помню... В тот раз я только волновалась. И еще гордилась, что отец именно меня взял с собой, дал возможность все это увидеть и сохранить в памяти. Тогда мне барракунов не показали. Но теперь я была не гостьей.

Однажды ночью город окутала тишина, простершаяся от обширных жилищ на опушке леса до барракунов у побережья. Рынки закрылись, крики, смех и музыка, доносившиеся с празднеств и улиц, сменились чередой заунывных мелодий, а затем и вовсе смолкли. Жители Уиды впали в оцепенение. Утром и нас, и животных по соседству должны были куда-то перевозить, поэтому все погрузились в ожидание. Кто мог спать, спал. Кто не мог – и я в том числе, – съежился в комочек и ждал. Ждал, пока ночной кошмар закончится, чтобы уступить место кошмару дневному.

Налетел и закончился ливень, немногие оставшиеся облака быстро унесло ветром, словно они пытались догнать бурю. Луна сохлась и не светила, но черное небо было усеяно сверкающими огнями, которые, казалось, мерцали: то яркие, то тусклые, яркие, тусклые. Я думала, это говорят боги, и задавалась вопросом: может, они беседуют обо мне и о других, которых изловили в деревне и теперь держат в этом загоне, как коз? Чем мы заслужили это? Что сделала я?..

Но звезды не поделились со мной своими выводами. Я ждала знака, но его не было. Я погрузилась в сон без сновидений, не приносящий отдыха.

Что такое время? Где-то по дороге я потеряла представление, как его измеряют. Забыла, что день сменяет ночь, что солнце всходит и садится, и оказалась в одном долгом нескончаемом дне-ночи. Я забыла, кем была, и стала никем, ничем, не имеющим никакой ценности ни для кого, кроме работорговцев. Меня окружали чужие люди, жители других деревень, незнакомые ни с моими родителями, ни со мной, не бывавшие в наших местах, не знавшие слова моего языка. Я была камешком на земле, одним из многих. Незаметным. Непримечательным. Мелким.

Однажды утром я выплыла из сна, который не был сном. Женщины причитали, мужчины кричали, а дети плакали. Какие-то люди – и дагомеец среди них – быстро шли по барракуну, хватая то одного, то другого... Нескольких женщин, мужчин, детей, маленького мальчика, чем-то похожего на моего младшего брата, и меня вытащили наружу и сковали вместе. Потом нас тащили по улицам к побережью, там выстроили в ряд и повалили на песок под громкий рев воды позади. Смуглый, но не чернокожий человек с кошачьими глазами

обошел нас, время от времени останавливаясь, отдавая приказания и осматривая нам волосы и зубы, будто мы были козами, которыми так дорожила моя семья. В некоторых он тыкал пальцем, словно считая. Между тем вода прибывала, и я чувствовала, как под моим задом образуется круг плотного мокрого песка.

– Что он говорит? – прошептала на *эдо* одна из женщин, не обращаясь ни к кому конкретно.

Смуглый человек говорил на языке *игбо*, но был не из *этого народа*.

– Он сказал, эту оставить, – прошептала я в ответ.

Остальные женщины, услышав мои слова, кивнули, глядя на меня распахнутыми от удивления глазами. Прежде чем сесть, они из скромности обернули вокруг ног и бедер обрывки одежды.

Потом мужчины, включая смуглого, который, по-видимому, был у них за главного, стояли в стороне, опустив головы, и взволнованно жестикулировали, что-то приглушенно бубня. Их слова проносились в морском воздухе мимо меня, оставаясь непонятными. Я зевнула. У меня сводило желудок. Я чувствовала себя плохо, хотела есть и пить. Я закрыла глаза и подставила лицо теплому солнцу, а ветерок коснулся моих век. Было тихо. Странно тихо после постоянного бормотания в бараке, воплей, стонов, вскриков внутри и городского шума снаружи. Но сейчас единственными звуками оставались тихое бурчание мужчин да плеск воды о берег. Я открыла глаза и посмотрела в сторону моря. Высокие корабли. Я видела их раньше. Когда была в Калабаре с отцом. Тогда они казались мне царственными, загадочными, волшебными. Их прекрасные белые паруса горделиво трепетали на ветру. Я спросила отца об этих кораблях, впервые увидав их с холма над городом. И он, как и положено хорошему отцу, рассказал, что это торговые корабли, доставляющие дары и сокровища великим королям Конго на юго-востоке, малийским вождям на севере и народу *темне*. Отец сочинил историю о приключениях и кладах, сказку на ночь, призванную убаюкать взволнованного ребенка мечтами о славе. Он не сказал мне правду, да и вряд ли мог. Я ведь была еще мала. Но, возможно, он так поступил неосознанно. Он ведь, в отличие от матери, не был одарен умением видеть будущее сквозь туман времени. И не мог знать, что сокровище, о котором он рассказывал и которое однажды погрузят на высокие корабли с сияющими белыми парусами, – это я.

Один из дагомейцев подхватил меня и бросил в небольшую лодку к десяти мужчинам, женщинам и нескольким детям. Он и еще один смуглый мужчина отвезли нас на корабль с белыми парусами, пришвартованный в гавани. Перелезая через ограждение, первым я увидела розоволицего мужчину с кнутом в руке. Второй была Джери.

Домой?

Я вскрикнула.

– Ой! Джери!

– Моя Маленькая Птичка, Маленькая Птичка, ох... малышка, – пропела она, обхватив меня, ее кожа была мягкой и странно прохладной. Я уткнулась лицом сестре в грудь и заплакала, крепко обняв ее, будто собираясь слиться с нею навсегда. И вдруг почувствовала под пальцами кости Джери. Я словно обнимала воздух. Роскошное тело, которым когда-то восхищались мужчины в нашей деревне и в соседних, истаяло. Сестра стала тонкой, будто веточка.

Глухое рыдание сорвалось с ее губ, губ царственной красавицы, не склонной к вздохам и редко плакавшей. Она поцеловала меня в макушку, шепча ласковые слова. Розоволицый мужчина рявкнул на нас, его слова ударили по ушам, как острые камни. Он оттолкнул нас в сторону и потащил остальных через борт высокого корабля. От неожиданности Джери споткнулась, но устояла на ногах и выпрямилась, не отпуская меня. Словно странное четвероногое существо из рассказов нашего отца, мы отошли и укрылись в маленькой темной нише.

– Дай мне посмотреть на тебя, – Джери держала мое лицо между ладонями.

Наши лбы соприкоснулись. Сестра сделала глубокий долгий прерывистый вздох, который грохотал у нее в груди, будто она вдыхала песок. Потом кашлянула. Это был ужасный звук. Я недоуменно глянула на нее. Джери улыбнулась.

– Ты больна.

Она покачала головой.

– Нет, все хорошо, просто немного проголодалась.

Но я-то видела, что дело совсем в другом.

Ее кожа, когда-то имевшая насыщенный цвет красного дерева, сделалась коричневатой-серой и сухой; высокие точеные скулы, придававшие ее лицу красоту и силу, теперь выступали вперед; глаза, обведенные темными кругами, глубоко запали в глазницы. Головная

повязка давно потерялась. Вокруг висков вились седые пряди. А Джери только шестнадцать.

Я не узнала бы сестру, если бы не выражение ее глаз. Оно вцепилось мне в сердце и потянуло. Эти глаза, темно-карие и все еще блестящие, обняли меня раньше, чем ее руки. В них я увидела наших родителей, братьев и сестер и весь родной край. Услышала музыку, которую играли на свадьбе старшего брата, и стук праздничных барабанов; разглядела длинную вереницу женщин и девочек, в том числе и моих сестер, двигавшуюся через лес к колодцам. Отца. И даже Чиму. Я узрела события прошлого и одновременно признаки предстоящего, но по малолетству и неопытности ничего не поняла. И было еще кое-что. В глазах Джери я увидела то, что произошло.

Я закрыла глаза, наполнившиеся слезами, сжала губы и ничего не сказала. Джери прикоснулась к моему подбородку.

– Нет, сестренка, – громко, настойчиво прошептала она. – Ты откроешь глаза и будешь смотреть. И ты откроешь уста и будешь говорить. – Сестра взглянула через мое плечо на движение у борта. Одного за другим людей выхватывали из лодок и помогали перебраться на корабль. – Ты будешь слушать и учиться. Сейчас не время спать или плакать, пришла пора бодрствовать.

– Как ты выросла, Маленькая Птичка, – пробормотала Джери. – Ростом почти с меня.

И скользнула пальцами мне в кулаки. Осторожно оттолкнула меня, словно чтобы лучше рассмотреть, а затем нахмурилась.

– И налилась.

Сестру это явно не порадовало. Она осторожно огляделась, будто опасаясь, что за нами наблюдают. Затем торопливо обняла меня и ухватила за руку.

– Держись рядом. – Тон ее был резким.

Помню, я удивлялась, почему Джери такая настороженная, так беспокоится, как бы нас кто не услышал. Вокруг не переставая кричали, бегали, носили ящики, вели коз и людей. В шуме тонули слова. Высокий корабль под названием «Мартине»^[10] загружал трюм, готовясь к путешествию. Нас вообще никто не замечал.

Прежде чем высокий корабль отправится в путь, нужно многое сделать. Разгрузить, погрузить (на этом корабле – людей), проверить паруса, припасы. Поднять якорь. Матросы были повсюду: в трюме, на

мачтах и на палубах, ни один не задерживался надолго на одном месте. И как только белые крылья поймали ветер, корабль закрипел и застонал, словно старик, вытягивающий на солнце застылые кости. А потом судно двинулось. Такого ощущения я прежде никогда не испытывала. Каждая мышца, каждый орган и нерв в моем теле колыхались, раскачиваясь из стороны в сторону и назад-вперед, причем все с разной скоростью. Меня затошнило, но рвать было нельзя. Я хотела закричать, но горло перехватило. Подмывало добежать до перил, перелезть через них и прыгнуть в воду. Но ноги вросли в грубый деревянный настил. Я готова была вцепиться в берег Уиды, сжать пальцами ее песок и никогда не отпускать.

И пока люди вокруг рыдали и блевали, я стояла рядом с сестрой, которая не издавала ни звука, и чувствовала, что корабль раскачивается все сильнее, уходя все дальше в вихрящиеся воды. Уида с ее коричнево-зеленой землей и зданиями цвета белого песка удалялась, становилась все меньше и меньше, а затем и вовсе исчезла за горизонтом. Десятилетняя девочка, которой я была и которой никогда больше не буду, задавалась вопросом, куда покатился мой мир и вернется ли он обратно. Пальцы Джери больно впивались мне в плечо.

– Нас везут домой? – спросил моими устами наивный ребенок.

Джери глубоко вдохнула, а затем медленно выдохнула. И не знаю как, несмотря на шум и плеск волн о борта корабля, свист парусов, которые боролись с ветром, я услышала дребезжащий хрип, вырывающийся из ее груди.

Этот момент возвращается ко мне во сне, но не сам по себе, а обязательно как часть другого воспоминания. Он словно специально заворачивается во что-то безобидное и даже приятное, чтобы удар утратил свою сокрушающую силу. Будто что-то может его смягчить. Воспоминание прокрадывается тихо и незаметно, как садовый уж, перед рассветом пробирающийся в хижину, чтобы согреться. Это воспоминание изменило меня, разделив меня нынешнюю и прошлую, возвело стену между сегодня и вчера. Мне никогда не забыть выражение, застывшее на лице сестры, эту невыразимую, запредельную боль, потерю, от которой рвется сердце и ты внутри истекаешь кровью, пока она не заполнит тебя до самого горла и не задушит.

Я знала тогда и знаю сейчас, что сестра хотела солгать, не лишать меня надежды, подавить мои худшие страхи, смягчить удар молота по моей душе.

– Нет, – выдавила она.

День десятый

«Держись рядом».

У меня было так много вопросов. Что с нами случилось? Куда нас везут розоволицые? Что... Уха ласково коснулось дыхание сестры: «Ничего не говори. Слушай».

Я так и сделала. Джери стала мне и матерью, и учителем, и защитницей. Всей моей семьей. В те первые, весьма переменчивые дни плавания по темной воде я держалась рядом с ней, как третья рука. Спали мы на помосте у лестницы, ведущей в трюм. Стоило повернуться лицом туда, и от запаха аж глаза слезились. А в другую сторону? Оттуда доносился шепот моря, кожи касалось слабое дуновение прохладного воздуха. Ночью иногда шел дождь, мягко смывая с тела жар и грязь. Нас сестрой сковали вместе, но я не возражала. Ведь так мы оставались вместе. То, что происходило в трюме, те звуки и запахи не передать словами. Хоть я была не одна, как тогда в дупле дерева за нашей сожженной деревней, а потом во время долгого перехода и в загоне для коз, страх не оставлял меня. И Джери, тепло ее руки, было единственным моим утешением. А потом наступала ночь, и накатывал еще один кошмар.

Розоволицый мужчина отцепил лодыжку сестры от моей и схватил ее за руку. Я толкнула его, выкрикнув:

– Нет!

Его грязная рука сжалась в кулак и уже летела мне в лицо, но по пути наткнулась на тонкое запястье сестры. Мужчина выплюнул несколько слов. Джери покачала головой и протянула к его лицу раскрытую ладонь. Какое-то время он ничего не говорил, затем снова грубо дернул ее за руку, резко отпустил и пошел вверх по лестнице. Каждый его шаг звучал глухо и в то же время оглушительно-громко, почти лишая меня слуха. Я застонала от ужаса.

Джери повернулась ко мне.

– Оставайся здесь. Не шевелись. Молчи. – Она соскользнула с помоста, тяжелая цепь тянулась за ней, как якорь, и весила, верно, больше ее самой.

– Куда ты? – закричала я, вцепившись в нее обеими руками.

Она осторожно развела мои руки и нагнулась очень близко ко мне.

– Я вернусь. Сиди спокойно. Делай, как я тебе говорю. Сиди тихо. – С этими словами Джери прижалась своим лбом к моему и ушла, ступая совершенно бесшумно, будто обернулась призраком.

Я не шевелилась. Едва дышала. Обмочилась и тихо заплакала от стыда. Меня окружали пугающие звуки, голоса, плач от тихого до безудержного и душераздирающего. Корабль скрипел и стонал деревянным корпусом, словно тоже скорбел. Шепот. Шум. Слова, которые я знала и которых не знала. Сразу после того, как увели Джери, пошел дождь. Воздух отяжелел от влаги, смешанной с запахами отчаяния и ужаса.

Голова у меня кружилась, мысли путались, все слова сплелись в одну нить, доносящиеся рыдания складывались в зловещую картину. Понимание чужих слов, шуток, историй когда-то радовало меня и веселило родных... Теперь это умение пугало.

«Куда нас везут?» *Менде.*

«Они что, каннибалы? Собираются нас съесть?» *Эдо.*

«Меня тошнит». *Бассари.*

«Они принесут нас в жертву своим богам». *Дагомейский.*

«Не могу дышать... не могу...» *Игбо.*

«Да не дурите вы! Никто не собирается нас есть!» *Фула.*

«Нас хотят продать на шахты португальского короля!» *Аканы.*

«Нужно сражаться!» *Йоруба.*

«Не могу... дышать». *Игбо.*

Я ничего не понимала, вопросов становилось все больше. Я собрала все слова и попыталась запомнить каждое, снова и снова прокручивая их в голове. Чтобы потом спросить Джери, когда она вернется. Если вернется.

Я не спала.

На рассвете сестра спустилась по трапу в сопровождении розоволицего мужчины, который грубо вновь пристегнул ее ко мне. Помню, как я спросила, что произошло. И всегда буду помнить, что она ничего не сказала. Днем, когда нас тащили по трапу на палубу, я увидела синяки на ее тонкой, нежной шее и на руках. И больше вопросов не задавала.

Ум десятилетнего ребенка больше похож на кувшин для воды, чем на корзину. Корзину можно очень долго наполнять зерном, листьями или рыбой, но всегда останется хоть маленькое местечко. А все потому, что между камышинками, даже если они сплетены очень туго, есть промежутки, и что-то, какая-то мелочь, выскальзывает. Травинка, листочек или крошечная рыбка. Даже если вы до краев наполнены мыслями и знаниями, какой-то кусочек все равно ускользнет. Не так в кувшине. Вы наполняете его водой доверху, и больше в него уже не влезет ни капельки.

Таким кувшином оказался мой разум. Воспринимая и впитывая все, происходившее в трюме корабля работоторговцев, я запоминала то, что не следует видеть ни одному ребенку, и в какой-то момент мой разум переполнился. Я видела больше, чем могла осмыслить. Через несколько недель ноздри у меня одервенели, и я больше не давилась вонью. Я отвернула слух от криков о помощи, стонов боли и воплей насилия и жестокости. И обратилась к учебе, которой меня заставляла заниматься моя неукротимая сестра. Эти уроки занимали мой разум и отвлекали его. От кошмаров. От тех ночей, когда очередное розовое лицо отрывало Джери от моей лодыжки и тащило вверх по шаткому деревянному трапу – да, я выучила, как называлась та лестница.

«Мартине» раскачивался взад и вперед, а однажды чуть не перевернулся во время внезапно начавшегося сильного шторма. Темные воды научили меня, что умирать можно и раз, и другой, и третий. И после каждой смерти ты иная, не такая, какой была, часто совсем не похожая на себя прежнюю.

Через несколько дней после отплытия «Мартине» темные воды вспенились, закружились и поднялись, встретившись с ночным небом, хоть был белый день. Шел дождь, но не из тех, хорошо знакомых нам с Джери, не из легких дождиков на равнине подле большого города и не мощных ливней, питающих воды земные, от которых разливались наши реки, обогащая почву. Эти потоки сомкнулись с черными облаками, грозя утопить нас всех, снова и снова швыряя корабль в бесконечное море, пока я не перестала понимать, где кончается небо и начинается вода. Гром бил по ушам, беспрерывно грохотали его барабаны, знавшие только одну песню, синие и желтые молнии водили хоровод. Мы с Джери сжимали друг друга так крепко, как только

могли: либо вместе утонем в этом ужасе, либо вместе выживем, нам было все равно.

Корабль взлетел на волнах, а затем рухнул с такой силой и так внезапно, что я была уверена: он уйдет под воду и ударится о дно моря. Ежели у него есть дно. Но прошло время, небо прояснилось, корабль выровнялся, и белые крылья вновь наполнились легким ветром, будто никакого шторма никогда не было. Нас вывели на палубу, и перед нами появился худой мужчина в черной одежде, потный и какой-то позеленевший, и принялся водить рукой вокруг каждого из нас, переходя от одного к другому. Позже я узнала, что мужчина в черном одеянии был священником, который дал нам своего рода благословение. А также каждому присвоил имя в честь своего бога. Меня нарекли Мэри Присциллой Грейс.

Вскоре в желудке у меня стало совсем пусто, а потом он привык, и через несколько недель ход корабля не причинял мне особых проблем. Один розоволицый, молодой, пытался говорить со мной на смеси разных языков, включая и мой, и объяснить, что я теперь такой же моряк, привычный к волнам, как и он сам. Сказал, что теперь у меня «морские ноги» и качка мне не страшна.

Я потеряла счет восходам и закатам, мало думала о том, как луна превратилась из щепочки в шар, сияющий в крошечно-черном небе желтоватой белизной раковины каури. Джери выбрала меня за то, что я забыла произнести благодарственные молитвы богине неба. Ее обеспокоило такое неблагочестие и невежество, и она меня отругала. Но почему я должна молиться? Будь богиня действительно могущественной, она бы знала, как мы нуждаемся в избавлении. Но никто не пришел нам на помощь. Вот и я ей больше ничего не должна. А сестра все кашляла и кашляла. Во мраке крохотной ниши, которую мы считали своей, я видела, как лицо Джери искажалось от боли.

– Маленькая Птичка, не смейся над богами, а лучше поблагодари их за дары.

Нотация сестры закончилась мучительным приступом кашля и протяжным стоном. Желудок у меня сжался от страха. Голос ее, когда-то ровный, с теплыми, веселыми интонациями, теперь огрубел и охрип из-за постоянного кашля и рвоты. Мы обе мучились какой-то легочной хворью и тем, что моряки называли «кровавым поносом», но если я вроде бы выздоравливала, то Джери – нет.

Начиная говорить, она кашляла каждые несколько слов. А несло ее так сильно и часто, что в кишечнике не осталось ничего, кроме черной воды, и ее живот, раздутый, как будто ей предстояло родить, был пуст. Последние дни она отдавала свою порцию еды мне, потому что в ней пища все равно не задерживалась. Джери была на пять лет старше меня, но теперь я была сильнее ее.

– Молчи, сестра, – сказала я, похлопывая ее по руке и обтирая лицо крошечным уголком рубашки, самым чистым кусочком, который смогла найти. Я обняла Джери: сидеть сама она уже не могла. – Просто лежи.

Ее голова упала мне на плечо. Корабль с белыми парусами мотало туда-сюда – к качке я уже привыкла, но ненавидела ее по-прежнему. Джери что-то пробормотала.

– Что ты сказала?

– Не думаю... – Она кашлянула так, будто хотела выплюнуть легкие, затем прочистила горло. – Не думаю, что я... Продолжай учиться. Помнишь? «А это что за слово?»

Я поморщилась в темноте, расслышав в голосе сестры смешок. Ее дрожащие кости упирались мне в бок. Она так исхудала, что каждый ее вдох казался мне собственным.

– Ты о чем?

– Слушай.

Я понимала, о чем она говорит. Слово за словом она заставляла меня изучать языки находившихся рядом людей – не как на базарах в качестве развлечения, а серьезно и последовательно. Джери советовала мне внимательно прислушиваться к болтовне кучки мужчин *йоруба* в противоположном углу, женщины *игбо* и ее ребенка, сидевших рядом с нами, женщины *фула*, о которой другие шептались, что она ведьма, и португальских моряков, бегавших вверх и вниз по скрипучим деревянным трапам, то швыряя нам еду и воду, то вытаскивая нас на палубу.

– Что он говорит? – спросила Джери, имея в виду человека из племени *акан*, который звучно проклинал всех и вся, но особенно разбойников *йоруба*, которые его схватили, и португальцев, которые его купили и заперли на этом корабле.

На этот раз пришла моя очередь смеяться.

– Он говорит...

Голос мужчины теперь был самым громким, а *йоруба* выкрикивали оскорбления в ответ.

– Он говорит, что их матери, как собаки... а отцы выползли из реки.

Джери попыталась засмеяться, но вместо этого опять закашлялась.

– А теперь, сестрица, скажи-ка, сколько языков ты знаешь?

Я вздохнула. Живот у меня урчал от голода, но я научилась не обращать внимания.

– *Эве, йоруба, фон*, немного *фула*, немного арабский... Несколько слов на английском и португальском языках. Да, еще *асанте*. Восемь.

– *Бассари* забыла.

– Да, точно. Девять.

– Хорошо. Значит, у тебя в запасе достаточно слов, чтобы говорить на этих языках, найти себе занятие и пробиться...

Я решила, что из-за лихорадки у сестры помутилось сознание. Очень похоже. Джери снова и снова повторяла увещевания, свои и чужие слова, и рабов, и матросов. Учила меня, как следует себя вести, и без конца заставляла повторять сочиненные ею правила. Перечисляла мне травы и коренья, которые могли быть полезны при болезнях. То и дело говорила о «новом месте», у которого не было названия, но куда нас везли и где мне придется искать себе занятие и пробиваться.

Какое занятие искать? В чем пробиваться? Да, я выучила много чужих слов, слушала чужой шепот, но понимала два слова из пяти. Однако и этого оказалось достаточно, чтобы убедиться: в «новом месте» меня тоже ждут одни страдания. *Хауса* говорили, что нас съедят. *Менде* вопили и рвали на себе волосы – они утверждали, что нас схватили колдуны и превратят в крыс. *Фула* заявляли, что из нас сделают солдат и отправят воевать. *Акан* вопил, что мы рабы, которым предстоит обрабатывать поля, шахты и воды белых людей. Но кем бы мы ни были у себя на родине и каких бы богов ни почитали, все оплакивали разлуку с семьями, с родной землей и очагом, зная, что после смерти наши души призраками будут бродить по миру, силясь разыскать богов, которые нас покинули, и духов предков, которые находятся далеко за водами. Ведь разве призрак может перебраться через такую большую воду?

Каждые несколько дней матросы вытаскивали нас по трапам на палубы и обливали водой, называя это ванной. Их слова, даже те, которые я могла понять, были исполнены отвращения. Они насмехались над нами. Заставляли вставать, хотя многие из нас ослабли от болезней, а некоторых женщин, например молодую мать *игбо*, уводили в слезах, а позже с каменными лицами возвращали в трюм, ничего не говоря. Как мою сестру.

В тот день я поддерживала Джери, сколько хватило сил, а потом отыскала для нее местечко и усадила, устроив хоть чуточку удобнее. Она была так слаба, что без меня не могла ни держаться прямо, ни передвигать ноги. На свету сестра выглядела просто ужасно. Так исхудала, что напоминала скелет, плоть едва покрывала кости, дыхание с трудом поднимало грудь. Лицо, цвету которого я так завидовала, стало серым. Глаза, когда-то светящиеся смехом и умом, запали, сделались огромными и старыми. Сердце мое замирало от отчаяния и страха. Сестра оставалась для меня единственной семьей. Я отчаянно хотела, чтобы Джери выздоровела, но не знала, что делать. Ей было всего шестнадцать. Она выглядела как столетняя старуха.

Джери глубоко вздохнула, кашлянула, затем прислонилась спиной к столбу и закрыла глаза.

– Твоя учеба... еще не закончилась, Маленькая Птичка, – тихо сказала она.

Словно ей в ответ завопила морская птица, и Джери улыбнулась.

– А это что значит? – спросила она. – Это что за слово?

Я сказала ей слово «птица» на четырех языках.

– Хорошо. – Она похлопала меня по руке. – Теперь ты готова.

Сестра задремала, подставив лицо солнцу. Я оставила ее спящей, а сама встала размять спину и ноги. Я так долго горбилась, скрючивалась, поддерживая сестру, что каждая косточка у меня болела и стонала. Как и остальные, я шаркала туда-сюда по палубе, двигаясь медленно и с трудом. Ноги подгибались и едва держали. Впрочем, на палубе мы пробыли недолго, никто бы нам и не дал. Как только вода подсыхала и мы делали по несколько глотков чистого воздуха, приходили матросы и снова загоняли нас в трюм. Я смотрела в разные стороны и не видела ничего, кроме моря и неба. Солнце было горячим, оранжевым и круглым. Похоже, оно оставалось тем же, что и у нас в деревне, хоть я и не уверена. А вот все остальное прежним не было. Я

глянула на восток и подумала, сколько ж это дней прошло с того жуткого момента, как нас оторвали от родителей, братьев, сестер... Всех нас, собранных здесь. Даже не сосчитать.

Мы никогда не вернемся домой.

Я так погрузилась в свои мысли, что сперва не услышала шума позади. Меня почему-то зацепил голос мужчины-акана, я обернулась и увидела, как матросы тыкают в мою сестру кулаками. Я кинулась к ним, размахивая руками и вопя, словно на диких собак, которых нужно отогнать.

– Прекратите! Оставьте ее в покое!

– Да она мертвая! – кричали они.

– Нет, неправда! Не трогайте ее!

Я протиснулась между ними и опустилась на колени. Джери упала на бок, глаза ее были полуприкрыты, рот открылся. Я взяла ее за руки и прошептала на ухо:

– Джери, просыпайся. Пожалуйста, проснись. Пожалуйста, Джери.

Потом встряхнула. Голова у сестры запрокинулась, будто едва держась на шее – вот-вот оторвется. Глаза приоткрылись, но они уже ничего не видели. У меня к горлу подступили рыдания, они клокотали в груди, разрывая ее, не давая дышать.

– Джери-и-и-и... Нет! Нет-нет-нет...

Матросы, многие такие же молодые, как она, стояли вокруг нас полукругом, они взмахивали руками, некоторые переступали с ноги на ногу, глядя друг на друга и через плечо на остальных. Они понятия не имели, что делать.

– Джери... Ну пожалуйста, проснись, пожалуйста!

Я целовала ее лоб, ее щеки, тонкие руки. Но она молчала. И ничего не видела. Она ушла в страну теней. И теперь мне предстояло плыть в новую страну, страну розовых лиц, без нее.

Из недр «Мартине» стал подниматься низкий утробный гул, гудение, подобное реву волн, заставившее корабль вибрировать. Гудение вскоре перешло в пронзительные женские вопли, к которым присоединились баритоны мужчин. Звук доносился из трюма, – это бы хор хауса, фула, йоруба, аканского, арабского и бассари. Разные слова, одна цель. Это был хор траура. И главной скорбящей была я. Несколько дней спустя, когда я пришла в себя, женщина *игбо*

рассказала, что я кричала так громко, что тело большого корабля задрожало, а белые паруса от ужаса сдулись. И добавила, что у нее от моих воплей кровь стыла в жилах. Капитан, обеспокоенный шумом, приказал четверке *аканов* отнести меня обратно в трюм. Я кричала не переставая.

Но сперва им пришлось оторвать мои пальцы от тела сестры. Я ее не отпускала. Ухватила за матроса, которому велено было сбросить тело за борт. И когда он наконец это сделал, попыталась прыгнуть в воду вслед за мертвой сестрой. А потом перестала есть. И пить. Я пыталась уморить себя голодом, но мне заталкивали в горло еду и воду, силком открывая рот, пока я не начинала задыхаться. Я хотела умереть. Да пожалуй, в некотором смысле и умерла. Стала тем, кого *йоруба* называют мертвым, но не умершим.

Горе унесло меня в место незнания, небытия. Мир тьмы и шепота. Даже сейчас те дни предстают передо мной бесцветными, заполненными какими-то фигурами без лица. Воспоминания всплывают осколками, обрывками, кусочками. В молодости этот кошмар снился мне каждую ночь, как только я засыпала. Но с возрастом на смену ему пришли другие кошмары. Этот же теперь грезится мне лишь время от времени, когда я устала или слишком долго смотрела в огонь и поздно легла. Но вспоминаются все равно отдельные образы и сцены. Я уж и не помню, что правда, а что нет. Кроме одного. Спустя столько лет я уверена, что Джери, моя сестра, мертва.

Дни и ночи я сидела на цепи в маленькой нише, которую когда-то делила с ней. Розоволицые боялись, что я прыгну за борт. Я не ела и не пила. Не спала. Приходила женщина *фула*... или это была женщина *йоруба*? Она меня обтирала и пыталась заставить пить воду. Как-то раз один мужчина, который у себя на родине был военачальником, встал передо мной, широко расставив ноги и раздувая ноздри, и властным голосом принялся читать мне лекцию о долге послушной дочери, о том, что я обязана своим предкам жизнью, что на мне, как дочери Эдо, лежит обязанность выжить и быть сильной. Благодаря Джери, заставившей меня выучить этот язык, я поняла его слова. Но не ответила, и он ушел.

Мир теней, мир духов долгие дни держал меня в своих объятиях. Я чувствовала, как корабль то ныряет носом, то переваливается с боку

на бок. Слышала болтовню людей, слова матросов, крики птиц, плеск темной воды о борта. Слышала и не слышала. Видела лица и не видела их. Кроме одного. Перед моим взором стояла Джери. Какой она была прежде, ее красивое круглое лицо, солнечная улыбка и ямочки на щеках, ее тело, сильное и здоровое, как раньше.

Она была со мной всегда. Ругалась, поддразнивала. Ее голос звучал у меня в голове все время. Ее прекрасное лицо... красновато-коричневого цвета, со скульптурными чертами, напоминающее резные статуи *Ййоба*, такое, каким оно было до того, как нас приволокли к большим водам, то хмурилось, то улыбалось... Но однажды видение покинуло меня. Джери сказала:

«Птичка, ты, как всегда, ленива и себя ведешь плохо! Непочтительно! Что бы сказала твоя мать, моя уважаемая тетя? Ну как же это на тебя похоже! А ведь я все время тебя обучала и направляла, чтобы ты стала полезной!»

Я не чувствую себя полезной.

«Какое кому дело до твоих чувств! Речь о долге. Об уважении к родителям и вообще к предкам! Ты в долгу перед ними и обязана его выплатить».

Я почтительна.

«Вот глупая. Очнись. Приди в себя. Ты должна быть готова воспользоваться тем, чему я тебя учила. Это нужно тебе, чтобы выжить. Используй мои уроки».

Нет.

«Ты должна жить».

Нет.

«Ради наших предков. наших родителей. Ради меня. Ты должна...»

Нет.

«Должна».

И Джери исчезла. Стало тихо.

В этот раз, когда женщина *фула* принесла воды, я взяла чашку обеими руками, кивнула и поблагодарила, используя несколько знакомых мне слов на *фула*. Женщина удивилась. Затем улыбнулась и кивнула, ее большие глаза засияли, как озера в лунном свете.

– Мы уж думали, ты ушла совсем, – сказала она.

Бухта Каролина, залив Квинс, Ямайка

Около 1769 года

Разразился шторм, а потом еще и еще. Темные воды завитками черных волн рвались в небо, сопровождаемые воем ветра и раскатами грома. Бог неба обрушил на нас свой огненный гнев. Солнце исчезло, и небо так потемнело, что непонятно, где кончалось оно и начиналась вода.

Я не могла сказать, сколько часов, дней или недель прошло. Дневной свет, солнце и время пропали разом. «Мартине» прошел через целую череду штормов, каждый из которых был продолжительнее, громче и ужаснее предыдущего. Но я не боялась.

Ветер ревел, теребя, а потом раздирая белые паруса, словно бумажные, раскачивал судно из стороны в сторону, отчего оно то и дело черпало бортами воду, и на палубе оставались лужи. А временами «Мартине» просто ложился набок в бурлящую коричнево-голубую воду, и казалось, что он так и не выпрямится. Лица розоволицых мужчин побелели от страха. Даже тот толстый, которого называли «капитан», был бледен. Мужчины кричали друг на друга, носясь по палубам, привязывая все, что можно было привязать, борясь с массивными парусами и вычерпывая воду. Одни делали руками странные знаки, явно обращаясь к своим богам. Другие перебирали бусы, которые вытащили из карманов, и беззвучно шевелили губами, молясь своему богу, который покинул их точно так же, как мои боги покинули меня. Из недр корабля доносились тихие дрожащие звуки горестной песни. Никаких криков ужаса или молений о спасении. Внизу царило отчаяние. «Мартине» уже покинул места, где нас могли услышать любые наши боги.

Я оставалась прикована в той же маленькой нише, которую когда-то делила с Джери. Ревущий ветер обрушился на меня, словно на соломенную куклу, прижал к стене, а затем подбросил, будто у него были пальцы, и только тяжелый железный браслет на лодыжке удержал меня на месте и не дал пронестись по скользкой палубе и упасть в море. Соленая вода залила лицо, попала в глаза и ослепила

меня, неожиданно взбодрив, залила нос и рот. Я начала захлебываться. Прислонилась к стене и принялась молиться царице наших богов Айибе, хоть и знала, что это бесполезно. Но молилась отнюдь не о спасении, а о смерти.

Однако не умерла. И «Мартине» не затонул. Сквозь последний шторм он шел, как танцор с праздника, вздыбив мачты и высоко подняв нос с неповрежденным форштевнем и грациозно покачивая корпусом. Темные воды стали сине-зелеными, небо прояснилось, а солнце, казалось навсегда исчезнувшее из мира, послало жар, чтобы высушить пропитанный водой корабль. И, словно пожимая плечами в ответ отступающему ветру, который теперь отгонял дождь в сторону, «Мартине» в один теплый голубоватый день скользнул в тихую бухту острова Британская Ямайка, скользя по волнам, словно по облаку.

Запах суши я почувствовала еще до того, как увидела ее. В каком-то смысле он был знакомым. Это был резкий запах влажной земли, смешанной с песком, дерьмом и древними мертвыми костями, он защекотал мне ноздри, и я чихнула. Запах, цапнувший меня за нос, исчез так же быстро, как и появился, унесенный легким ветерком. Брызги морской воды, когда-то жгучие и острые, теперь ласкали щеки мягкими прикосновениями и теплыми ароматами, которые я вскоре научусь называть ванильными. Крики залетающих далеко островных птиц я слышала, еще не успев увидеть, как они хлопают крыльями. Розоволицые, словно обезьяны, карабкались вверх и вниз по канатам и бегали по палубе, перетаскивая с места на место то одно, то другое и перекрикиваясь через плечо. На их квадратных лицах читалось явное облегчение, открытые рты щерились желтозубыми улыбками. Первое, что я увидела на острове, был одинокий ствол, давно оторвавшийся от своих корней и земли, выбеленный до цвета кости, хотя местами почерневший, который волны били о берег. Иззубренное, искривленное, это мертвое дерево поднималось и опускалось вместе с ними. Оно было слишком большим и вряд ли приплыло сюда из тех краев, где я жила раньше... с родной стороны. Скорее его принесло откуда-то поближе, из этих новых мест – именно к ним меня готовила Джери, – мест, где у меня еще не было имени и где, как мыслила сестра, мне предстояло пробиваться, применяя свои способности к языкам.

Я сосредоточилась, села и стала внимательно следить за людьми, мелькавшими вокруг. Помахала молодому розоволицему, который пытался научить меня своим словам в обмен на мои, и поманила его к себе. Он был немногим старше меня, его розовое лицо покрывали пятна, мокрые соломенные волосы спутались и свисали мокрыми лохмами. Пахло от него хуже, чем от меня. Но он был дружелюбен и любопытен. И полезен. Последние несколько недель я жадно впитывала его слова (вместе с дополнительной едой, которую он иногда приносил), запоминала их и ждала подходящего момента, чтобы ими воспользоваться. Парень приближался ко мне какой-то крабьей походкой, неуклюже жонглируя двумя квадратными плетеными корзинами, косолапо ступая кривыми ногами и странно раскачиваясь взад-вперед.

Он назвал мое имя, как всегда неправильно его произнеся.

– Что это? Где мы?

Как расставлять слова его языка, я пока толком не понимала, но когда парень кивнул и улыбнулся, стало ясно, что он меня понял.

Корзины, мокрые от морских брызг, начали выскользывать из его рук. Я бросилась к нему, насколько позволяли ножные кандалы, и мы вдвоем изо всех сил попытались их удержать. А потом перенесли к небольшой башне из таких же корзин.

– Спасибо, – словно пролаял парень. Он тоже пытался понять меня. Он был англичанином, но говорили мы на языке *йоруба*. Как и велела Джери, свой язык я держала при себе. Лучше, если другие не будут его понимать.

– Что это? – спросила я еще раз, указывая на горизонт, где виднелась зеленая и коричневая земля.

– Вход в порт, – ответил он, – бухта Каролина. Ямайка.

«Мартине» не пришвартовался в порту, а бросил якорь неподалеку в небольшой бухте. Молодой англичанин и его товарищи спустили на воду баркасы и перетаскали в них корзины и прочий груз, тюки ткани, бутылки портвейна и очень много мужчин и мальчиков из племени дагомейцев, *игбо* и *асанте*. Когда их везли к докам, предводитель *аканов*, тот самый, который ругал меня за то, что я скорблю по Джери, издал боевой клич, который подхватили не только его соотечественники, но и дагомейцы. Розоволицым это не понравилось, они побагровели, и один из них заткнул мужчину резким ударом палки

по спине. После этого единственными звуками были крики морских птиц, шелест белых парусов на ветру и волны, разбивающиеся о корпуса кораблей, пришвартованных в гавани. На берег Ямайки я так и не ступила. На следующее утро незадолго до рассвета «Мартине» отплыл, его брюхо снова было наполнено грузом – людьми и вещами.

Высокий корабль направлялся на север, в место под названием Саванна, как сказал мне парень с пятнами на розовом лице, гордясь тем, что говорил со мною, как он считал, моими словами. «Мартине» следовал от острова к острову, не останавливаясь, двигаясь от одного темно-зеленого пятна к другому, словно переходя мелкую речку вброд по камням. Бурлящие, злые темные воды остались позади. Воздух был теплым и влажным, штормы, преследовавшие «Мартине», утихли. Время от времени проливались дожди, но ветер был слабым, а молнии держались на расстоянии. Меня снова приковали в нише, и день и ночь опять смешались воедино. Прошли дни, а может, и месяцы. Мне было все равно. Время не имело значения. Меня снова накрыла темная тяжелая мантия утраты, и даже нежные прикосновения и ласковые слова женщины *фула* не могли растормошить.

* * *

Воздух был теплым и пах землей, травами и специями. Солнце стало жарким и привычным, таким же, как то, которое я знала. Там, далеко и давно. Может, оно пряталось? От штормов и бурной темной воды? Но теперь вернулось, заняв место слабого холодного солнца, которое следовало за «Мартине» по темным водам, как злое заклятие. Теперь корабль покачивался на ласковых волнах, их барашки сияли отраженным светом, серебром сверкали на солнце, брызги мягко, игриво целовали лицо. Я все время дремала. Ведь корабль качается, словно колыбель, теплый воздух убаюкивает, и так легко заснуть. Несколько дней глаза у меня просто не открывались. Я спала и ночью, и частенько днем, и даже просыпаясь чувствовала себя сонной, вялой и какой-то отуманенной. И очень быстро засыпала снова. В очередной раз заглянула женщина *фула*, и по выражению ее лица было заметно, что она беспокоится обо мне.

– Просыпайся, сестренка. Так много спать вредно.

Женщина села поближе, пристально всмотрелась в меня очень темными, почти черными глазами и велела высунуть язык.

– Да у тебя никак сонная болезнь, милая, – заметила она веско и одновременно грустно.

Но я вовсе не была больна, а просто спала. Ведь когда я бодрствовала, этот мир оставался для меня недостижимым. Вот я и дремала, уходя в мир желаний, мир, который исчез для меня навсегда.

Джери то появлялась в моих снах, то исчезала. И, как всегда, сыпала упреками.

«Просыпайся, сестра! Спасай свою жизнь!»

Я начинала плакать. А она поддразнивала и утешала меня.

«Ах ты глупая Маленькая Птичка! Что мне с тобой делать?»

Тогда я принималась смеяться. И звать ее. На ней было любимое темно-синее платье с черным узором, тонкие руки обвиты золотыми браслетами. Иногда сестра оборачивалась и улыбалась мне, протягивая руку, браслеты звенели, она звала меня с собой. И я снова смеялась и бежала. Точнее, пыталась. Но не могла пошевелиться. Ноги словно каменными глыбами завалило. Джери снова манила меня. Звала по имени. Но придавленные камнями ноги не двигались. А потом становилось слишком поздно. Заливая мне глаза, возвращались темные воды, и ласковый голос сестры затихал, а рев волн становился все громче. С каждым сном голос Джери делался все глуше, слабее, словно доносился откуда-то издалека, потом стал похож на эхо, затем на дыхание ветерка, мягко обволакивающего верхушки деревьев. Прохладного, успокаивающего и легкого. А потом и вовсе пропал.

Что-то громкое и большое проделало дыру в борту «Мартине» и расколело доски палубы, борт и пол ниши, где я спала. Эта громадина раскидала ящики, корзины и людей в разные стороны, некоторых и вовсе выбросив в воду. Она выдернула меня из почти мертвого оцепенения и выбросила на палубу, а цепи, прикрепленные к кандалам вокруг лодыжки, последовали за мной, как потерявшиеся дети в поисках матери, в результате чего меня растянуло, словно морскую звезду. От грома и удара корабль сильно раскачивался назад и вперед, а в моих ушах ревели буря звуков. Но этот шторм не сопровождался ни дождем, ни ветром. Не было и молний: безоблачное небо сияло голубизной и ярким солнечным светом. Шквал звуков

исходил от больших орудий, которые назывались пушками: раскаленные ядра с визгом проносились в воздухе, не приземляясь на палубу корабля, а пролетая сквозь и сокрушая все и вся на своем пути, пока сокрушать уже было почти нечего. И полыхнул огонь.

Трюм наполнился дымом. Раздались полные отчаяния голоса, завыл истощный хор призывов о помощи от прикованных цепями внизу. Паника. Дым был похож на змею, скользившую через каждую щель, отверстие или трещинку, двигавшуюся будто по карте и безошибочно находившую добычу, опутывая нас по ногам и рукам невидимыми веревками, топя нас в непригодных для дыхания клубках белого и серого сухого чада и в глубоких, вдруг взбунтовавшихся синих водах. Мы задыхались. Дым обжег мне глаза и так быстро заполнил грудь, что дышать стало нечем, и у меня мелькнула мысль, что Джери-то была права, а я по глупости своей никак не могу это понять. Я вдруг осознала, что ценю собственную жизнь, но теперь огромная змея белого дыма пытается ее забрать.

И вот меня, которая хотела умереть и с детским высокомерием полагала, будто в силах это сделать, просто пожелав, охватило нечто непонятное, неведомое, оно поднялось с ног через туловище и руки к макушке. Это был не страх. А неукротимая ярость. Я боролась... Я размахивала руками и кашляла между криками, изо всех сил пытаюсь дышать, дрыгала ногами, насколько позволяли кандалы, ползала по палубе в поисках глотка свежего воздуха. Борюсь за жизнь, но опять задыхаюсь от белой смерти и теряюсь. Не вижу ничего, ни... чего... не... вижу...

Вода плеснула мне в лицо. Было холодно, грязно и солено. Соль жгла глаза. По исцарапанной, изрезанной коже словно провели песком и посыпали солью. Я поперхнулась, выплюнула кусочек водоросли, но потом почувствовала ее вкус и запах. Встала на колени и огляделась. Вокруг была палуба.

Солнце слепило глаза, и я приставила ладонь ко лбу козырьком. Уши наполнил грохот волн. Это был все тот же солнечный, мягкий день с ласковым теплым ветерком, слегка пахнущим ванилью и корицей. Бурлящая сине-зеленая вода выглядела прохладной и безобидной. Над нами нависла громоздкая зловещая тень. «Мартине» каким-то образом удалось выровняться, и теперь канаты толщиной с

мою талию притягивали его к огромному уродливому кораблю с черным корпусом.

После стоянки в бухте Каролина нас осталось всего тридцать человек, и мы сбились в кучу перед группой людей, совсем непохожих на команду работорговца «Мартине». Мне было интересно, куда они делись, в том числе и тот розоволицый паренек, который пытался со мной подружиться. Один из мужчин то и дело рывкал на нас. Слов его никто не понимал, но тон мы уловили. Я попыталась встать, только ноги подкосились. Позади меня и по обе стороны люди перешептывались с мрачными и настороженными лицами.

Нас окружало сборище настоящих злодеев. Самого разного возраста и наружности, облаченные не в форму, а в пеструю одежду, они явно не были солдатами короля, ни английского, ни испанского. Одни носили черные шляпы, другие – платки, третьи вообще стояли с непокрытыми головами. Некоторые напоминали португальцев и креолов, живших в Уиде и во французском порту Сен-Луи дальше по побережью. У других были розовые лица: англичане, испанцы или, может, голландцы. Я про голландцев слыхала, но никогда не видала. Французы там точно были, я узнала их речь. А еще было много людей с переходным цветом кожи: по-разному смуглых и просто загорелых с черными, рыжими или каштановыми волосами. А средоточием силы этой пестрой компании был громадный чернокожий мужчина, облаченный в одежду англичан, но с внешностью *акана* и с характерными шрамами на лице. Он так пристально в нас вглядывался, что у меня аж поджилки затряслись. Ни один белый человек никогда не выглядел настолько устрашающе. В моих краях его сочли бы красавцем. Я позволила себе подумать, что сказали бы о нем мои старшие сестры: до чего же хорош и держится как настоящий принц или воин. Благородный лоб и прямой тонкий нос, как у короля Эдо, чье изображение мастер сотворил из молитвы и дерева, чтобы *Ййоба* могла его почитать, или которое златокузнецы и медники отливали из кипящего металла. Мужчина был черным, как ночь, но глаза его казались светлыми, словно в них горел огонь. Я вздрогнула. Если он тут главный, то сказать не могу, до чего это скверно. Воины-*аканы* славились безжалостностью. К тому же говорили, что они торгуют людьми.

Мужчина, слегка повернув голову, что-то говорил своим людям, и в его речи – мелодичная смесь уже слышанных креольских языков и аканского – я улавливала знакомые слова. Позади меня снова закружился робкий и тревожный шепот, тихо зажужжали вопросы. И на этого *акана*, если он действительно был из них, посыпались проклятия, ведь кое для кого из нашей группы его племя было врагом.

Я опустила голову и сделала вид, что рассматриваю ноги, прислушиваясь к словам человека, который теперь распоряжался жизнью и смертью – и моей, и каждого из нас.

Амина, женщина из племени *хауса*, прошептала мне на ухо:

– Маленькая Птичка, ты его понимаешь? Что он говорит?

Не поднимая головы, я повернулась к ней и пробормотала:

– Думаю, он из *аканов* и намерен отвезти нас в одно место... называется Риф. Он... не работорговец. – Великан говорил хоть и отрывисто, но очень четко, и мне удалось уловить смысл его команд.

И, следуя урокам сестры Джери, в тот день я выучила новое слово.

Пират.

– Ты. Девочка.

Я замерла и изо всех сил стиснула губы, чтобы изо рта не вырывалось ни звука. Плечо Амины, стоявшей рядом, тоже окаменело. Я опустила голову и решила притвориться, будто великан обращается не ко мне.

Среди нас были и еще девочки. Я застыла и стояла не дыша, мечтая сделаться невидимой.

– Ты, ты, девочка! Пошли!

Я с перепугу не могла поднять глаза. А он вроде как щелкнул пальцами и потом рявкнул:

– Быстро!

Француз схватил меня за плечо, подтащил к высокому *акану* и швырнул на палубу. Я закричала. *Акан* что-то пролаял.

Француз пожал плечами и пробормотал что-то вроде извинения, отступая назад.

– Я говорю – ты отвечаешь, – произнес великан. Причем на *асанте*.

Я молчала. Его люди переглянулись. До меня дошло, что они-то его не понимают.

Великан подошел ко мне, и палуба под его весом задрожала. Мне стало страшно, так страшно, что дыхание застряло комом в горле. Я могла только смотреть вниз. Он остановился. Его огромные ступни были прямо перед моими глазами.

– Отвечай, девочка. Ты меня понимаешь?

– Да, – прохрипела я.

Он протянул руку и поднял меня на ноги с мягкостью, которая меня удивила. Я подняла глаза и встретила с ним взглядом. И – словно на бога посмотрела. Мужчина был огромен и носил на себе пояс из пуль. Но глаза у него были добрые.

– Ты из *асанте*?

Я покачала головой.

– Как тебя зовут?

– Мари Пресилла... Прецилла Грейс.

Мне все еще было никак не выговорить имя, подаренное капитаном «Мартине», имя, которого я не хотела. Но он сказал, что это христианское имя.

– Нет. По-настоящему.

Я сказала.

– Ах, Маленькая Птичка. – Великан почему-то был доволен. – Откуда ты? Из какого народа?

– Эдо, – ответила я. Это было единственное знакомое мне место рядом с нашей деревней.

– Вот как, – хмыкнул он, – и при этом знаешь *асанте*. Понимаешь мои слова. И, думаю, понимаешь другие слова. На других языках. *Йоруба*?

Я кивнула.

– Да.

– Нет, вслух, Маленькая Птичка! – Его голос загремел раскатом грома. – *Менде*?

– Немного.

– *Игбо*?

– Тоже.

– *Хауса*?

Я, вечная непоседа, которая доставляла матери столько беспокойства, потому что не была похожа на девочку, способную стать подходящей женой, зато старательно «попугайничала», как говорила Джери, усвоила достаточно обрывков из разных языков, чтобы удивить и порадовать этого гиганта.

– А слова белых людей?

– Некоторые.

– Как ты этому научилась?

– Я... я слушала. На базаре с... м-мамой и сестрами.

– Ах ты, маленькая шпионка.

Он использовал английское слово «шпион», которого я еще не знала.

Потом наклонился и поднял мой подбородок. Я так дрожала, что у меня стучали зубы. Он улыбался. На этот раз великан говорил на моем языке, но очень просто, как маленький ребенок.

– Кто твой отец?

Я рассказала ему об отце и матери, которая происходила из деревни недалеко от города Эдо, всего в миле от дома, где родилась королева-мать *Ййоба*. О старших сестрах и брате, о ребенке, которого только что родила моя мать. О ремесле отца. Великан кивнул, удовлетворенный моими ответами. Я отвечала на его родном языке, и он, казалось, расслабился. Пока мы разговаривали, его люди начали переговариваться между собой, бросая на меня любопытные взгляды.

– Тихо! – проревел великан.

И из звуков остались только крики чаек. Он использовал английское слово, но все поняли.

– Скажи им, – велел он мне, указывая на людей, которых, как и меня, вывели из трюма работоргового судна. – Передай мои слова. На их языке, чтобы все поняли.

Я кивнула. Он какое-то время рассматривал меня, затем, похоже, принял решение и отступил назад. Я удивилась, увидев, что француз, который был так груб со мной, подошел и встал рядом с ним, будто тоже собирался говорить.

– Я Цезарь, когда-то известный как Аканде. Этот корабль... этот работорговец, – он указал на «Мартине» и выплюнул слово, словно оно пачкало ему рот, – теперь принадлежит мне. Вы, люди *йоруба, фула, игбо и менде... Аканы!*

Позади меня раздался вопль: те, кто теперь признал великана соотечественником, гордо отсалютовали своими голосами.

– Вы все свободные мужчины и женщины, ничьи не рабы.

Он посмотрел на меня и слегка кивнул.

– Скажи им. – Имелись в виду все, кого вывели из трюма. – Передай мои слова.

Я глубоко вздохнула, чтобы ноги и голос перестали дрожать, и повторила его слова для остальных на языках, с которыми познакомилась за долгие дни в трюме, повторяя сообщение раз за разом, пока все не поднялись, с облегчением улыбаясь и кивая в знак согласия. Мужчинам и мальчикам разрешат служить Цезарю либо на одном из его кораблей, а их у него было много, либо на островной базе в месте под названием Риф Цезаря. Что касается женщин и девушек, а нас было немного, то развезти нас по домам он не мог, но готов был бы отправить на остров Ямайка, где поселил бы в одном из крупных маронских^[11] городов. Цезарь назвал его Мур-Таун. Городом этим

руководила женщина по имени Нэнни, практикующая обиа^[12], а населяли люди из наших краев, люди, которые восстали и сбежали от рабовладельцев, основав в горах собственные деревни.

Люди бормотали, переваривая слова Цезаря, а несколько женщин завывали. Я их понимала, и ежели б смогла, то расплакалась бы вместе с ними.

– Эта девчушка из Эдо. Сестренкой мне будет, – Великан повернулся и заговорил со своими людьми на ломаном португальском, французском и английском языках. – Зовите ее Мариам и знайте: она под моей защитой. – Он поднял палец. – Обращаться к ней только с моего разрешения. И боже вас сохрани, парни, прикоснуться к ней. Если кто посмеет, я того кастрирую и вышвырну вон.

Парни обменялись тревожными взглядами.

– Ни один.

Закончив свою пламенную речь, Цезарь отправил освобожденных людей туда, где они могли помыться и набрать еды. Мне же велел следовать за ним, отвел в место, которое называл каютой, – не в трюме, а повыше палубы корабля, – и сказал, что француз принесет воду и чистую одежду, а мне следует сидеть тут, пока он не позовет.

Это была совсем маленькая комнатка со столом, стулом и тюфяком, на котором, видимо, спали. Сейчас, уже взрослая и знающая английские слова, я, оглядываясь назад, могла бы описать ее красочнее и подробнее. Но тогда она была для меня такой же странной, как и все происшедшее: похищение людей, высокие лодки с развевающимися парусами, кандалы и громкий лязг цепей... И бесконечные темные воды, которые привели меня... сюда. Чем бы это «здесь» ни было. В углу стояла красивая фарфоровая чаша с нарисованными цветами, и я подняла ее, чтобы рассмотреть повнимательнее, но чуть не выронила, когда моего носа коснулся запах человеческих отходов. В комнатку было темно и душно, единственное крохотное окошко пропускало мало воздуха и света. Я выглянула наружу и увидела волны, катящиеся вдалеке.

– Сестренка, – обратился ко мне Цезарь перед тем, как выйти из каюты. – Смотри, как надо. – И своей огромной рукой положил мою на защелку. – Поверни вот так, и дверь замкнется. Ты будешь в безопасности. А теперь поверни в другую сторону. – И он опять проделал это моей рукой. – Она снова открыта. Теперь сама.

Дрожащими пальцами я повернула ручку то в одну сторону, то в другую. Цезарь удовлетворенно кивнул. Поскольку он был высоким, а я маленькой, он присел на корточки и посмотрел мне прямо в лицо.

– Ты понимаешь мои слова. – Он сказал мне это много раз, словно удивляясь, что такое возможно. – А сама давно слышала язык своих отцов?

– Да.

– С этого дня будешь моим переводчиком. Понимаешь?

Я кивнула. Цезарь улыбнулся.

– Будешь слушать мои слова. И слова тех, кто со мной разговаривает. Здесь, на этом корабле, и в моих делах. А потом сообщать мне, кто что говорит, чтобы я знал, что те, с кем я веду дела, честны, что их слова правдивы.

– А... если их слова окажутся... неправильные? Неправдивые? – Я пыталась поспеть за ритмом его аканской речи.

Его губы сложились в прямую линию, а взгляд темных глаз стал жестче.

– Такими займутся.

Мне стало холодно, несмотря на влажный теплый воздух.

– Их убьют?

Взгляд Цезаря смягчился, и он улыбнулся. Но его улыбка меня не утешила.

– Ими займутся.

И тут палуба под ногами задрожала. У меня свело желудок. «Мартине» снова двинулся с места. Интересно, куда он направляется? Один из людей Цезаря упомянул город под названием Гавана, а затем «риф», но для меня эти слова ничего не значили. Кто-то стучит в дверь, выкрикивая мое новое имя по-французски:

– *Marie! Marie! Ouvrez la porte! Vite!*^[13]

Я подпрыгнула, испугавшись шума и того, что мужчина ворвется и причинит мне боль. Но тут вспомнила, что дверь закрыта и только я могу ее отпереть.

– *Enfin!*^[14]

Это был француз. Придется припомнить знакомые слова на французском. Он с такой силой сунул мне в руки сверток с одеждой, что я попятилась.

– Сам велел *s'habiller, vite*^[15]. Вот тут еще немного еды и воды. Ты ему понадобишься, когда мы пришвартуемся в Сен-Сесиле. А уж потом отправимся домой.

Он направился к двери с кислым выражением лица.

– Погодите... э-э-э... *monsieur*.

Он пристально посмотрел на меня, и его губы недобро искривились.

– *Eh bien?*^[16]

Я закусила губу. На его языке мне было известно всего несколько слов.

– *Ou est...*^[17]

Он помахал рукой из одной стороны в другую.

– Там.

Я развернула сверток, там оказались скучные тряпки. Забавные жесткие штуки, которые европейцы называли обувью, и два вида одежды, одна белая... кажется, ее называли «рубашка», а второй была пара штанов, наподобие тех, которые носили белые мужчины. Я посмотрела на француза.

Тот пожал плечами.

– Женщина на корабле – плохая примета. Так вот, Цезарь посылает тебе эту одежду. Чтобы парни... не волновались. – Он сделал знак двумя пальцами, постучав по лбу и груди. – Других женщин увозят в Калабар. Ты единственная, – глаза его сверкнули, – женщина на «Черной Мэри».

Должно быть, у меня опять сделался непонимающий и растерянный вид, и француз зарычал от нетерпения.

– Он переименовал этого проклятого работорговца, – мужчина улыбнулся, демонстрируя гнилые зубы. – *Après toi. Le Marie Noire*^[18].

У меня появились и другие имена, которые я не выбирала. Цезарь нарек меня Мариам и всем велел звать так. Французы называли Мари, испанские матросы – Марией, а одеваться мне следовало как мальчику. Интересно, правы ли были *игбо*?.. Высокий корабль отплыл от края земли, и я оказалась в странном мире.

Мне было одиннадцать лет.

«Черная Мэри»

С того дня я стала любимой сестрой Цезаря. Он был капитаном и на «Черной Мэри», и на сопровождающем ее «Калабаре», военном корабле. Здесь он был главным. Принцем крови, а подле него и я тоже. И, как член королевской семьи, не работала. Была одета мальчиком, но не терла палубу, не бегала по поручениям и никому не прислуживала, как другие мальчики на борту. Безделье позволило мне прийти в себя, еда нарастила плоть на костях, а комнатуха, куда меня определил Цезарь, стала тихим местом для сна, но мне было скучно. Я пристала к Цезарю, чтобы тот дал мне хоть какую-нибудь работу, поручение. Он засмеялся, блестя на солнце большими белыми зубами.

– Хочешь выносить горшки за всеми? – Смех вырвался из его массивной груди.

Я покраснела, почувствовав себя глупо.

– Нет... достопочтенный брат мой.

– Мне не нужны жалкие силенки твоих тощих рук. У меня пока хватает людей, для самой разной работы. Но ты мне очень скоро понадобишься, Маленькая Птичка. Будет много слов, которые тебе предстоит перетолковать. Отдыхай. Ешь. Сегодня вечером мы пришвартуемся в Сен-Сесиле. Вот там твои таланты и пригодятся.

* * *

– А куда мы идем? – осмелилась я спросить своего достопочтенного брата, который баловал меня и только мне позволял приставать к нему с вопросами. Раньше я бы не осмелилась обратиться напрямую к такому человеку, как Цезарь. Девушка, еще не познавшая женской жизни, вряд ли может что-то сказать такому мужчине. Но теперь я смотрела на мир другими глазами. Более того, поняла, что и мир здесь другой.

Военный корабль и моя тетка бросили якорь в уединенной бухте, укрывшись там, где не видать было ни огней, ни людей. Ну, по

крайней мере, я так думала. Трюм «Черной Мэри» был заполнен, но не людьми, а коробками, корзинами и ящиками разных размеров. Людей же – нет, не было. Я спросила, не собирается ли Цезарь продать меня.

– Никакой торговли людьми, – рассмеялся он. – Только ткани, ром и другая роскошь.

Затем судно работорговцев оставило маленькую бухту и своего сопровождающего и, управляемое французом, бесшумное, как тень, устремилось, огибая береговую линию, в сторону огней маленькой гавани.

– Послушай-ка, возлюбленная сестра моя, – изрек Цезарь, не отрывая глаз от этой гавани, пока «Черная Мэри» шла к причалу. – Я говорю тебе, что делать, и ты выполняешь в точности. – И он остро взглянул на меня. – В точности.

Дитя жарких краев, я не знала тогда слова, которыми можно назвать чувство, охватившее меня. Паруса «Черной Мэри» наполняли теплый ветер, а воздух тяжелел от влаги. Но мне было холодно. От резкости его слов руки у меня покрылись мурашками. За нежностью, которую он использовал только по отношению ко мне, таилась угроза.

– Т-ты убьешь меня, если я... ошибусь?

Цезарь даже не отвел взгляд от спины французца.

– Да.

* * *

Это был и праздник, и базар одновременно. Шаги шастающих туда-сюда людей, плеск весел каноэ, грохот повозок и стук лошадиных копыт, музыка, какой я никогда не слышала, – после журчания воды и шепота карибских ветров гомон Сен-Сесилия меня просто оглушил. Он напомнил мне Уиду с ее суматохой, жарой и бурлением. Имелись тут и опасные подводные течения, которые тоже наводили на мысль об Уиде. Поэтому Цезарю не было нужды повторять, чтобы я держалась рядом с ним и с французом. Заблудиться по случайности или оплошности здесь ничего не стоило. Мне и прежде доводилось видеть людей, мыкающихся среди толпы на главной улице. Рабы то были или нет, не знаю. Но знаю точно, что снова попадать в плен не хочу.

Нам предстояло встретиться с Большим Жаком, торговым партнером Цезаря и тоже пиратом, как и все они. У этого Жака была репутация вора, как, впрочем, и у всех остальных. Кроме этого, о нем мало что было известно. Цезарь привозил ему ром, ткани и товары, о которых Жак мечтал; их названий я не знала. Взамен мой досточтимый брат получал серебро и золото. Моя же задача была проста.

– Большой Жак будет говорить по-французски, но мне сказали, что это не его язык. Он из Англии. За него будет говорить... первый помощник. А ты должна слушать слова Жака и его приятеля. И всех остальных тоже. Важными могут оказаться любое слово, любая шутка. Сама молчи. И делай вид, будто ничего не понимаешь. Будешь стоять или сидеть, как я скажу. Решение я приму сам, но после того, как выслушаю советника, а потом приму решение.

Советник? Такого слова я еще не знала.

Цезарь посмотрел на меня сверху вниз и мягко взял за плечо. Уже смеркалось, но выражение его лица еще можно было различить.

– А мой советник – ты. Сначала ты скажешь всё, что мне нужно знать, а потом я начну говорить с Жаком.

– Да как же я это сделаю-то? – Я все еще не понимала, что от меня требуют.

– Я уже сказал. – Реакция Цезаря была резкой. – Слушать будешь.

* * *

То, что я приняла за гулянья, на самом деле оказалось базаром, где все имело свою цену. Смех, танцы и выпивка были масками бога, которого здесь славили, бешено торгуясь, бога, которому отдавали дань золотом или серебром. Бога монет. И главным жрецом тут был Большой Жак.

Это оказался черноволосый толстяк, загорелый, как всякий розоволицый под пылающим солнцем, с бородой, заплетенной так туго, как могла бы заплести мне косу Джери, будь она жива... Он восседал на троне из циновок, похожий на *оба*, когда того как-то раз несли через нашу деревню. Обитал Большой Жак в месте, напоминавшем бывшую крепость, в окружении множества мужчин и женщин. По зданию гуляли сквозняки, но в жару в нем все равно было

жарко и душно, и мне стало интересно, почему этот толстяк не попросит слуг (а они слуги?) обмахивать его. Когда Цезарь вошел, а за ним я и остальные, Большой Жак засмеялся, показав зубы, кое-где закрытые золотыми и серебряными колпачками, и всхрипнул от удовольствия, стиснув моего досточтимого брата в объятиях и похлопав по спине. По звуку – словно поколотил.

У него были голубые английские глаза, но разговаривал он с Цезарем только по-французски, и переводил француз, а не я.

Жак хлопнул в ладоши, и тут же принесли еду и питье. Ром. И еду! Столько еды! Я не видела всего, что наполняло миски, но от запахов у меня потекли слюнки, а в животе заурчало. Я была ребенком и всегда хотела есть! Но понимала, что сейчас не время, надо слушать. Цезарь сел. Бородач снова засмеялся и махнул рукой, приглашая нас разместиться, поесть и выпить. Но мой достопочтенный брат слегка покачал головой, нахмурился и гаркнул нам оставаться на месте, ничего не трогать. Повинуясь, все опустились на корточки напротив Цезаря с Жаком. Как и было велено. Кроме меня. Цезарь сделал вид, что щелкнул пальцами и указал на кусок соломенной циновки у своих ног. Мое место было там.

На хозяина это произвело впечатление.

– Ты обращаешься со своими рабами лучше, чем я! – заявил он, азартно пережевывая пищу и сверкая в свете факела серебряно-золотыми зубами. – Покорные! *Comme ça!*^[19] – добавил он по-французски.

Глаза у Цезаря блеснули. Толстяк сыпал разными словами. И на французском, и на португальском – он швырял их, словно лакомство для собак. Некоторые я понимала, некоторые нет. Но, сидя на корточках и царапая пол ногтем, продолжала слушать, как и было приказано. Помня, о чем просил и чего требовал Цезарь. Мои уши улавливали каждую фразу, каждый шепот.

– Он не из французов, это точно, – рассказывал Цезарь перед встречей, когда мы шли по улицам, – хотя, говорят, речь у него правильная.

– Никто не знает ни его настоящего имени, ни откуда он, – добавил француз. – Да еще этот мулат, этот *l'enfant de chien*^[20], который у него переводчиком.

«Мулата» я увидела, едва мы вошли, отметив, что он шептал на ухо Жаку, много улыбался и кивал головой. Он напомнил мне креола из Уиды, того самого, с веснушчатым лицом и характерным для *игбо* носом. Он тогда щелкнул по мне кнутом и приказал людям грузить нас в лодки и везти на невольничий корабль, который ждал на якоре в заливе. И этот – креол, ничем не лучше любого дагомейского работорговца. Его светлые глаза цвета разбавленного рома лукаво блестели, когда он говорил. Я опустила голову и прислушалась.

Цезарь ел мало, а пил и того меньше, хотя, чтобы это заметить, нужно было внимательно наблюдать. Казалось, он опрокидывал свою чашку, как только ее наполнят. Смеялся над шутками толстяка и не раз громко ругал француза, что тот неправильно толмачит. Я же на протяжении всего ужина слушала слова «мулата», болтовню Большого Жака и бормотание других мужчин и женщин, прихлебателей Жака: их языки развязались от рома и еще какой-то настойки или чего-то, называемого маком.

Было решено, что мой досточтимый брат вернется к себе на корабль, чтобы подготовиться к обмену грузами и монетами, который состоится после рассвета. Логово пирата мы покинули довольно поздно, Цезарь еще долго прощался, смеялся над собственными шутками и пел, а потом шел, сильно пошатываясь, походкой человека, принявшего лишку. При этом опирался мне на плечо, словно я была тростью.

– Он и не англичанин, и не француз, он... вообще из других мест, из английской колонии, Вирджинии. Он и мулат – братья.

Цезарь резко прекратил изображать пьяного. Француз вздернул брови. Они обменялись взглядами.

– Братья?

Я кивнула.

– Один отец... работник из Англии, по кон-трак-ту. – Я повторила услышанное французское слово, еще не понимая, что оно означает. – Разные матери. Мать Жака умерла. Мать смуглого человека была его кормилицей. Он говорит на ее языке.

– Ага, – Цезарь снова пошел, вихляясь, зигзагами пересекая грунтовую дорогу.

– Он говорит только по-английски, несколько слов знает по-французски, а язык *фон* выучил еще в детстве.

Француз нахмурился и недоверчиво зыркнул на меня.

– А впечатление... будто знает, – заметил он, имея в виду то, как толстяк произносил французские слова.

Я слегка покачала головой и вскрикнула от боли: Цезарь наступил мне на ногу.

– Нет, – возразила я. – Он... – Какую там птицу сестра поминала, когда говорила о моем любимом занятии? – Он... попугайничает. Повторяет только.

Мы дошли до берега и забрались в баркас, который должен был доставить нас на «Черную Мэри». Цезарь шагнул через борт, затем повернулся и поднял меня в лодку, словно перышко.

– Так. И чего хочет этот попугай?

– Смит, – сказал я. – Его зовут Джек Смит.

Я не удержалась от усмешки.

Цезарь усмехнулся в ответ.

– Пусть. Так чего же хочет Джек Смит?

* * *

Нас ждали. Это была самая темная и самая тихая часть ночи. Затаились даже звезды. Приближение незваных гостей мы услышали задолго до того, как вошло багровое солнце, их весла скользили по воде и выходили из нее с легким чмоканьем. Они-то, видать, считали себя везунчиками. «Черная Мэри» замерла темным неподвижным облаком, словно корабль-призрак. Воронье гнездо^[21] пустовало. Даже опытному глазу могло показаться, что и Цезарь, и вся команда «Черной Мэри» погружены в глубокий пьяный сон.

Люди Цезаря расстреляли баркасы, а затем запустили в их лагерь ядро. Мужчин, выживших после взрыва, схватили, и Цезарь потребовал у Джека Смита за них выкуп, который тот сначала отказался платить, обзвав «гостей» грязными мародерами. Цезарь предложил в назидание остальным вернуть головы захваченных отдельно от туловищ.

Заложников Смит все же выкупил. Заплатил он и за груз, который привезла «Черная Мэри» и о котором шла речь на переговорах, причем гораздо дороже.

Когда мы выплывали из бухты, Цезарь положил мне на ладонь пять золотых монет.

– Твоя доля, сестренка, – пояснил он. – Вот как соберешь достаточно этих красивых кругляшков, так и сможешь купить все, что душе угодно. Даже достойного мужа, когда подрастешь!

Я сохранила в памяти этот момент: ведь первый раз в жизни держала в руке монету, заработанную собственноручно!

Если б у меня сохранилось все золото и серебро, которое Цезарь давал, пока я жила у него, сегодня я была бы богачкой. Могла бы купить прекрасный дом, землю, скот, лошадей и кур, и деньги еще остались бы. Могла бы при желании и людей покупать. Носила бы красивую мягкую одежду и курила бы элегантную трубку или сигару.

Следующие несколько недель, пока «Черная Мэри» и ее «супруг» плыли на север, Цезарь на каждой остановке использовал один и тот же метод и богател.

Я многое узнала о Цезаре и о его, а теперь и моем мире. Не с его слов. Слушая, наблюдая. Прокручивая в голове сцены и слова, пока они не приобретали для меня смысл. Пока не становились частью реальности.

Таких пиратов, как Цезарь, было много. В каждом порту они захватывали корабли розоволицых и странствовали по теплому Карибскому морю, стараясь избегать столкновений с англичанами или испанцами и вступая в бой только при необходимости. Союзы внутри сообщества были разнообразными и недолговечными. Цезарь говорил, что роман нередко продолжался лишь от восхода до заката. «Черная Мэри» с «супругом» никогда не задерживались в порту или бухте дольше чем на два захода солнца. Цезарь был известен своей манерой исчезать в самое темное время, в три часа ночи, пока еще не рассвело и не зашевелились птицы.

За головы всех нас была назначена цена. Мой досточтимый брат помнил об этом. И поэтому был непредсказуем. Появлялся в портах, бухтах и у островов неожиданным и незванным. Уходил без предупреждения, и никто не знал куда. О Цезаре говорили, что его следы проявляются на мокром песке лишь через два дня после того, как он поднял якорь.

Флот «красных мундиров» – так называли людей английского короля – покрывал темные воды до самого горизонта; то же было и у испанцев. У других пиратов имелись целые армады кораблей. Но не у Цезаря. Однако он не хвастался, утверждая, что с несколькими

баркасами и двумя парусниками способен добыть больше, чем все остальные. Этот человек проникал в порты, сбывал свой груз и уходил незамеченным, став богаче, еще до того, как враги и преследователи получали вести о его прибытии.

Он знал всех пиратских королей, их женщин и их слабости. И потому использовал своеобразную магию, чтобы получить преимущество, предоставляя им развлечения соответственно их желаниям или порокам и при этом отвлекая от собственной деятельности, позволяя видеть только то, что нужно ему. Француз при нем был соглядатаем, голосом и переводчиком, стоял подле Цезаря, властно говорил и жестикулировал. Я тоже пристраивалась рядом, но меня никто не замечал. Да и кто станет смотреть на обыкновенного мальчишку (а ни на кого другого я еще не была похожа), которого Цезарь гладил по голове, как собаку. Я держала голову опущенной, уши открытыми и была невидимой, хоть оставалась на виду. Взгляд жертвы Цезаря скользил по мне, как по травинке в поле, и внимания я привлекала не больше. Меня вообще не видели.

Мы шли на север через теплые спокойные моря, заглядывая в мелкие проливы, останавливаясь тут и там на островах с разными интересными названиями: Тихое местечко (Маягуана), Рыбная отмель (Кей-Лобос), острова Ромовый (Рам) и Кошачий (Кэт), встречаясь то с «собратьями по труду», то с «нейтральными» людьми, то по торговым делам, то нет. Но каковы бы ни были цели обходных маневров Цезаря, результат никогда не вызывал сомнений: он наполнял трюм «Черной Мэри» монетами и драгоценностями не только для собственного удовольствия, но и для удовлетворения потребностей местных жителей, от сахара до тончайших швейных игл. А потом его корабли направлялись на север, а затем на восток к небольшому безымянному острову, не обозначенному ни на одной карте. На нем водилось много птиц и имелась гора и защищенная бухта, где бросали якорь и укрывались корабли самого разного подданства с самыми разношерстными командами.

Это был один из множества клочков земли, служивших преградой на пути испанским колонистам. Маленькие, песчаные, одни покрытые пышной растительностью, другие голые и настолько рыхлые, что их смывало во время прилива, а третьи покрупнее, где из зелено-голубых долин к белым облакам тянутся темные холмы. Малага-риф,

нанесенный на карту и когда-то давно открытый испанцем – жертвой кораблекрушения, был, в сущности, вовсе не рифом, а сочетанием песчаной отмели, нескольких горюшек, долины и болота. Тот испанец назвал его в честь места, откуда был родом. Цезарь же взял да и переименовал риф в честь самого себя.

* * *

Мне было хорошо на «Черной Мэри». Моряки называют такое состояние «морскими ногами». Это когда все твоё тело, руки и ноги действуют согласно, удерживая тебя на палубе, когда от бортовой и килевой качки и даже от нырков корабля с самого верха громадной волны твои обезумевшие внутренности уже не норовят вылезти наружу из каждого отверстия на теле. Темные воды я пересекала в страдании, ужас, одиночество и болезни были моими спутниками. Но к тому времени, когда мне пришлось ходить по борту переименованного «Мартине», который скользил по светло-голубым водам Карибского моря, я чувствовала только движения своих ног. Нутро у меня больше не тряслось и не просилось наружу, как раньше. Я шла, опираясь на качку, а не сопротивляясь ей, и чувствовала, как пальцы ног, словно когти, цепляются за деревянные доски на палубе. О’Брайен, один из старейших людей в команде Цезаря, хихикнул, ухмыляясь беззубым ртом.

– У тебя «морские ноги», Черная Мэри, да. Тебе, поди-ка, и на мачту забраться – раз плюнуть! – И он ткнул худым пальцем в сторону вороньего гнезда. Оно и в самом деле выглядело как переплетенная узлами куча выбеленных веток.

– Еще чего! *Elle n’est pas de sear*, – злобно заорал в ответ француз, хоть и пребывавший в хорошем настроении. – Она же толмач, а не мартышка!

Хриплый смех и бубнеж, последовавшие за его замечанием, отвлекли моряков, а я пошла по палубе к леерам. Но вовсе не для того, чтобы блевать.

Мы плыли уже два дня, но никаких признаков ни суши, ни других кораблей не наблюдалось. Я не знала, куда мы идем: своими намерениями Цезарь со мной не поделился. Но как-то раз, прикрывая

глаза рукой от яркого солнца, я увидела, что вдалеке кружатся стаи морских птиц, а на горизонте вырастает темный холм. Земля. Но какая? Когда мы подошли ближе, появились другие холмики – темно-зеленые, черные и коричневые, – и у меня внутри все задрожало, сильнее и сильнее. Это был не мираж. Такую уйму роскошных цветов, эти высокие и гибкие вечнозеленые пальмы с густой зеленью нижних листьев и нежно-зелеными верхушками, мягкую желтизну песчаного берега я в последний раз видела... в общем, мы оказались недалеко от земель племени *фон*, совсем рядом с домом. У меня перехватило дыхание. Это невозможно. Я сплю? Или того хуже – брежу и вижу несуществующее?

Я жадно втянула в себя воздух и была вознаграждена ароматом влажной почвы и сладким благоуханием. Когда корабль медленно повернулся и двинулся параллельно берегу, затрещали и защебетали птицы. Вода была совершенно спокойной, а я, не сдержавшись, начала подпрыгивать, меня переполняла радость. Вдоль береговой линии двигались фигуры. Все одеты в яркие одежды: алые, желтые, белые, синие. И ни одного розового лица. Только темные, смуглые, коричневые, черные.

Дом. Я дома.

Я услышала голос матери, смех отца. Хихиканье младшего брата, поддразнивание старших сестер... Джери. О боги, как же я скажу матери, что Джери теперь спит под темными водами? Мысленно я увидела храм, который построят в ее память, услышала песнопения моих двоюродных бабушек, басовитое бормотание старейшин и вкусила сладость спелых плодов. Но это было всего лишь желание да воображение.

– Вижу берег! – раздался голос из вороньего гнезда.

На мое плечо легла рука Цезаря.

– Что это за место? – забывшись, спросила я на *эдо*.

Он слегка нахмурился.

– Что ты сказала?

Я повторила вопрос на его языке, теперь желание сменилось надеждой.

Темные глаза мужчины наполнились пониманием, он медленно кивнул.

– Это дом, – ответил он. – Твой новый дом. Островок называется Риф. – Лицо расплылось в широкой улыбке. – И принадлежит мне. Я его называю Риф Цезаря.

– Похоже на... – Я сумела удержаться и не произнести рвущееся из глубин души слово ни на *эдо*, ни на *акане*. Из глаз полилось, и я вытерла их тыльной стороной руки. Потом посмотрела на Цезаря, но тот стоял закрыв глаза.

– Вот именно, – согласился он. – А если закрыть глаза и подставить лицо теплему солнцу... сделать глубокий вдох... то уловишь благоухание плодородной земли моих отцов, причудливые ароматы берега реки после наводнения. Услышишь песню жаворонка, почувешь острую... манящую... сладость... цветка нанди, повсюду разливающего аромат.

Я уже не утирала слез, катившихся по щекам. Пальцы Цезаря стиснули мои плечи, затем он ослабил хватку.

– Думаю, это было жестоко... – протянул он, – выбрать для жизни именно это место. Ведь оно вводит меня в заблуждение всякий раз, когда я захожу в бухту. Все здесь напоминает... Энтуме, мою деревню, моих воинов, моих жен и детей. Но теперь здесь и мой дом, и дом моих нынешних жен и моих детей, моих новых соплеменников, их жен и детей. – И Цезарь посмотрел на меня. – Я выбрал островок из-за его изолированности. Он вдали от людей, от английского короля и от испанского и не интересен колонистам. К тому же у меня хватит сил его защитить, и потому есть ощущение безопасности. Но все же... – и он глубоко вздохнул.

Я не провидица, боги не удостоили меня этим даром, как мою мать и ее мать. Мысли читать не умею, и туман времени не редет для меня так, чтобы можно было заглянуть за его пределы. Но в тот момент я поняла, о чем думает Цезарь. Узнала его самое большое желание, потому что это было и мое желание тоже.

– Я ведь не вернусь, так? – выкашляла я слова. – Домой.

– Нет, не вернешься, – ответил он, по-прежнему глядя в море. – Как и я.

Риф Цезаря представлял собой кусочек, клочок земли в синезеленом море, ломоть, который оторвался и уплыл от того, что впоследствии стало Флоридой. Там были песок и пальмы, небольшой, но густой лес и даже гора, точнее, высокая черная скала, образовавшаяся, как сказал Цезарь, давным-давно из отрыжки богини земли. Поселение, где обитали только семьи членов экипажа, было застроено небольшими невысокими домиками самого разного вида, причем одни напоминали мой дом, другие – хижины розоволицых, которые я видела вдоль побережья Ямайки, а третьи, длинные бараки, остались от первых жителей этого места, теперь уже исчезнувших.

Всё было новым, увлекательным и странно знакомым. Люди собрались на пристани, дети плясали от радости, на всех лицах цвели улыбки. Команда, с которой я провела бок о бок несколько месяцев, эти суровые моряки, одни молчуны, другие сварливцы, сияла от радости, и меня удивило, с каким восторгом они обнимают своих женщин и подхватывают детей. Это место напоминало мне Уиду, но не внушало страха. И здесь и там попадались розовые лица, но в основном были смуглые, коричневые, черные.

Цезарь, у которого здесь, похоже, имелось две жены, ринулся в толпу детей всех цветов и возрастов, требующих его внимания, в то время как его женщины, жены стояли в стороне, гордо улыбаясь. Одна – из *игбо*, у другой была светло-смуглая кожа, резкие черты северных малайцев и вьющиеся темные волосы. Наше прибытие походило на праздник.

Один из детей Цезаря, мальчик лет шести или семи, повел меня за собой, вереща, что я буду жить в доме его матери.

– Отец говорит, ты его досточтимая сестра! Значит, моя тетушка!

Мальчонка говорил так быстро, что я едва разбирала слова. Он схватил меня за руку и теперь тащил в центр толпы, заполнившей грунтовую дорогу.

– Ты будешь жить с нами, тетушка! – Он хихикнул и сверкнул белыми зубами – спереди одного не хватало. – Забавно! Маловата ты для тети!

Из его рта потоком лились слова, смесь английского, *игбо*, *хауса*, французского и других языков. Он приплясывал по улице, и, чтобы не отставать, мне приходилось приплясывать с ним.

– Ой! А вот и мама!

Женщина *игбо* с серьезным лицом разглядывала меня большими темными глазами. Ей нужно было понять, представляю ли я для нее угрозу, могу ли оказаться соперницей. Но, как и ее сын, увидела ребенка, девочку, еще не уронившую первую кровь. Ничего опасного. Да еще я вспомнила мамины уроки. Остановилась перед взрослой женщиной и почтительно склонила голову.

– Муж говорит, ты его сестра, – медленно начала она. – Ты... – она сделала паузу, – его говорител.

Я кивнула. На этот раз «говорител» замолчал.

– Я Ннека. Добро пожаловать в мой дом.

Ее внимание привлекли телодвижения пляшущего сына, и она нахмурилась.

– Кве! Ну-ка прекрати! Не приставай к досточтимой тетушке!

– Спасибо... сестра, – выговорила я очень медленно, стараясь подбирать правильные слова. – Меня зовут...

А как меня звали? Маленькая Птичка? Присцилла Грейс?

– Мариам, – назвалась я, вспомнив, как Цезарь произнес имя, которое мне дали. – Мариам.

Ннека кивнула, словно привыкла к подобным именам.

– Пойдем со мной. – Она с любовью провела рукой по макушке маленькой яйцообразной головки сына. – Мы с Кве покажем, где ты будешь спать.

* * *

Позже сын Цезаря провел меня по пляжу, чтобы похвастаться любимыми раковинами и потревожить прячущихся крабов. В прибрежном лесу стояло несколько домов, но вообще-то он казался пустым. Мы случайно вышли к забору, полностью сделанному из ракушек. Я никогда не видела ничего подобного и проследила глазами за этой необычной оградой: она тянулась довольно далеко. В темноте мне удалось разглядеть лишь стоявшую на полянке небольшую хижину, похожую на длинный дом, из трубы которой завивался синий дымок. Я подумала, что это странно, ведь здесь так же жарко, как и в моих краях.

Кве пожал плечами и схватил меня за руку.

– Это дом тети Кэт, – сказал он, утаскивая меня в сторону причала. – Сюда ходить не стоит, пока она сама не позовет. А пока не позвала. Не хочу, чтобы она нас видела... – Его темные глазки опечалились и стали еще темнее.

– В чем дело? – спросила я. – Ты чего-то боишься?

Мальчик сначала не ответил, а просто потянул меня сильнее, будто хотел, чтобы я двигалась быстрее.

– Не... боюсь. Но тетя Кэт, она могущественная. И мама не обрадуется, если я ее рассержу.

Мальчик покачал головой и пошел вперед, не обернувшись. Но я оглянулась и увидела женщину, стоящую в тени на опушке леса возле калитки ракушечного забора.

– Кто она? – спросила я Кве, ощутив холодок в плечах, несмотря на жару и довольно сильный влажный ветер.

– Ведунья, – прошептал он, но так громко, что его услышала бы и рыба.

Первая моя ночь на Рифе Цезаря была волшебной. Казалось – если закрыть глаза, – я снова дома, там, за темными водами, и сейчас снова увижу знакомое восходящее солнце. Ужин был праздничным, чтобы отметить возвращение *асанте* домой и воздать благодарность богам всех племен, христиан и мусульман за то, что они благополучно доставили домой Цезаря, его людей и меня.

Женщины готовили весь день, кастрюли источали ароматы, одни знакомые, другие нет, и у меня потекли слюнки. Тушеная рыба, курица с рисом, фасоль, зажаренная в яме свинья – деликатес, от которого отказывались последователи людей в тюрбанах^[22], усевшиеся подальше и с подветренной стороны.

Я ела, пока не поняла, что съеденное сейчас попросится обратно.

Танцы заставляли меня смеяться: те, кто говорил по-гэльски, подпрыгивали и постукивали подошвами под быстрые скрипучие звуки какой-то деревяшки со струнами, похожей на *кóру*^[23], которую я как-то видела в руках у мужчины из племени *мандинга*; испанцы, которые тоже попадались среди людей Цезаря, раскачивались под звуки, похожие на женский плач; и над всем этим в начале и в конце каждой песни, спустя еще долгое время после того, как затихала последняя нота, царили барабаны. Они звучали и через несколько часов с момента, как был отбит последний удар. Даже во сне я

слышала их твердый и ровный ритм. По их натянутой коже били руки людей *хауса* и Бенина, а также *таино* и *маскоги*, которые жили в местах, где я не бывала. Барабаны, на которых играли жители восточного и западного побережий по эту сторону темной воды, рассказывали истории, перед которыми меркли гэльские застольные песни и испанские баллады. Барабаны повествовали об украденных детях, страданиях и потерях, о предках, которые видели, как их дети и внуки, чьи лодыжки скованы железными цепями, умирают от мушкетных пуль и поветрий.

Я покачивалась, но не под музыку, мне хотелось спать. До этого я ела, смеялась, разговаривала и занималась тем, чего не делала с тех самых пор, как много дней, недель, месяцев назад нас с сестрой увезли дагомейцы. Играли. У детей было несколько мячей, мы их бросали и пинали. Играли мы и в догонялки, и в то, что англичане называют перетягиванием каната. Сначала я разрешила младшим мальчикам побегать за мной, а затем сама принялась преследовать их. Я бежала и бежала, пока не почувствовала, что ноги у меня вот-вот отвалятся.

Я забыла всё, что случилось со мной. Стоило ступить на песчаный пляж Рифа Цезаря, и я снова стала ребенком. Мы притворялись воинами и сражались на пляже, падали замертво, и песок сыпался нам в волосы, в уши, повсюду! Я закрыла глаза, вдохнула мягкий аромат корицы, носившийся в воздухе, и стала прежней... Мои ноги шлепали то по мокрому песку, то по теплой воде. Я бегала, и мышцы, ослабевшие после долгого безделья, болели потом еще несколько дней.

Я вспоминаю это с удовольствием.

И еще смех, которого так долго не слышали мои уши. Мужской, женский, хихиканье детей, чьи-то взвизги, мое имя, которое кто-то выкрикивал, пока мы бежали. Агуканье упитанных малышей: мы щекотали их маленькими игрушками, сделанными настоящим морским волком. Вот уж кого я никогда в жизни даже не заподозрила бы в подобном мастерстве. А он сшил прелестную тряпичную куколку и отдал годовалой девчужке, та улыбалась, демонстрируя всем единственный крошечный зубик, и пускала слюни. Он был так нежен, этот моряк, в плаванье ни на минуту не расстававшийся с пистолетом. Я улыбнулась ему и в тени пальмы увидела, как по его щекам пробежал румянец.

– Моя дочь Ана, – заявил он с гордостью. – Мари говорит, она сильная и в ней дух медведицы.

– Мари?

– Наша знахарка. Дети называют ее тетя Кошка. Она ведь еще и повитуха.

Я снова вспомнила странный забор из ракушек, который видела с берега во время прогулки с Кве.

Вокруг был новый мир и новые люди, не похожие на меня, но... знакомые. Разговоры, смех, детский плач, музыка... Я не боялась. И не тревожилась. Наоборот, ощущала себя дома, хотя и в другом доме, с другой семьей, но меня приняли, и я заняла достойное положение. И я была в безопасности. Никто не причинит мне вреда и не поймает в ловушку. Не убьет. Я радовалась.

Хотелось спать. Должно быть, я задремала, потому что единственное, что помню, – как меня подняли и куда-то понесли, раскачивая на ходу, а низкий голос шептал мне что-то на ухо. Цезарь. Меня уложили в мягкое гнездышко, слабо пахнущее сладкими травами и свежевывстиранным бельем.

– Спи, сестренка. Спи.

В тот день, когда мы высадились на Рифе Цезаря, мне довелось снова побыть ребенком. В последний раз.

«Черная Мэри» и «Калабар» почти постоянно курсировали по Восточной Атлантике и Карибскому морю, останавливаясь в стольких портах, что я не могла их сосчитать и запомнить все названия, какими бы странными они мне ни казались: Рыбная отмель (Кей-Лобос), бухта Корыто (Абако), Мелководье (Литтл-Инагуа), бухта Святой Марии, остров Равнинный (Навасса).

Цезарь стремился собрать навар до наступления того, что он называл сезоном штормов, когда придется засесть на своем Рифе.

Я содрогнулась, вспоминая нашу прежнюю землю, расплывшуюся от бесконечных дождей, реки, набухшие от воды, год, когда наводнением снесло деревню, где жили двоюродные братья отца. Хоть и маленькая, я запомнила, как вода стеной падала с неба несколько дней и родители приходили в отчаяние. Смывало посевы, людей и даже целые деревни, повсюду ползали змеи, и ничего не росло, потому что земля, пропитанная водой, словно жидкая каша, и уставшая, отвергала семена. Каким окажется сезон дождей на новом месте, прекрасно обеспеченном пресной водой, но находившемся в двух днях плавания от темных вод, я и не пыталась представить.

– Это больше, чем дождь, – объяснил Цезарь. – С восточного моря задувает ветер. Он несет бурю, небо чернеет, тучи обрушивают огонь. Воды могут поглотить корабль, даже военный фрегат, буквально в мгновение ока. Волны вздымаются выше деревьев. – И он показал на пальмы, покачивающиеся на легком ветерке. – Во время шторма нам всем следует укрыться в безопасных объятиях нашего Рифа. – Он посмотрел мимо меня и нахмурился. – Думаю, в этом году непогода придет рано. Вода слишком теплая.

И вот, чтобы обхитрить подбирающуюся к нам стену из черных туч, Цезарь, как лягушка, прыгал по сине-зеленым морям. Он приманивал англичан, вел переговоры с испанцами и французами.

Я делала всё, как было велено.

Говорила только с Цезарем. В голове у меня толпились и водили хороводы незнакомые лица и одежды, новые слова и странные

выговоры. Многие португальские слова потерялись – порты и города, где жили моряки этого народа, находились южнее, в морях, куда Цезарь не заходил. Все чаще мне приходилось слышать английскую и французскую речь. А когда мы вышли из порта, Хавьер научил меня испанским словам. Нашей последней остановкой была Магдалена, пиратская гавань на северной окраине острова Куба. Затем «Черная Мэри» подняла паруса и повернула на север, к Рифу Цезаря и бухте Ангела, где пришвартовалась и укрылась на отдых от самых сильных штормов. «Калабар» ушел неделю назад, кряхтя под тяжестью припасов и добычи.

Утром, едва рассвело, я заняла свое место на палубе рядом с досточтимым братом. Состояние было странным: ощущалась усталость, кружилась голова, немного лихорадило. Ноги одеревенели и едва держали. Цезарь глянул на меня и озабоченно нахмурился.

– Сестричка моя милая, ты неважно выглядишь.

Я с трудом сглотнула, возникло ощущение, будто внутренности полезли наружу. Желудок скрутило узлом, в кишках словно ворочался еж. Я снова сглотнула, меня охватила волна паники. Не хотелось опозориться перед братом, начав перед ним блевать или, того хуже, опорожнять кишечник. Но я не могла пошевелиться. В висках пульсировало, зрение затуманилось, перед глазами плыли черные пятна. Мое тело с шумом испустило газы, и голова свалилась набок.

«Вот и смерть моя пришла», – подумала я, прежде чем на глаза упало черное небо и свет померк.

Сейчас-то я знаю, что после потери сознания чувства возвращаются по одному. И первым восстанавливается слух. Придя в себя – а то, конечно же, был лишь обморок, – я не ощущала ни боли, ни тошноты, ни даже тяжести собственного тела. Слышала лишь свое дыхание, грудь наполнилась, а затем опустела, из ноздрей вырвался тихий свист воздуха. Ноги провалились в матрас, а голова откинулась на подушку. Над ухом жужжали голоса, один знакомый, другой нет.

– *Elle n'est sais pas*. Она не знает. – Цезарь.

– Нет. Не думаю.

Женщина.

– ...Это сделал...

– *Qui est*^[24]...

– ...*Rien*^[25]. Такая юная, такая малышка. *La pauvre jeune fille*^[26].

- Я найду того, кто это сделал, и...
- *Enfin!*^[27] Она тебя услышит! *Calmez*^[28].
- Она будет жить?
- Да.
- А ребенок?

Их голоса были слышны ясно, а вот смысл речей ускользал... смесь моих снов, звуков, языков. Португальский и *фон*, *эдо* и *фула*, арабский, французский и английский языки переплетались друг с другом. Мой разум изо всех сил пытался распутать слова и фразы. «Она»... Это обо мне? Я заболела, но буду жить. Так сказала женщина. Цезарь найдет... убьет... кого-то. Кого? Почему? А еще какой-то младенец, но детского плача не слышно. Женщина сказала, что он не жил или не выжил. Ах да! Это ведь знахарка, как ее, Мари Катрин. Мы же с ней так и не познакомились. Но она ведь целительница и повитуха. Вот почему Цезарь спросил о ребенке. Женщина говорила на французском, мешая его с языком, которого я раньше не слышала.

– Убирайся. Это женское дело, – авторитетно заявила она. – Я позову, если понадобится.

Живот пронзила боль. Я резко пришла в себя, задыхаясь. Попыталась сесть, но не смогла. Кто-то... женщина? Да, к руке нежно прикоснулась мягкая ткань, а нос обласкал слабый аромат специй и цветов. Я открыла глаза, но увидела не лицо, а лишь желтовато-смуглое пятно. Женщина положила ладонь мне на лоб, затем кончиком пальца коснулась моей щеки, бормоча ласковые слова на непонятном языке: не на французском, не на *эдо*, не на португальском, даже не на наречии, которое я слышала от родившихся на Ямайке. Голос у нее был низкий, спокойный и мелодичный, как у моей матери. Я уже засыпала, когда вдруг почувствовала давление в животе и новый укол боли. Вскрикнула и открыла глаза.

– Ага, пришла в себя. Хорошо.

На мгновение передо мной возникло мамино лицо, ее темные глаза, взгляд, одновременно пронзавший мудростью и согревающий любовью. Затем оно сменилось лицом другой женщины, одной из моих двоюродных бабушек, которая у себя в деревне тоже была знахаркой. Постепенно мой взгляд сфокусировался.

Я не встречала женщин, похожих на эту. Она была метиской или, может, креолкой, с темно-коричневой кожей и черными

миндалевидными глазами, как у моей матери, на голове тюрбан из белой ткани. Женщина улыбнулась, затем потрогала мне лоб тыльной стороной ладони.

– Ты поправляешься. Лихорадки уже нет. Прости, что сделала тебе больно, – и она глянула вниз, туда, я держалась рукой за живот. – Нужно было убедиться, что матка очистилась сама. *Savez?* [\[29\]](#) – Она нахмурилась, словно сама пыталась понять, дошло ли до меня. Повторила свой вопрос по-португальски, затем по-английски. – Понимаешь?

Я кивнула, хотя ничего не поняла.

– Я дам тебе воды, но пей медленно. Желудок у тебя еще слабый. Позже принесу немного бульона, может, кусочек хлеба. Нет, пока рано.

Она встала и повернулась, юбки крутанулись вокруг ее ног. Но вдруг она остановилась, посмотрела на меня и улыбнулась.

– Я Мари Катрин.

– А я... меня зовут...

Мари Катрин улыбнулась и коснулась моей щеки ладонью, как это сделала моя мать.

– Я знаю, как тебя зовут, Маленькая Птичка.

Мари Катрин дала мне воды, прохладной, свежей и слегка отдававшей мятой. Верно, добавили какой-то отвар, чтобы я заснула. В следующий раз я открыла глаза, когда на грубо отесанных бревенчатых стенах дома Мари хозяйничало солнце, пропитывая воздух жарой и загоня тени в углы.

Стоял полдень.

Мне было больно.

Мари Катрин снова коснулась моего лба, затем нежно, но твердо прижала ладони к моему животу. Я застонала, а она вздохнула.

– Прости, но я должна это сделать.

Она откинула простыню, осторожно подняла мои ноги и принялась обтирать меня смоченными в воде тряпками. Я успела заметить, что одна из тряпок была в ярко-красной крови. Должно быть, я испачкалась. Помню, мне стало стыдно, так стыдно, что я не могла смотреть на Мари Катрин.

– Не волнуйся, дитя, это необходимо. Часть нашей обычной женской жизни. – Мари Катрин снова поймала мой взгляд и наклонилась ближе. – Ты понимаешь меня? Что я говорю?

Я покачала головой.

– Я... я понимаю смысл ваших слов, тетушка, – с трудом выговорила я. – Но не понимаю...

Живот снова свело судорогой, и лицо у меня скривилось.

– Ах ты, господи, – знахарка откинулась назад, нежно сжала мне плечо, а затем встала. – Сейчас принесу тебе что-нибудь, успокоить нутро.

Она помогла мне сесть на тюфяке, подложив за спину подушки, а затем протянула еще чашку воды с пряностями.

– Что это? – спросила я.

Женщина слегка улыбнулась.

– Это немного снимет боль.

Позже она принесла миску с супом и, отбросив мою руку, накормила меня сама.

– Это куриный бульон с овощами и зеленью. Чтобы подкрепить силы и исцелить утробу.

– Утробу?

Мари Катрин прищурилась, всматриваясь в мое лицо.

– *Dite-moi*^[30]. Ты хоть понимаешь, что с тобой произошло?

У меня из глаз потоком хлынули слезы. Мне было стыдно за свою телесную слабость.

– Я... я обмочилась и... и-испачкала одежду, – выдавила я, сдерживая рыдания. – Прямо при... Цезаре и... Люке... и-и... всех...

Я уставилась на край простыни, не в силах поднять глаза. Думала только о том, как неловко было бы маме, узнай она о моем поведении, о том, что я не совладала со своим телом. А уж что сказала бы Джери? Представить страшно.

Мари Катрин приподняла пальцем мой подбородок.

– Нет, Маленькая Птичка, ты ребеночка родила.

Ребенок. Она произнесла это слово так естественно, словно пожелала доброго утра. Ребенок? Как же у меня это получилось?.. Руки как-то сами нащупали небольшой холмик, который был моим животом. Еще больно, но уже не тяжело. Маленький комочек, который там был... Нет. Вопросы застыли на моих потрескавшихся губах. Как?.. Почему? Нет. Это же просто невозможно. Надо мной еще не проводили нужных обрядов, церемоний... Мари Катрин медленно покачала головой.

– Ты... не знала? Что носила ребенка? Но как это может быть?... – Она откинулась на стуле, который поставила рядом с кроватью. – Впрочем, ты же совсем малышка. Тебе четырнадцать? Пятнадцать?

– Двенадцать. Кажется.

Знахарка глубоко вздохнула и закрыла глаза. А когда снова подняла веки, лицо ее стало пугающе бесстрастным, словно маска. Я вздрогнула. В маленькой комнате вдруг дунуло холодом, резким порывом невесть откуда взявшегося ледяного ветра.

– Понятно. И кто отец?

Отец. Малыш. Эти слова ничего для меня не значили. Я знала, что мужчина и женщина делают вместе, или только думала, будто знаю. Мне еще предстояло многому научиться. Обрядов-то провести не успели. Я оказалась на высоком корабле, еще не уронив первой крови.

Я устала на Мари Катрин. Смысл ее слов все равно ускользал. У меня родился ребенок. Ребенок. И все же, если это было правдой – а причин не верить знахарке не было, – то как же... Мысли наплывали одна на другую, кружились, как вода в приливной заводи, и... Нет. И вдруг я поняла. И Мари тоже.

Она была колдуньей, это точно. Потому что ее глаза поймали мои как раз в тот момент, когда я копалась в памяти, и вытащили наружу правду, которую я пыталась забыть. В сумерках несколько лун назад... Семь? Восемь? Остров Зеленой Черепахи, Хоуп-Таун – город Надежды, – вот так. Не очень оживленная улица, проем между лачугами, сильная рука хватает меня за плечи, стискивает шею, невидимый мужчина дышит мне в ухо.

Цезарь поручил мне передать бумаги человеку, говорившему по-португальски, а по-английски знавшему лишь несколько слов. Я должна была еще кое-что сообщить устно ему одному и вернуться с ответом. Цезарь доверил мне серьезную задачу. И я выполнила всё, именно так, как он просил. Ошибкой было возвращаться на «Черную Мэри» короткой дорогой.

Хоуп-Таун – городок маленький, но оживленный, его главные улицы довольно широки для такого захолустья, заполнены людьми и рыночными прилавками, повсюду процветает торговля. Деревьев мало, тени почти нет. Но на окольных нешироких улицах и потенистее, и народу немного, а по той, которую выбрала я, и вовсе шли только двое – он да я. Я услышала его шаги и обернулась посмотреть, кто там, но

не успела. Мужчина схватил меня за плечи и потащил в небольшой проем между лачугами, такой темный и глухой, что туда не попадали лучи даже полуденного солнца. Выплюнул несколько слов, гортанных, жестких и невнятных. Английских. От него пахло ромом, потом и грязью. Держа меня одной рукой, другой сорвал мои штаны и одним толчком вонзился в мое тело, разрушив остатки моих иллюзий о добре и зле в этом мире. Потом замер, выругался по-французски и, сунув руку мне под рубашку, сцапал за грудь, как будто хотел ее оторвать. Затем снова вонзился в меня, на этот раз с такой яростью, что я вскрикивала, пока он не ударил меня по затылку. А потом толкнул на бульжную мостовую, и я поняла, что сейчас меня либо зарежут, либо отсекут голову.

Но он этого не сделал. А только снова обругал меня на языке, который я вскоре научилась распознавать, а затем исчез, оставив меня обмочившейся, трясущейся и разбитой, с ощущением, будто чудовище в обличье человека выпотрошило меня. Не помню, как мне удалось добраться до корабля и привести себя в порядок, не привлекая внимания Цезаря или остальных. Но у меня получилось. А потом я попыталась забыть. Получилось и это. Но в тот момент, сидя в мягкой послеполуденной жаре и глядя на Мари Катрин поверх чашки с водой, я молчала, потому что не знала, что сказать.

Я не могла ей этого сказать. Не могла представить тот день, снова почувствовать, как меня... на спину и рвут мою... Не могла. Да и не стала бы. Но Мари каким-то образом поняла это, словно прочитав мои мысли, увидела именно то, что видела я, будто стояла тогда позади, глядя мне через плечо на весь тот ужас, который я пыталась забыть. Но сейчас она тоже промолчала.

– ...Ребенок. – Одно-единственное слово. Ощущение, будто я иду по высохшему руслу реки, покрытому острыми зазубренными камнями, которые врезаются мне в ступни. Кровь, просачивающаяся жалкими струйками, ускользала от моего взгляда.

– Она... до срока. А ты, – и Мари вытерла мне слезы тыльной стороной теплой руки, – ты еще мала.

– А можно...

Я даже не знала, что у нее спросить. Но Мари поняла и медленно покачала головой.

– Нет. Я помолилась за нее и похоронила в таком месте, где ветерок будет охлаждать ей личико, а восходящее солнце даст свое благословение. Ее дух отлетит в тепле и покое.

Я больше ни о чем не спрашивала знахарку, потому что не в силах была слушать ответы.

Много раз в течение жизни я думал об этом моменте. Эта маленькая девочка была моим первым и на протяжении многих лет – единственным ребенком. Интересно, какой бы стала моя жизнь, не будь я так юна, не родись эта девочка до срока. Как она могла бы выглядеть? Ее лицо в моем воображении всегда остается размытым. А лица мужчины, который меня насильничал, я не видела. Мари Катрин его тоже не видела. Но она видела моего ребенка. А позже тем же вечером, после того, как Цезарь пришел советоваться с Мари, мне лучше вспомнился разговор, который они вели друг с другом за день до того, как я окончательно пришла в себя, когда еще плавала между реальным миром и миром духов.

Цезарь тогда рычал и ревел, как разъяренный бог.

– Я разорву его на клочки, порежу на ломти! Оторву член, ноги и...

– Как ты его найдешь, а? Откуда узнаешь, какого парня резать? Дотла сожжешь Хоуп-Таун? Развесишь всех мужчин старше двенадцати лет на мачтах «Черной Мэри»?

– Узнаю.

– Ну, мужик он и есть мужик. *Fermez!*^[31]

Ее голос пронзил его, как кинжал.

– Не найдешь ты его. Малышка и сама его не знает. Спрячь свою ярость подальше и молись, чтобы она выздоровела телом и духом.

Цезарь снова ворчал, гневные слова грохотали в груди, как проглоченный гром.

– А что ребенок?

– *Une petite fille*, крохотная девочка, бледная, хрупкая.

– Белая, – Цезарь сплюнул.

– Да.

Ученица знахарки

Следующие несколько дней я спала. Выпила, похоже, ведро воды с пряностями, которая притупляла боль в животе. Хлебала бесконечный бульон из бездонной тарелки. Потом стали приносить еду поплотнее: кусочки пресного сига с рисом, а еще чуть позже – овощное рагу с креветками. Мари Катрин носилась со мной, словно курица с яйцом, купая и одевая меня, как младенца. Она не давала мне напрягаться. И когда я просыпалась посреди ночи, то визжа, то рыдая, потому что мои сны опять наполняла вонь безликого мужчины, или стенающая от разрывающей живот боли, Мари обнимала и утешала меня, как ребенка, которым я, собственно, и была, напевая нежные песенки на своем родном, непонятном мне языке. Сны мои остались со мной, но теперь стали редкими гостями.

* * *

Благодаря своей юности и заботе Мари Катрин со временем я выздоровела. А когда время штормов отступило и сине-зеленые воды Карибского моря снова успокоились, Цезарю и французцу пришло время отправляться по делам. Но меня любезный брат в этот раз с собой не взял.

Я спорила с ним на всех языках, которые знала. Но он лишь хохотал, запрокинув величественную голову и блестя на солнце крупными белыми зубами. Мари Катрин с французом тоже смеялись.

Меня это не позабавило.

– А кто помешает английскому капитану обмануть тебя? – наступала я, уперев руки в бедра, вызывающе выпятив подбородок и выплевывая грубые слова *асанте*, которые от него же и слыхала. – А Веллингтон и вовсе злодей и лжец, с него глаз нельзя спускать и следует дважды пересчитывать каждый из его восьми пальцев, чтобы убедиться, что он тебя не провел! – Речь шла о заклятом враге Цезаря,

легкомысленном негодяе, которому за пристрастие к чужому добру уже отрубили два пальца, в том числе большой.

Цезарь снова расхохотался и положил массивные руки мне на плечи.

– Ты мне больше сестра, чем если бы была одной крови со мной, – заявил он с гордостью. – Но я думаю только о тебе.

Он наклонился, и я почувствовала мягкое прикосновение губ к моему лбу.

– Рисковать тобой я не стал бы ради всего золота, которое есть в сундуках Алонсо Рихаса, и изумрудов, от которых намереваюсь освободить Веллингтона. Тебе следует отдохнуть.

– Наотдыхалась уже! – фыркнула я.

Цезарь не сдвинулся с места.

– Мариам, послушай меня. Это плавание будет коротким, по спокойной воде, с теплым попутным ветерком. Мы тихонько скользнем на Рыбную отмель и заберем у старого английского негодяя часть его камешков...

– Или все, – тихо добавила Мари Катрин. Цезарь остро глянул на нее. Женщина лукаво улыбалась.

– И так же тихо скользнем обратно. Успеем еще до Дня поминовения усопших. – И он взял меня пальцами за подбородок. – Ты и оглянуться не успеешь, как я вернусь. А теперь отдыхай, сестричка. Ешь. И делай то, что говорит Мари.

Цезарь уплыл на одной «Черной Мэри». А другая черная Мэри осталась. В отдыхе я и в самом деле еще нуждалась, тут досточтимый брат не ошибся. Но дело было не только в этом.

Вернуться к прежней жизни я уже не могла. Не могла играть в мяч с Кве и другими мальчиками, даже если бы они позволили. Не могла вместе с остальными детьми плескаться в прибое и играть в догонялки. Потому что перестала быть ребенком.

Раньше меня в сопровождении матери, сестер и теток торжественно проводили бы в мир женщин, как-то изменив, превратив из девочки в желанную невесту, выкуп за которую определил бы отец. Мне стали бы по-другому заплетать и укладывать косы. Джери научила бы меня правильно заворачивать геле^[32]. И я никогда больше не смогла бы двигаться как ребенок или говорить детскими словами. То была очень могущественная магия. Не знаю, сколько дней

потребовалось бы для перемены, но уверена, что из женского дома я вышла бы уже совсем не той Птичкой, которой вошла.

Дагомейцы, розоволицы, большие лодки, темная вода и это место перевернули всю мою жизнь и изменили меня. Женский дом, в котором свершились перемены, не был домом моей матери, сестер, теток, – родив, я одним шагом преодолела его порог и немедленно покинула. Мой ребенок, едва появившись на свет и вдохнув воздух этого мира, умер. Дух влетел в крохотное тельце и сразу покинул его.

И теперь сбывается предсказание Джери: мамино ремесло, похоже, станет моим. С того момента, как мой ребенок сделал свой первый и последний вздох, Мари Катрин начала меня обучать работе лекарки и повитухи. Правда, женщин на Рифе Цезаря убедить оказалось нелегко. Они смотрели на меня косо, говорили, что такой соплячке нельзя доверять лечить их недуги, опасаясь, как бы я не напоила или не накормила их каким-нибудь сомнительным зельем, от которого они только сильнее расхвораются. И опыта помогать в родах и принимать детей у меня нет. А я действительно была еще мала, и никакого лекарского опыта у меня не было. Недовольное бурчание сменили жалобы, а потом и возмущенный ропот. Но Мари Катрин резкими словами заставила женщин умолкнуть.

– Наша любимая сестра, преодолев темные воды, прибыла к нам из земель ее и ваших предков. Она дочь ворожеи и провидицы. И исцелять умеет, и видит, кто чем болеет, даже если ей не говорят, – это у нее в крови, ей бабка передала. К тому же она из близнецов.

Еще одно доказательство силы Мари: я ей об этом никогда не рассказывала.

Послышались вздохи, и некоторые женщины схватились за священные предметы, которые носили на шее на тонком кожаном шнурке: у одних это были амулеты, у других, предпочитавших ритуалы жрецов в черном, – маленькие деревянные крестики. Теперь все поглядывали в мою сторону с опаской. Близнецы и тогда, и сейчас рождались нечасто и были явлением, наполненным тайной и силой, заслуживающим внимания и размышлений.

– Она способна узнавать корни и травы по запаху и на ощупь. И уже познала круг жизни, хоть и молода.

Женщины постепенно притихли, нытье сменилось сосредоточенной тишиной. Все слушали. На Рифе уже знали, что я

родила ребенка, который тут же умер. Холмик, где похоронили младенца, стал местом поклонения, женщины приносили туда цветы и другие подношения.

– Я научу ее всему, что знаю сама, и она всё запомнит. Но и вы не забываете: дар Мариам передан ей через кровь наших общих прабабушек.

Сетования женщин превратились в хор песнопений, священное «да» богине.

Я посмотрела на Мари Катрин, и она кивнула. Готово.

Правда, меня не спросили, хочу ли я такой судьбы.

Однако именно она мне уготована.

Пророчество Джери сбылось.

Я разобиделась. И чисто по-детски принялась вымещать свое недовольство на Мари Катрин, единственном человеке, который этого не заслуживал. Маме стало бы стыдно, она решила бы, что плохо меня воспитала. Джери бы резко отругала и надрала уши. Я отказывалась учиться. Не хотела пить воду с пряностями, которая снимала боль в животе. Пыталась отказываться от еды, но от супов и рагу Мари у меня слюнки текли. По ночам, когда она велела мне спать, я изо всех сил таращила глаза и пыталась втянуть ее в разговор, чтобы проверить ее решимость и силу. Я болтала как попугай, но все равно потом отключалась: Мари подсыпала мне в чай снотворные травы.

Королева вуду была мне явно не по зубам.

Впрочем, я не уверена, вправе ли так ее называть. И никогда не смогу развеять свои сомнения. Я знала ее как Мари Катрин, почитаемую тетушку и талантливую учительницу. Следующие пять лет я не путешествовала с Цезарем, а жила на Рифе и перенимала у Мари знания – как лечить, принимать роды и... просто быть женщиной.

Училась я прилежно. Всякие травы, корешки и снадобья и в самом деле были у меня в крови. Мать не зря слыла в нашей земле знахаркой. Мне не составило труда запомнить, чем из растущего вокруг можно остановить кровотечение или понос, залечить порезы, успокоить головную, зубную и желудочную боль. За сборами мы ходили почти каждый день и по Рифу, и за его пределами, прочесывая густые заросли, сильно напоминавшие прибрежные районы моей страны, места, где жили меднокожие люди. Мари не раз говорила, что

у каждого живого существа есть свое предназначение, что жизнь бывает долгой и вряд ли мне предстоит провести все свои годы в безопасности и относительной изоляции на Рифе Цезаря.

В одну из наших прогулок она наклонилась и схватила пригоршню зелени с корнями и почвой. Земля была влажной после недавнего дождя, и коричневая влага капала с ее ладони, оставляла грязный след на подоле белого фартука.

– *Et voilà*^[33], – с удовлетворением сказала Мари, передавая мне траву. – Это отлично сварится в горшке. А отвар укрепит сердце, добавит сил и защитит от легочных болезней. – Она переложила зеленые стебельки на ладонь и другой рукой поманила меня поближе. – *Regardez...*^[34] У этого сорняка есть братец, который живет на Ямайке, и сестрица, растущая вдоль побережья... в колониях, *les anglais*^[35] называют их Джорджия и Каролина. Эти травы легко найти, если знать, где искать.

И она устремила на меня пронизательный взгляд. Глаза у нее были темно-карие, такие темные, что могли показаться черными.

– И теперь ты это знаешь. Да?

Я кивнула, изучая зеленую массу и закрепляя ее образ в своей памяти.

– Думаю, двоюродных братцев и сестриц этой травы ты найдешь и дальше в Америке. Я, например, видела их и в Вирджинии.

– Ты была... там?

Она мягко улыбнулась. А глаза ее холодно блеснули.

– Я много где была.

Мари заставляла меня смотреть, как она сращивает сломанные кости (процесс, от которого у меня внутри все переворачивалось), и учила, как соединять их друг с другом. Вскоре я помогала ей лечить и Цезаря, и его людей от множества недугов, которые их одолевали, а также их женщин и детей, селившихся на Рифе, в тихом и безопасном месте, единственном, куда их мужчины точно должны вернуться.

Я достаточно легко научилась приводить в порядок больные желудки, снимать боли в суставах, вправлять вывихи, но мысль о том, чтобы стать повитухой, наполняла меня ужасом. Когда я впервые увидела появление на свет ребенка, меня вырвало, хотя ведь много лет назад, в давно ушедшие времена, при мне рожала моя мать.

Но теперь стремглав выбежала из хижины.

Мари, как могла, успокоила роженицу Эми, а затем пошла за мной и обнаружила меня скрюченной, содрогающейся в рвотных позывах. Она была в ярости.

– Что с тобой? Никогда! Никогда не бросай роженицу! Никогда!

– Я... я не могу этим заниматься... Я не могу...

Мари Катрин протянула мне тряпку вытереть лицо и заставила прополоскать рот, а потом снова принялась отчитывать с не меньшей же резкостью.

– Можешь. И будешь, – рявкнула она. – Я здесь не навсегда. Да и ты тоже.

Тут я перестала перхать и уставилась на нее. Откуда ей это известно?

– Ты... должна уметь принимать роды. От этого зависит твоя судьба. – И Мари прищелкнула пальцами. – Вот так-то. Не зря ты с этим столкнулась.

– С чего ты... – Я покачала головой.

Мари Катрин резко вздохнула и открыла рот, собираясь что-то сказать, но из хижины раздался голос, и она умолкла.

– Мари!

Мари посмотрела на меня. Выражение ее лица оставалось суровым, но из глаз глядела тревога. Она провела ладонью мне щеке и дала в руки чашку с водой.

– Прополощи рот. А мне пора к Эми. Поговорим обо всем позже. Тебе предстоит многому научиться.

И я подчинилась.

У Эми родился мальчик, здоровый и толстый. Мы уехали поздно вечером, когда женщины вместе с изумленным отцом устроили суматоху вокруг матери и ребенка. Работа была долгой, ушел почти весь день, и теперь, вечером, Мари отдыхала, вытянув ноги на богато украшенный гобеленовый пуфик, который Цезарь привез ей из Сантьяго. Настала моя очередь заботиться о наставнице. Я поставила чашку горячего чая на маленький столик рядом с ее стулом. Она отмахнула рукой поднимавшийся пар.

– А-а-а, *bon*^[36]. Никто не заваривает чай лучше тебя, моя Мэри. – Знахарка слегка улыбнулась, затем взяла чашку и сделала глоточек. Выглядела она усталой,

– *Attends!* ^[37] – Я решила пообезьянничать, вставить в свою речь французские словечки. – *Il fait...* ^[38] – Смысл этого выражения от меня ускользал.

Мари рассмеялась, словно колокольчики зазвенели.

– *Il fait chaud* ^[39], – сказала она. – Да. Но... ах, как хорошо! – На этот раз она отхлебнула основательно.

Я сняла с нее туфли. Она вздрогнула, но не издала ни звука. Ноги у Мари опухли. Я принялась массировать ей ступни и икры. Бедняга ведь простояла у постели рожавшей Эми почти восемнадцать часов. Для меня было чудом, что Мари после такого вообще могла двигаться.

– Твои прикосновения творят волшебство, – проворковала она, закрыв глаза и поставив чашку на стол.

– *Eh bien* ^[40], – я подражала ее акценту. – Пришло время и тебе... *dormirez* ^[41]...

Все еще закрыв глаза, Мари улыбнулась.

– *Dormir*, – поправила она меня. – Посплю, но еще нескоро. А пока давай-ка вернемся к твоим урокам.

Я оторвалась от своего занятия.

– Каким урокам? – Мне посещение моей первой роженицы казалось вполне достаточным уроком.

– Я учу тебя быть женщиной.

По моим плечам порхнул прохладный ветерок.

Я была не готова. И думала, что вряд ли когда-нибудь буду готова.

– *Écoute* ^[42], моя малышка Мэри, не отворачивайся.

В темноте послышалось чирканье спички. Пламя осветило лицо Мари в необычной, но красивой золотой рамке.

– Ты встретила с мужчиной, но вы с ним не занимались любовью. То, что случилось с тобой, произошло не по твоему выбору. И ребенок у тебя родился не по твоему желанию. Тебя... взяли силой. Но с мужчиной, которого ты полюбишь, малышка Мэри, все будет по-другому.

Я затаила дыхание, когда Мари заговорила. И так и сидела, не дыша.

– Ты и сама-то только-только первую кровь уронила, неудивительно, что при виде того, как рождается ребенок, тебя тошнит, ты бесишься. Объяснить это можно только твоим неприятным опытом.

Она смолкла, вздохнула и еще раз затянулась трубкой.

– Ты была слишком юна.

– А-а... р-ребенок... – Несмотря на то что уже прошло время, я так и не могла заставить себя выговорить «мой ребенок».

Ладонь Мари согрела теплом мою руку.

– Она с богами.

И снова по комнате пронеслось странное мимолетное дуновение прохладного ветерка. Не в первый и не в последний раз Мари произносила «боги» вместо «Бог». Каким-то невыразимым образом я знала, что моя наставница вовсе не была всецело предана христианскому богу розоволицых, хотя временами казалось, что признает его учение. По совершенно непонятым, невыразимым причинам от этого знания мне становилось легче.

– Пожалуй, мы начнем с самого начала, с женщины и мужчины и того, что они делают друг для друга и друг с другом. Затем перейдем к ребенку, которого они создают по обоюдному желанию. А потом поговорим о матери и ребенке.

Мари выдохнула облачко дыма, свернувшееся в серую змейку и потянувшееся к открытому окну. Ее глаза блестели в угасающем свете.

– Я познаю мужчину? У меня будет муж? – Мне было страшно и спросить, и услышать ответ.

– Да, – пообещала Мари.

– А... А дети у меня будут?

«Она видит скрытое», – сказал как-то Цезарь о Мари Катрин. Как и у моей матери, у нее был дар, способность видеть сквозь туман времени и пространства. Знахарка смотрела на дым, пока он не исчез, а затем перевела на меня взгляд темных глаз.

– Да, – произнесла тихо. – Но не все они будут твоими.

Продается рабыня 16 лет, темнокожая, хорошо сложена

Мир снова перевернулся. Только что я спала в безопасности и прохладе одна в каюте на «Черной Мэри», мягко покачиваемой волнами, или на тюфяке в хижине Мари Катрин, и мои уши ласкал шум прибоя. И вот меня уже куда-то везут, сковав лодыжки кандалами, босую, исцарапанную до крови и несчастную, на каком-то замызганном корабле с мокрой гниющей обшивкой, трюм которого наполовину заполнен мужчинами и мальчиками из Анголы и Конго. Британский военный корабль застал Цезаря врасплох, поджег «Черную Мэри» и теперь буксирует «Калабар», вернув ему прежнее английское название «Бристоль». Всех находившихся на борту убили или взяли в плен и забрали добычу, которую Цезарь захватил на острове Сент-Томас и у испанского пирата Одноглазого Циско. Экипаж разделили. Белых, кто не погиб в бою, казнили за измену. Оставшихся – черных, коричневых и просто смуглых, в том числе и меня, – схватили и продали.

Цезаря с нами не было.

Каким-то образом среди криков, буханья пушек и мушкетов, пожаров и густого дыма он умудрился скрыться. Только боги – Цезаря и мои – знали как. Об этом потом много говорили. «Он погиб». По словам одних, его подстрелили и он утонул. Да нет же, утверждали другие. Разрубили на куски. Но стоило попытаться выяснить подробности, все сразу умолкали. Никто не признавался, что видел мертвое тело, хоть целое, хоть нет. Даже солдаты короля.

«Черная Мэри» горела, ее снасти шипели, подобно змеям, падали, тлея, в море, высокие мачты покачивались, как пальмы, на легком ветру, а затем яростно рушились вниз, словно копья, нацеленные рукой бога неба. Корабль, который когда-то был моим домом, завалился на бок и бесшумно затонул. Вот она еще плывет, из дыры размером с дверь валит черный дым, а по остаткам палубы и бортов безумно пляшет красное пламя. А взглянув в следующий раз, я уже не увидела «Черной Мэри», она исчезла, и на этом месте не осталось даже

клубочка дыма. Ушла. Забрав с собой всех мужчин, которые на ней были. Но не Цезаря.

– *Pas de mort, il est disapparu*^[43], – сказал мне француз за несколько часов до того, как его повесили. – *N'est pas ici*^[44].

Сбежал. Исчез. Погиб. Что было правдой? Мне неизвестно. Правда лишь в том, что я никогда больше не видела Цезаря ни живым, ни мертвым.

В мгновение ока, за одно дуновение ветерка, за единый миг, пока качнется куст, волны накатят с моря и вернутся обратно, потянув за собой песок... я оказалась в другом мире. Где другим было все. Места, люди, погода. Позже выяснилось, что на Риф Цезаря тоже совершили набег. Но когда люди английского короля высадились на берег, там никого не оказалось: ни женщин, ни детей, никого. Все ценное, что Цезарь скопил за десять лет скитаний по Карибскому морю, исчезло. Или разграбили.

И никогда не нашли. Говорят, сокровища спрятали в пещерах или закопали в песке. И колдунья вуду наложила на них заклятье. Англичане сожгли хижины, домики, все жилища, которые смогли найти, разрушили пристани и ушли, разочарованные. Цезарь, Мари Катрин, женщины и дети мужчин «Черной Мэри» исчезли. Больше я не видела никого из них, хотя узнала бы в лицо, сколько бы ни прошло времени. Ходят слухи, что людям короля только показалось, будто все жилища на Рифе Цезаря разрушены, и что ранним утром, особенно когда из густых лесов вдоль северного побережья поднимается прохладный туман, из вороньих гнезд проходящих мимо кораблей видно хижину Мари Катрин: из трубы вьется бледно-голубой дымок, а у ворот стоит женщина в белом тюрбане.

Я уже привыкла, что жизнь швыряет меня из одного угла, из одного края земли в другой. Я была своей на Рифе Цезаря и на его кораблях. Его любимой сестрой. Мои слова имели такой же вес, как слова Цезаря, ко мне прислушивались, меня уважали так же, как и мужчин, хоть я еще и женщиной-то толком не была. На Рифе я училась у Мари Катрин ремеслу знахарки и упражнялась, исцеляя больных, умиряя страдающих и принимая детей. Теперь всё опять переменилось, и я снова осиротела. Ни семьи. Ни страны. Ни положения. Лодыжки, отвыкшие от грубого, жесткого железа кандалов, покрылись язвами и кровоточили. К тому же на Рифе

остались мои запасы трав, мазей и снадобий и «лечебная корзинка». Я больше не была Мариам, любимой сестрой Цезаря. Я больше не была ведуньей Мэри, ученицей Мари Катрин. Один залп пушки, один взмах меча – и я снова стала никем. Чернокожая девка невесть откуда. Никому не известная. Никому не нужная. Без всякого имущества. За которую можно получить пару-тройку монет или мешок табаку, равный моему птичьему весу.

Корабль пришвартовался в порту Саванны. Да уж, бог-обманщик подшутил надо мной. Именно в Саванну направлялся «Мартине» много лет назад, когда Цезарь захватил судно. Круг замкнулся. Мое прибытие в назначенный судьбой пункт назначения состоялось, просто несколько затянулось.

Меня протащили с корабля на помост, поставленный у причала. Ноги были стянуты тяжелыми железными цепями, мешавшими идти нормально. Это было унижительно, и я могла только шаркать, стараясь не споткнуться. Аукционист, розоволицый толстяк, говорил с акцентом, в котором я скоро научусь узнавать ирландский, но с медленными, округлыми тонами, характерными для говора этих мест, этой Саванны. Руки у него были толщиной с хороший окорок, а многочисленные кольца стискивали распухшие пальцы, как поясок талию. Он схватил меня за плечо, толкнул к передней части помоста и одним взмахом руки сорвал с меня рубашку.

– Тольк-о-о гляньте на энти титьки! – Толстяк похабно расхохотался. – Плодо-овитая будет, как пить дать. Так и просится к заводчику. Подло-ожи яе под кого-нить из своих негров или сам поваляй!

Смех прозвучал в моих ушах громом. Щеки вспыхнули от унижения. Открытые рты и розовые лица превратились в размытое пятно лиц без глаз и черт, слезы застили все вокруг. Я попыталась вырвать рубашку из толстой руки аукциониста. Но он дал мне пощечину и прорычал на ухо:

– Еще раз дернешься, и я те под вто-орой глаз синя-а-ак поставлю, чертова девка. – И с ослепительной улыбкой повернулся к своей аудитории. – Горя-а-ачая девка. То что на-а-адо! – Он подмигнул. Публика разразилась смехом. – Итак. Кто начнет торги? Как насчет восьмисот фунтов? Эта и нарожает, и в поле отлично поработает, а еще среди наших ниггеров ходят слухи, что она повитуха. Яе можно

сдавать внаем или... пусть сама принимает у себя детей, которыми ты яе начинишь!

От их ржания меня тошнило. Кто-то из розоволицых выкрикивал цифры, но их слова терялись в шуме скандала, разразившегося в центре толпы: несколько человек орали друг на друга, размахивая руками. Гвалт заглушил аукциониста, и он развел руками, словно признавая поражение.

– Жентльмены, жентльмены! Я всего лишь пытаюсь здесь вести торговлю! – крикнул он, притворяясь добродушным. – Итак, последняя ставка была от мастера Синглтона. Девятьсот пятьдесят...

– Повитуха! В доме Лепестка нужна повитуха! – Призыв исходил от высокого долговязого мужчины в темной шляпе, который пробирался сквозь толпу, останавливая каждую встреченную женщину. – Вы повитуха, мадам? Нет? А не знаете ли кого? А вы, мадам?

Аукционист решил вернуть себе контроль над потенциальными покупателями, прежде чем они вообще потеряют интерес к торгам. Вышел вперед на помост и осклабился, уронив при этом мою рубашку. Увидев подходящий момент, я рванулась вперед, схватила ее и быстро натянула через голову.

– Повиту-у-уху ищите? Во-от как специа-ально для вас! – выкрикнул он скрежещущим от смеха и сарказма голосом, указывая на меня. – Что ска-ажете? Ага-а, заинтересова-ались? Девятьсот пятьдесят фунтов!

Мужчина добрался до помоста и глянул вверх. Лицо у него было вытянутое, щеки ввалились, будто он жил впроголодь. На темных волосах, спадающих на плечи, плотно сидела почти такая же темная шляпа. Он ничего не сказал, просто посмотрел на меня. Затем снова на аукциониста.

– Подойдет. Значится, напрокат яе сдаешь? – поинтересовался он и полез в карман. – Я тябе заплачу два фунта за день. У Лепестка девчонка рожает.

– Дык всего девятьсот пятьдесят фунтов – и забирай яе насовсем! Или пятьсот фунтов табака! – ответил толстяк, с такой поспешностью пряча серебро в карман, словно боялся, что высокий мужчина передумает. Последовал взрыв хохота.

Мужчина без намека на улыбку покачал головой.

– Лепесток не покупает и не продает рабов. Просто одной нашей девчонке нужна помощь, вот и все. Как эта управится, я яе верну. – И он кивнул мне, глядя на цепь: – Сымай железки.

Розоволицый толстяк смолк, глядя на меня, и перестал улыбаться.

– Советую их оставить. Ена из Гвинеи, а тамошним неграм веры нет, ени тебе в любой момент глотку могут перерезать. Плохо приручаются. А то и энтим приласкают, – и он потянул цепь.

Высокий мужчина в темной шляпе смотрел на меня во все глаза, как это делал Цезарь, когда хотел что-то сообщить, не говоря ни слова.

– Ена не побежит, – сказал высокий мужчина. – Сымай.

* * *

Более долговязых, чем этот мужчина, я еще никого не видела, но, пожалуй, и более тощих. Даже без шляпы он был высоким, выше Цезаря. Ноги длинные, тонкие, как палки. Быстро двигался по людным улицам, петляя туда-сюда, словно водяная змея. Чтобы не отставать, пришлось бежать следом. Повезло, что он возвышался над толпой. Один раз остановился и посмотрел на меня сверху вниз. А я – снизу вверх на него.

Потом, словно фокусник, вытащил из невидимого кармана какой-то синий сверток и сунул мне в руки.

– Надень.

Это оказался балахон вроде платья. Я послушалась.

– Не отставай и поторопись.

Я прибавила ходу.

На улицах Саванны многолюдно и жарко, они замощены камнем. Я запинаясь, спотыкаюсь и бьюсь пальцами ног об их выступающие края. Этот же орясина не споткнулся ни разу. Мы почти бежим по кривой улице, которая спускается к воде. Повсюду люди, самые разные. Я, по обыкновению, слушаю слова. Некоторые знаю. Мужчина ведет меня по набережной, вонючей, шумной, грязной, как и в любом портовом городе, которых я уже немало видела по эту или другую сторону темных вод. Монета переходит из одних рук в другие. Приходит и уходит. У причала корабли принимают и разгружают

товары. Всякие грузы. Ром. Специи. Ткань. Оружие. Люди. Все темнокожие.

С одной стороны река, с другой – высокие покосившиеся здания. Мой наниматель поворачивается, хватая меня за рукав синего балахона и ведет к одному из них, высокому, обшарпанному, но с выкрашенной в черный цвет дверью, с блестящим медным дверным молотком и ручками. На два шага от этой двери улица выметена и вычищена. Он стучит.

Через несколько ударов дверь открывает невысокая тощая женщина. Неулыбчивая, с острым клювом вместо носа, тонкими губами и темными глазами. Одета как горничная, забывшая фартук, из-под белой шапочки выбиваются пряди рыжевато-золотистых волос. Англичанка или ирландка, судя по виду. Их много в этой части мира.

– Чагой-то ты не очень поспешал, – бурчит женщина. По ее словам и тону я понимаю, что она не англичанка и вовсе не горничная, несмотря на платье.

При виде меня у нее сделался такой вид, словно она собиралась сказать что-то еще, но не стала. Долго и пристально всматривалась. Затем заявила:

– Тока не говори мне, что она повитуха.

Он ухмыльнулся.

– Не, не повитуха. А теперь впусти нас.

Раздался пронзительный, леденящий кровь крик.

– Иисус, Мария и Иосиф! – прошипела женщина, захлопнув за нами тяжелую дверь. – Еще немного, и мне придется самой руки подставлять под ее щенка. – Она снова посмотрела на меня: – Совсем же девчонка ишо.

Мужчина склонил голову в знак согласия.

– И тем не менее повитуха. По крайней мере, так говорит работорговец...

– Я не...

– Я знаю, Лепесток. Мне ее дали в аренду, вот и все, потом мне придется ее вернуть. Она не идеальна, но больше никого не нашлось.

– Как ты зовут, девачка?

Я сказала.

Женщина вздохнула и снова посмотрела на меня. Тишину разорвал еще один оглушительный крик. В конце коридора открылась

дверь, и наружу высунулась женщина с ярко-желтыми волосами. Обнаженная до пояса.

– Черт вас всех раздери! Скажи этой суке, чтобы заткнулась! – рявкнула она. – Мои клиенты нервничают!

– Не вопи, Лил!

Полуголая женщина по имени Лил явно собиралась вволю поорать. Но передумала, стиснула челюсти и обернулась.

– Итак, милоч, на чем мы остановились? – проворковала она невидимому слушателю. Дверь захлопнулась.

– Те придется это сделать, – соизволила наконец сказать Лепесток. Схватила меня за руку и потащила через порог. – Не теряй времени, девачка. Ребенок идет быстро. Я сделала все, что могла в такой ситуации, исходя из того немногого, что знаю сама, и из того, что советует миссис Тутл, когда она здесь.

– И когда трезвая, – тихо добавил высокий мужчина.

Лепесток бросила на него быстрый выразительный взгляд.

– Горячая вода, чистые тряпки, дополнительная простыня, пеленки для ребенка и...

Я кивнула.

– Спасибо... госпожа. – Пришлось вспомнить, как обращаться к белым женщинам. – И еще, если есть... – Я торопливо отгарабанила несколько названий трав и корешков. Без своей корзины я мало что могла предложить, кроме знания, которое воспринимала больше ушами, и надежды, что тут отыщутся некоторые из необходимых мне средств.

Лепесток нахмурилась, но сказала, что проверит свои запасы и сделает все возможное. Роженица снова закричала.

– Поднимайся-ка лучше туды. Делай, чё можешь, а я соберу, чё ты просила.

Я кивнула и быстро пошла к лестнице, куда указала Лепесток.

– Иди с Джонсом. Третья площадка, вторая дверь справа, хотя и сама не заблудишься, по крикам, воплям и стонам. Девка там сущая дьяволица, так чё будь поосторожнее, – предупредила Лепесток довольно громко, хоть была уже почти на середине длинного коридора.

– Да, госпожа.

– И не называй мя так. Я никому не госпожа. – Она засмеялась и посмотрела на меня. – По всему видать, и ты тоже.

Следуя за мистером Джонсом, я, похоже, полжизни тащила по лестнице, пока добралась до третьей площадки. Лепесток оказалась права, дорогу к роженице по прозвищу Тюльпана показывать не требовалось: крики и брань привели меня прямо к ее двери. Поднимаясь по лестнице, высокий мужчина по фамилии мистер Джонс («Да ладно тебе, какой я мистер, зови меня просто Ричард») объяснил, что здесь пансион, а иногда и бордель (на случай, если я еще не поняла) и всех «девочек» Лепестка называют именами цветов.

У нее была страсть к цветам и садам. Полуобнаженную женщину внизу, откликнувшуюся на Лил, на самом деле звали Лилией, а саму Лепесток – Маргарита.

– Тюльпанушка, вот повитуха...

Темноволосая женщина, лежавшая на кровати раздвинув ноги и опираясь спиной на подушки, замолкла на полукрике и уставилась на нас.

– И Лепесток будет с...

– Убери эту ниггу отсюда! Сию же минуту! Гони ее к черту! Гони! Ее! К черту!

И она раззявила рот так, что в него поместилась бы целая корова, и снова завопила. От этого вопля, похоже, аж половицы задрезжали.

Я подошла к ней и попыталась проверить живот и сердце, но женщина ударила меня, а затем плюнула в лицо, обзывая такими словами, которые даже мне, последние пять лет прожившей с пиратами, редко доводилось слышать.

– Ни одна ниггерская сука никогда не коснется ни меня, ни моего ребенка! Забери ее-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!

С отвращением я отошла от кровати и, схватив влажную тряпку, которую сунул мне Джонс, вытерла лицо. Позади, из открытой двери, послышался голос Лепестка:

– Да что же это такое?

– Найдите мне настоящую повитуху! – орала женщина в постели, ни внешним видом, ни поведением не напоминая тюльпан. – Ай-я-а-а-а-а!.. Не эту грязную черную девчонку...

Лепесток промаршировала в комнату, словно полководец во главе войска, неся в обеих руках по стопке белья, за ней следовали две женщины, которые тащили ведра с водой, чайник и корзину, где, как я

поняла, были нужные мне травы. Белье она передала мне, а сама, ни разу не запнувшись, прошагала к кровати.

– А ну, цыц, дурында. Это повитуха. Ее зовут Мариам, а ты лучше уймись.

– Ни одна сволочная нигга не посмеет...

Я уже открыла рот, чтобы сообщить этому исходящему злобой демону из тьмы, что я о ней думаю, но Лепесток заговорила первой.

– Ну-ка прекрати строить из себя целку-недотрогу и закрой пасть! – отрезала Лепесток острым как бритва тоном и указала на меня. – Кроме этой девчонки не будет никого. Либо она, либо телись сама. Ясно?! А теперь успокойся и позволь ей делать свою работу. А ты, Ричард, ступай отсюда! Это бабьи дела.

Рот у Тюльпаны был по-прежнему распахнут, но она не издала ни звука. Джонс ухмыльнулся и вышел за дверь. Другие женщины, которые помогали Лепестку нести воду и тряпки, тоже ухмылялись, кусая губы, когда Лепесток пристально смотрела на них.

– Давай. – Она посмотрела на меня и кивнула. – Приступай же.

Тюльпана вздрогнула, когда я прикоснулась к ней, но хотя бы уже не плевалась. Я не обращала внимания на ее ужимки, просто делала свое дело. С помощью Лепестка расправила подушки, обтерла Тюльпану и расправила постельное белье, чтобы подхватить ребенка, если он выскочит, как пуля. Мое внимание привлек шепот в углу комнаты. Одна из женщин держала в руках чашку, и пар поднимался к ее покрытому оспинами лицу.

– Вот... отвар, который ты просила, – сказала она, и интонации французского языка, на котором она говорила в детстве, смягчили ее слова.

– Мерси, – ответила я, взяв чашку в руки.

Женщина с оспинами уставилась на меня. Я обратилась к Тюльпане:

– Пей.

Та, стиснув губы, гневно сверкала на меня темными глазами. И явно не собиралась ничего говорить, по крайней мере в присутствии Лепестка. Но подняла руку, словно собираясь выбить чашку с горячим содержимым у меня из рук.

– *Não*, – прорычала я Тюльпане на ее родном языке.

Та посмотрела на меня так, будто увидела меня впервые, распахнув глаза.

– Ты знаешь мой язык, – произнесла она по-португальски.

То же самое мне когда-то сказал Цезарь. Давным-давно. Используй слова, которые знаешь, Маленькая Птичка.

– Некоторые слова, да.

Она медленно вдохнула, затем лицо ее скривилось, а тело изогнулось, выталкивая ребенка.

С тех пор она говорила, потом кричала, потом еще говорила. Из нее вылилось столько слов, будто она приберегала их специально для меня. От роду ее звали Констанцей, и она была из рыбацкой деревни с непроизносимым для меня названием. Мать умерла, отец беспробудно пил, и в тринадцать лет, влюбившись по уши, девочка сбежала. Стала женой моряка, ну, или думала, что женой: на самом деле, стоило им осесть в Саванне, он попытался ею торговать, и она опять сбежала. Ее взяла к себе Лепесток и пристроила к работе. К самой древней работе, которую может выполнять женщина, помимо приготовления пищи. Но Лепесток была добра, содержала дом в чистоте и не терпела грубостей от клиентов. И младенцев. Ребенка Констанцы отошлют, как только отнимут от груди.

Я напевала знакомые португальские слова ей и ее только что родившейся дочери, розоволицему извивающемуся созданию, почти без волос, сильно отличавшемуся от большинства детей, которых я принимала на Рифе Цезаря и других островах. Крепкая, спокойная девочка сразу взяла грудь, а Констанца со слезами на глазах снова и снова благодарила меня, обещая крестить дочку в мою честь Бонитой Марией.

К северу от Саванны

Если б было можно, я бы осталась у Лепестка. Она этого хотела, ее долговязый Ричард этого хотел, утверждая, что здесь всегда есть работа для повитухи и того, кого англичане называют «доктором или врачом».

– Кости сами не срастутся, да и кишки то и дело требуется приводить в порядок, не говоря уж о том, что новорожденных кому-то нужно принимать. – Лепесток стиснула зубы. – А детей рожают даже те, кто работает у меня.

Она послала Ричарда торговаться с ирландцем. Намеревалась выкупить меня у аукциониста, а затем выбить мне вольную. Я осталась бы ей должна, но была бы свободна.

– Для меня рабство неприемлемо, – говорила Лепесток, убирая в комнате.

Я присматривала за Констанцей и маленькой Бонитой.

– Сыма-то была не лучше последней рабыни, – продолжала она, собирая грязное белье в узел, который был больше нее. – Приехала сюда в пятьдесят восьмом – пятьдесят девятом вместе с мэм из работного дома. Ее контракт выкупила торговка табачными изделиями из Мэриленда.

Куча простыней и одежды так разрослась, что из-за нее едва было видно макушку Лепестка.

– Но потом мэм умерла. – Женщина на мгновение смолкла, скатывая белье в комок. – Осталась я адна-адинешенька. А торговка продала миня фермеру. Для забав. В десять-то лет. Фу!

Она сложила белье в прихожей у открытой двери и вытерла лоб рукой.

– Да-да, мне едва десять стукнуло. Года через два у миня родился первый ребенок. А через год – следующий.

Взяв ночной горшок, она подняла окно и вылила его.

– Старый ублюдок, который... мной пользовался, отвел миня к церковным старостам, и с этими ублюдками я валандалась еще пятнадцать лет. Вот так-то. Дай-ка мне ребенка.

Ребенок сладко спал, а Констанца дремала. Я взяла на руки девочку и накрыла простыней мать. Лепесток ополоснула руки и потянулась к ребенку.

– А-а-а-а... до чего ж милая малышка. Волосы как шелк... – Она уткнулась носом в шею спящего ребенка и вдохнула. – О, этот чудный запах новой жизни. Как мне его не хватает.

– А где твои дети? – поинтересовалась я.

Лепесток не изменилась в лице.

– А, первый родился до срока и умер. Второй... – Она закусила губу и посмотрела на крохотную Бониту. – М-да... яе забрали, как только я перестала кормить грудью. А миня отправили в округ Принс-Джордж на другую ферму этого толстого ублюдка. Дочка, вишь ли, была цветная. Вот яе и взяли... наверное, куда-то продали. А миня зарядили еще на двадцать пять лет.

У меня глаза на лоб полезли. За время, проведенное с Цезарем, я многому научилась, в том числе и у Мари Катрин. Но никогда не бывала в английских колониях. И ничего не знала о тамошних обычаях. Для меня оказалось полной неожиданностью, что англичане с белой женщиной тоже могут обращаться как с рабыней. И сказала об этом Лепестку.

А та порхала по комнате, как бабочка, напевая малышке, и ее маленькие ноги резво мелькали по полу.

– Ах, это. Так ведь я родила цветного ребенка, вот срок-то и продлили. Двадцать пять лет! – Она чмокнула малышку в носик. – Мне тогда было шестнадцать.

Двадцать пять лет для женщины в этаким-то месте?

Я считала не так хорошо, как Цезарь, но все равно понимала, что двадцать пять лет – это целая жизнь, а для женщины может просто закончиться смертным часом. Если ее не унесут болезни и жестокость, то роды. Кроме Мари Катрин, а теперь и Лепестка, мне редко встречались женщины старше тридцати пяти лет.

Ее глаза встретились с моими, и она кивнула.

– Да. И как ты думаешь, собиралась я ждать, пока этот толстый придурок изобьет миня до полусмерти, закопает в землю или набьет мне в утробу столько детей, что она превратится в кашу?

Я бы точно не стала.

– Думаю, нет.

– То-то и оно. Я и драпанула. Миня ж там ничего не держало. Он мою лялечку... забрал, как только я отняла яе от груди, и отдал в какую-то семью. Продал, скорей всего. Так чего ради было оставаться? Украла немного деньжат у него из сейфа, подкупила портового грузчика, с которым... была знакома... – Глаза у нее лукаво сверкнули. – И рванула сюда. Без оглядки. – Лепесток прижала ребенка к груди и кончиком носа погладила его по крошечной головке. – Надеюсь когда-нибудь вновь обрести эту дочь. Хоть бы и во сне. – Голос ее смягчился. – Я назвала ее Розой.

Я распрощалась с мечтами о дочери, которую родила, но никогда не видела, о ребенке, которого не могла вспоминать без слез. Это было много лет назад, в другое время, в другом месте, с другим человеком, девочкой, едва уронившей первую кровь. У меня сжалось горло, и я прикусила губу.

– У тебя есть... еще дети?

Лепесток улыбнулась.

– Да. У нас с Ричардом есть сын. Большой, крепкий мальчик. Я его отправила на запад к сестре Ричарда и ее мужу, в земли племени *криков*^[45]. Ему сейчас около двенадцати. – По голосу я поняла, что она очень гордится сыном. – Будет бондарем, как дядя.

Дождаться возвращения Ричарда из доков было все равно что ждать, пока вырастет трава, хоть я и не сидела без дела ни одной минутки. Лепесток отправила меня полечить маленькие болячки и раздражения ее дам и соседей; правда, сначала накормила. Тушеная курица с рисом и бамией – очень знакомая еда, но совсем не та, которую я ожидала от англичанки, пока не зашла на кухню поблагодарить Тамару, оказавшуюся из *волофов*^[46]. В общем, ожидание вышло приятным. Я начала надеяться, что умение Ричарда торговаться позволит мне найти место в этом новом мире, где я смогу обрести себя.

Но не случилось. Ирландец провернул сделку, которая принесла ему прибыль, а меня оставила рабыней. И послал к дверям Лепестка человека шерифа с пистолетом. За мной.

– Сделал все, что мог, Мариам, – разочарованно объявил мне Ричард. Лепесток нахмурилась. – Ирландец продал ты плантатору из Вирджинии, по имени Нэш. – Бедняга даже сгорбился. – Его

заинтересовали твои лекарские навыки, вот он ты и купил. За тысячу фунтов.

Мы с Лепестком дружно ахнули. Время, проведенное с Цезарем, научило меня ценить бумажки, золото, серебро, табак, камни. Тысяча британских фунтов – большие деньги для девушки из Эдо.

Ричард медленно покачал головой.

– Жаль, что ты так молода, но опытна. Будешь лечить и его, и его слуг. И на ферме у него то пятьдесят рабов вкалывают, то сто, как спросишь. Их ты тоже будешь лечить и роды принимать. А потом... – Ричард умолк и поднял на меня глаза. – Детей для него произведешь.

Я слышала слово «заводчик» и знала, что оно означает. Англичане любили порядок. У них полно толстых книг в кожаных переплетах, куда собраны всякие рисунки и таблицы и родословные с описаниями крупного рогатого скота и лошадей. И людей. Они же меня подложат к тому, кого сочтут подходящим. Внизу живота заledenело и засосало.

– Неужели ты не мог сам меня купить? Или хоть уговорить его нанять меня?

Вид у Ричарда сделался страдальческим. А у Лепестка и того хуже.

– Я пытался. Тока он и слушать не захотел. И вообще, этот Нэш доволен своей... покупкой.

* * *

Человек шерифа взял вознаграждение, которое Лепесток согласилась выплатить ирландцу. У меня было такое чувство, словно меня ударили под дых. Пробыв у Лепестка всего лишь день, я почувствовала, что буду здесь в безопасности, смогу спокойно жить. А теперь ветер снова переменялся, унося в новое нежеланное путешествие, подобно волнам темных вод. Когда я стояла в дверях и прощалась с ними, Лепесток стиснула мне руку. На ладони возникла холодная тяжесть монет. Женщина притянула меня к себе и, обняв, прошептала на ухо едва слышно, чтобы не услышали шериф и человек Нэша:

– Это за всё, что ты сделала для Констанцы и ее ребенка. Ты молодчина, маленькая Мариам, и никогда не цени свои труды слишком

дешево, девочка моя. Хорошая-то повитуха может запросить столько, сколько весит сама.

Она отступила на шаг, осмотрела меня с ног до головы, а затем пробормотала с легкой улыбкой на губах:

– Впрочем, если хочешь назначать плату побольше, стоит потолстеть!

И мы все трое засмеялись. Человек шерифа, которого не пригласили повеселиться вместе с нами, нахмурился и заорал, гоня меня вон.

Пока фургон и плоскодонки везли меня на север через Каролину в Вирджинию, вдоль озер и рек, я размышляла о монетах. Их я хорошо припрятала, зашила в шов с изнанки своего ситцевого платья. Мне не впервые платили за работу: Цезарь давал монеты каждый раз, когда я слушала и говорила от его имени. Но те монеты ушли на дно с «Черной Мэри». А вот здесь, в этой новой жизни, в этом новом месте, которое предрекала мне Джери, денег я коснулась первый раз. И поклялась именем сестры, что он не будет последним.

Часть II

Дочь чужого бога

Ибо осквернил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери бога чужого.

Малахия 2: 11 (Библия короля Иакова)



Ферма «Белые клены», Чесапик, Вирджиния

Человек по имени Роберт Нэш считал меня своей собственностью. Дорога из Саванны до его фермы заняла шесть недель – почти столько же, сколько я путешествовала по темным водам. Может, потому что мистер Нэш часто и подолгу останавливался на фермах, в деревнях по пути, покупал и продавал. Он был знаком с каждым, кого встречал по дороге, и называл по имени. А кого не знал, старался познакомиться. Эту него называлось коммерцией. У самого Нэша было розовое лицо, рыжеватые волосы и тонкие, в ниточку, губы. Я таких еще ни разу не видала. Он часто моргал водянистыми голубыми глазами, будто их раздражали яркое солнце и воздух. Говорил этот человек на распространенной в здешних краях невнятной смеси английского непонятно с чем, вставляя отдельные ирландские слова, которые я узнавала. С круглым, сильно выпирающим животом, в который были вставлены тонкие ноги-палки, он напоминал ходячего слизняка, но думал и двигался быстро, как птица. Нэш освободил место в задней части фургона, ткнул пальцем, чтоб я садилась, и поспешил прочь, словно боялся что-нибудь подхватить. Его человек, Дарфи, который тоже говорил по-ирландски, фыркнул и протянул мне руку. Когда я взяла ее, думая, что он хочет помочь мне подняться, Дарфи так сильно сжал мои пальцы, что я чуть не закричала от боли. Он притянул меня к себе и прошипел прямо мне в ухо:

– Раз хозяин сказал, не буду ты приковывать. Но я-то вас, поганцев, получше яго знаю. – Его горячее дыхание обрушилось мне на щеку. – Наплевать, что ты ему обошла в кругленькую сумму – прямо золотая нигга, – попробуй убежать, и я тебя пристрелю.

И с этими словами он полуподнял, полузатолкнул меня в фургон.

Повозкой управлял чернокожий раб Нэша по имени Юпитер. Нэш и Дарфи ехали рядом верхами. Юпитер не глядя кивнул в мою сторону. Что он знал, о чем думал – осталось тайной. Фургон был набит припасами, мешками с зерном, ящиками с портвейном и прочим спиртным в бутылках, завернутых в солому и тряпки для защиты от ухабов и камней на дороге, а также ящиками с посудой, которую

называли фарфором, рулонами ткани и другими сокровищами, как Нэш называл свои покупки, в том числе и меня. Когда мы усаживались в фургон, Нэш сунул мне в руки большую затрепанную кожаную сумку, которой самое место было на мусорной куче.

– Это старая лекарская сумка, я ее взял у одного мастера на все руки, – пояснил он. – Можешь пользоваться.

Кожа темно-красного цвета местами перепрела от влаги, а местами – пересохла чуть не до пыли. Сумку уже было не спасти, но любопытствовать, что внутри, стоило. Снадобий там никаких не оказалось, но остались всякие бутылочки, флакончики и пара тонких, еще острых лезвий. Я вытащила из какой-то кучи кусок ткани и завернула их, стараясь не порезаться, а остальное сложила в корзинку, которую вручила мне женщина-*волоф*. Ведь мои-то припасы пропали, когда люди английского короля захватили корабли Цезаря. Теперь придется собирать всё заново.

Я была одним из приобретений Нэша, «сокровищем», таким же, как бутылки вина и тяжелые книги. Но, в отличие от портвейна, от меня ждали, как он сам это назвал, «возврата капиталовложений». К моему и его удивлению, так и вышло, не успели мы проехать и десяти миль.

С каждым поворотом колес этой проклятой повозки меня трясло и подкидывало, как тряпичную куклу, набивая на моем бедном теле столько синяков, что впору было самой лечиться. Вместо дорог здесь тянулись натоптанные скотом тропы, извилистые, неровные, испещренные ямами. Я, растерянная и злая, подпрыгивала сзади на мешках, ящиках и корзинах. Меня болтало взад и вперед, как на волнах темных вод, словно я никогда не покидала того проклятого корабля и не ступала на твердую землю. За годы, проведенные на Рифе Цезаря, я приняла ремесло повитухи и свыклась со своей ролью и жизнью свободной уважаемой женщины – не потому, что я «достопочтенная сестра» Цезаря, а сама по себе. Теперь я снова была никем, приобретением человека, который купил меня за английские фунты и табак. «Тысячфунтовая нигга мистера Нэша» – так называл меня Дарфи, словно какой-то безымянный предмет, словно ветку с дерева. Я не привыкла быть вещью и, пока сама ею себя не сочла, решила при случае сбежать куда глаза глядят. Пока мы ехали, я изучала пейзаж, деревья, кустарники и траву, присматривалась к речкам и

ручьям, раздумывая о водном пути. Пейзаж казался знакомым, однако... А люди... Ну, так я вроде в стране розоволицых.

Я попыталась наметить план. Но размышлять мне довелось недолго. Около полудня мы наткнулись на перевернувшуюся повозку с разбитым колесом. Возница лежал на обочине без сознания, из головы у него текла кровь. Рядом сидела плачущая женщина и прижимала к себе руку, похоже сломанную. Лицо ее алело от порезов. Содержимое повозки разлетелось по земле, как опавшие листья. Лошади убежали. Вот так началась моя новая жизнь в качестве чернокожей знахарки мастера Роберта Нэша, – и я трудилась, пока через несколько недель повозка не вкатилась во двор усадьбы «Белые клены».

Итак, по дороге мы останавливались в Чарльстоне, и я вылечила четыре флюса (в то числе и самому мастеру Нэшу), два поноса и пять желудков, в которые залили слишком много рома. Вправила одну сломанную руку и два плеча, вывихнутых в результате драки, успокоила женские боли у дочки трактирщика и подагрические у ее отца, едва ходившего из-за распухших ступней. Облегчила дыхание бедной девушке с чахоткой. Помогла парикмахеру-валлийцу (он сказал, что тоже лекарь) ампутировать гниющую ногу и сама едва не заболела от этого; сделала припарку женщине, которую муж ударил кулаком в глаз. В Каролине, в нескольких усадьбах, куда мы заезжали, я осматривала детей, лечила болезни желудка и врачевала прачку. Ее хозяйка, ребенку которой было всего несколько месяцев, подошла ко мне, переговорив с мастером Нэшем.

– Роберт... твой хозяин, мистер Нэш, говорит, что ты лекарка и все такое. Моя Нэнси... ей уж месяц плохо. Говорит, голова не перестает болеть. – Женщина была худой как палка, но с выпирающим вперед огромным животом, два желтых зуба, торчавших из-под верхней губы, делали ее похожей кролика. – Как я считаю, она притворяется, но муж... – и женщина глянула через плечо на высокого мужчину, который стоял возле фургона и что-то бурно обсуждал с Дарфи. Мужчина тот больше годился ей в дедушки, чем мужья. – Мой муж, мистер Робинсон, разрешает тебе осмотреть ее.

– Да, госпожа, – пробормотала я.

Миссис Робинсон провела меня по переулку с неказистыми домишками, остановилась и ткнула пальцем на небольшую хижину, которая едва не рушилась на того, кто был внутри.

– Туда, – и оглядела меня с ног до головы, словно пытаюсь запомнить. Страшолюдные серые глаза остановились на моем лице. В горле у нее что-то прошелестело. – Нэнси, как и ты, родилась в другой стране. – Ее голос сочился уксусом.

«В другой стране», вероятно, означает, что эта Нэнси тоже приплыла из-за темных вод. Я подошла к открытой двери, остановилась и постучала по раме. Внутри было темно, удалось разглядеть в углу что-то вроде кучи одеял. Нет, похоже, человек.

– Что тебе надобно? – раздался низкий хриплый голос, словно женщина только что сильно кашляла. Или плакала. *Игбо*.

– Меня зовут... – И я произнесла имя, которым называла меня мать. – Но здесь я Мариам. Твоя госпожа послала меня осмотреть тебя. – Я говорила на ее языке.

Нэнси вскочила на ноги, не успела я закрыть рот. Лицо у нее было залито слезами, а глаза покраснели. Рот раскрылся от изумления.

– Ты...

Передо мной стояла ровесница моей матери, голова ее была повязана белым платком. Женщина выглядела так, словно несколько недель плакала не переставая.

– Да, тетушка, – ответила я, нежно коснувшись ее руки. – Я дочь Эдо и повитуха. Но сейчас пришла позаботиться о твоей голове.

Нэнси закрыла глаза, и слезы по ее щекам потекли ручьями. У меня перехватило горло. Я погладила ее по плечу. Вытерев лицо тыльной стороной руки, она указала на ступеньки, вымытые до блеска. Снаружи хижина Нэнси едва не разваливалась, но внутри было опрятно.

– Здесь прохладно, садись. Пожалуйста.

Сели мы, значит, раскинув юбки по ступенькам из грубых деревянных досок. Прохладный ветерок трепетом птичьего крыла обласкал нам щеки, прошуршал листьями, встревожил стайку шумных черных птиц, которые недовольно заклекотали. Сидим мы так плечом к плечу, молчим. Да нам и говорить-то не нужно. Через некоторое время Нэнси вздохнула. Она уже поняла, что я собираюсь ей сказать. Что ирландец здесь ненадолго.

– Прости, тетушка, но задержаться мне нельзя. Я ведь еду с мастером Нэшем, и его человек скоро за мной придет. Почему у тебя так разболелась голова? – Я говорила мягко, со всем уважением.

Ее терзало горе, это было видно.

Нэнси повернулась ко мне и прижала к груди кулак.

– Ох, сестричка, – простонала она на *игбо* хриплым голосом. – То не голова у меня болит, а... вот тут... – Она стукнула себя в грудь. Хрип перешел в рыдание. – Мастер Уэсли продал моего мужа... в...

Нэнси назвала место, куда увезли ее мужчину. Но мне оно было незнакомо, я не знала английских колоний. А впрочем, хоть бы и знала, разве это помогло бы? Ее мужа забрали. И, насколько я сумела к этому времени понять англичан, уже не вернут. Нэнси изнемогала от горя. Я вспомнила маленькую женщину *фула*, которая после Джери присматривала за мной на работоторговце... Женщину, которая помогла мне вернуться к жизни. Кто присмотрит за Нэнси? Кто вернет к жизни ее?

Я мало что могла сделать. Ее рана не заживала. Она будет саднить и кровоточить до самой смерти. Нэнси это знала. И я знала.

Я промыла ей голову и глаза розовой водой, оставила пакетик ромашки, чтобы она заварила чай, который поможет ей уснуть. Помассировала плечи с ароматным маслом из лимонной травы, готовить которое меня научила Мари Катрин. В общем, постаралась за это короткое время успокоить тело бедной женщины, зная, что боль истрадавшейся души не облегчить ничем, как ничем не заполнить сосущую пустоту, разверзшуюся в ней.

– О, а мы уж подумали, ты сбегла.

Дарфи явился. И, ухмыляясь, наблюдал, как я прощалась с Нэнси, произнося те слова уважения, которые могла вспомнить на ее языке, и благословения, которые знала на своем. Мы пожали друг другу руки. И соприкоснулись лбами.

– А-а-а, так вы с ней обе из этих, из африкских ниггеров, – набычился Дарфи.

Ну что тут скажешь. Я и слова-то такого, «Африка», не слышала, пока не приехала сюда.

– И что там с ней? Госпожа Робинсон сказала, она просто лодырница.

Мне захотелось выхватить из ножен висевшую у него на боку абордажную саблю и с маху перерезать ему горло, как меня учили Цезарь и француз – на случай, если придется защищаться, говорили они.

– Мастер Робинсон продал ее мужа в место под названием Ал’бама.

Теперь настала очередь ирландца помолчать, пока мы шли к фургону. Но ему очень хотелось узнать подробности. Подсаживая меня, он поинтересовался:

– Ну, успела распроститься с этой. И чё вякала ей? На вашем африкском языке.

Я рассматривала его бледное лицо, потемневшие небесно-голубые глаза и квадратную челюсть. Для розоволицего Дарфи был даже недурен собой. Но чувствовалось в нем что-то подлое. Внутри у этого человека текли реки жесточенности и злобы.

– Просто прощалась.

* * *

К тому времени, когда мы добрались до фермы Роберта Нэша, я приняла трех младенцев, собрала четыре сломанных руки и ноги, обезболила множество месячных кровотечений, успокоила бесчисленное количество расстроенных желудков и кишечника и облегчила предсмертные страдания одной старой креолки-мулатки, перешедшей в страну духов – правда, ее родные утверждали, что она собиралась попасть к христианскому Богу на небеса. По моим подсчетам, я не только Нэшу его тысячу фунтов вернула, но и себе немного заработала. И платой от него мне стала ветхая хижина на окраине поселка его северо-восточной фермы, ближайшей к ферме брата, а также стул, кувшин, миска, горшок и веник. Я стояла в дверях и смотрела в полутемное нутро домика, где места едва хватало развернуться. У задней стены имелся небольшой очаг, но его явно давно не растапливали. Окно было одно. Побелка на стенах почти исчезла, впитавшись в шероховатые хрупкие доски. Потолок, казалось, вот-вот обрушится: там, где обвалилась крыша, сквозь щели между досками лился солнечный свет, выхватывая из темноты куски отвалившейся синей бумаги, разбросанной по полу, как листья.

В груди разлилась тяжесть, словно я простыла. Вот это превратить в дом? В нем не было ни топчана, ни матраса. На чем спать? Мысли кружились в голове, и единственный способ успокоиться, который

пришел в голову, – заняться хоть каким-то делом. Я взяла веник и принялась мести ветки, грязь, сухие листья, паутину, будто выметала мусор не только из хижины, но и из собственной головы, приводя мысли в порядок.

– Давай-ка мы поможем.

Я чуть веник не выронила. В дверях стояли три женщины. Две из них выглядели настолько знакомыми, что мне показалось, я вижу сестер, Аяну и Те'зиру. Третья была низенькая, кругленькая, с мягким носом-пуговкой и пухлыми щеками, как у женщин *менде*, с которыми мать торговалась на рынке. Троица дружелюбно улыбалась.

– Добро пожаловать, сестра, – поздоровалась та, которая выглядела как повзрослевшая Те. – Я Элинон, это Кейса и моя девочка Сара. – Она остановилась и поставила корзину, которую несла. – Мы с Сарой с фермы мастера Томаса Нэша, прямо из сада к тебе. А Кейса – отсюда, от мастера Роберта. – Она махнула куда-то налево, затем осмотрелась и поцокала языком. – Юпитер нас послал. Сказал, тебе понадобятся дополнительные руки, чтобы привести эту развалюху в жилой вид.

Остальные женщины, не дожидаясь приказаний, принялись убирать и раскладывать из многочисленных корзинок всякие мелочи, которые принесли с собой.

– Спасибо, тетушка, – отозвалась я, вспомнив о манерах. Юпитер их послал? Этот дядька за всю нашу дорогу и слова не произнес, с чего ему кого-то куда-то посылать?

– А, да не думай ты об этом, – развеяла мои сомнения Элинон. – Непонятно, о чем думал мастер Роберт... – Она смолкла, окунула обе руки в парящее ведро с водой и вытащила толстую тряпку, с которой капала пена. – Но иметь под рукой повитуху совсем даже неплохо. – И женщина кивнула в сторону Сары, чей округлившийся живот я уже заметила. «Почти шесть месяцев», – подумала я. Девушка, покраснев, кивнула мне.

– Первый?

– Да, мэм, – и Сара с гордостью улыбнулась, поглаживая живот.

Я кивнула. «Да, мэм». А я ведь ненамного старше. Но я повитуха и буду за ней присматривать. Девочка молодая, едва исполнилось шестнадцать, выглядит здоровой, по крайней мере сытой, и довольной,

значит, и ребенку хорошо. Я задумалась о том дне, когда ребенок Сары попросится на свет.

– А мистрис Томас опять тяжелая. Уже в шестой раз, – добавила Элино́р, моя на четвереньках пол. Она остановилась вытереть лоб, а затем снова набросилась на замызганные щелястые доски. – Хотя пока все одно скидывает.

– И на каком сроке? – поинтересовалась я, тоже засовывая руки в горячую воду и доставая еще одну тряпку. Надо помочь Элино́р.

– Тошнит да рвет, и только, – ответила Кейса. – Дольше трех месяцев не удерживает. Правда, два последних выкидыша случились на пятом...

Она пожала плечами. Я кивнула, составляя в голове план и обдумывая, какие травы и корешки понадобятся.

– Что, мистрис так никого до конца и не выносила?

– Одного мальчонку, – ответила Элино́р, – Томаса-младшего. И так тряслась над ним, словно он гадил золотом. – Сара хихикнула. Я не удержалась от улыбки. – Сейчас ему десять. Других детей больше нет. Похоже, она не может.

– Помолчи-ка лучше, Эл'но́р, а то беду накличешь, – упрекнула, нахмурившись, женщина по имени Кейса и сделала жест рукой, словно отгоняя злых духов.

Они мыли пол, а я выметала пыль из крохотного очага и чистила железную кастрюлю, оставленную предыдущим жильцом. Когда пол высох, женщины принесли толстый плетеный ковер, и мы вместе его развернули. Каморка, поначалу тусклая и унылая, теперь выглядела вполне уютно, хотя в ней почти ничего не было.

– Ну, на первых порах вроде терпимо. Мастер Томас пришлет своего плотника Джеймса починить крышу, чтоб в дождь не протекала.

Мы с Элино́р посмотрели на щель между балками, через которую проникал дневной свет.

– Сделай полки для своих зелий и прочего. И стол тебе понадобится получше.

Она поцокала языком и нахмурилась, показывая на печального вида приспособление, состоящее из трех грубо отесанных досок, с трудом держащихся на четырех разнородных подпорках. Причем одной служил небольшой валун. Элино́р еще раз огляделась.

– И кровать. Милосердный боже! На чем ты будешь спать?

– Мне доводилось спать и на худшем, тетушка.

Я глубоко вздохнула и улыбнулась. Затхлый запах сырости и заброшенности исчез. Теперь в комнатухе пахло свежестью и чистотой. И из своей корзины, которая, похоже, была бездонной, Сара достала два одеяла. Даже если плотник придет не сегодня и не завтра, мне, по крайней мере, не придется класть голову на пол.

– Спасибо, мисс Элино́р, мисс Кейса, Сара. Я благодарна вам, – и я приложила ладонь к сердцу. Кейса коснулась моей руки, ее прикосновение было нежным, несмотря на ободранные натертые пальцы, которые этим утром работали в поле.

– Я потом отведу тебя на ужин. Нам всем готовит Айрис, экономка мистера Роберта. И тебя зовет поесть с нами. – Кейса подмигнула другим женщинам. – Она родом из Саванны. Наверное, хочет поспросить, не встречала ли ты там кого-нибудь из ее знакомых.

Глаза у меня защипало. Как же давно... я не болтала о пустяках с другими женщинами. И сейчас с удовольствием и грустью слушала их щебет, милое сплетничанье о незнакомых мне пока людях: мастере Роберте и мистрис Роберт, а также о мистрис Томас, которую звали Пейшенс, и ее печалях, жизнерадостное хихиканье и задорный хохот, деловитые и строгие указания Элино́р, мягкую, но постоянную воркотню Кейсы и мелодичный смех Сары. Сразу вспомнилось, как я скучала по голосам сестер, даже когда они меня мучили, как не хватало мне замечаний матери, теток... Я поймала взгляд Элино́р и быстро вытерла глаза рукой. Незачем позорить ни себя, ни ее.

– Ничего-ничего. Теперь мы с тобой, – сказала она, обнимая меня.

Чуть нахмурясь, Элино́р оглядела преобразившуюся комнатку и еще раз взглянула на крышу.

– Но я очень надеюсь, что Джеймс не задержится и придет еще до дождя.

Не знаю, сколько времени после их ухода понадобилось мне, чтобы разложить все из корзины и кожаной сумки. Как ни смешно, но мастер Роберт оказался прав, ее содержимое здорово пригодились. А в здешних темных сосновых лесах, вдоль болот и прудов росло много чего интересного и нужного для моего ремесла. Как и рассказывала Мари Катрин, у всех трав и корешков, знакомых мне по Рифу Цезаря и моим родным местам, здесь имелась родня.

«Вот, смотри, эти листочки – то же самое растение, только одето немного по-другому. Но от болей в кишечнике оно помогает что здесь, на Рифе, что в Каролине и Вирджинии. Боль, она ведь одна и та же, в какой бы местности и у кого бы ни возникла», – ее голос звучал в моей голове, подсказывая и направляя.

Вот так я и нашла сассафрас, шалфей и лимонную траву. Кора ивы успокаивает головную боль и снимает жар, мята помогает при болях в животе. Обнаружились и травы, облегчающие родовые муки и боли от ежемесячных кровотечений у женщины. В старой лекарской сумке лежало много пустых флаконов и банок, которые я вычистила, тщательно вымыла, а потом еще и кипятком обдала, чтобы удалить любую заразу. И сложила в верхнюю часть грубого деревянного стола. На некоторых пузырьках были письменные пометки. Но я их не понимала. Поэтому соскребла и нанесла собственные, чтобы отличать одно снадобье от другого. После чего обвела комнату напряженным взглядом, словно пытаюсь из воздуха сотворить столь нужные полки. Но увы! У меня не было таланта к рукоделию, я могла зашить порез на ноге, но не прореху на платье. Могла обдирать кору, резать траву, ветки и кусты и все это варить, делая мази, настои и отвары, или нарезать ткань на бинты, но не умела готовить. И полку соорудить не сумела бы.

– Добрый день, тетушка. – Мужской голос был низким и каким-то бархатистым, интонация – уважительной.

Я обернулась. В дверном проеме высветился окруженный ореолом силуэт с молотком в одной руке и большим деревянным ящиком для инструментов в другой. Медленно он шагнул во мрак хижины и стал человеком. Который, похоже, увидев меня, удивился не меньше. Парень был высоким, худощавым, и от его лица дыхание у меня в груди замерло.

– Я... я, конечно, достаточно взрослая, чтобы быть тетушкой, – пробормотала я, думая о ребенке старшего брата, родившемся незадолго до того, как нас с Джери похитили. – Но все же еще не так стара, чтобы считаться тетушкой вам.

Он рассмеялся. Это был самый красивый звук, который я когда-либо слышала, от самого красивого мужчины, какой когда-либо попадался мне на глаза.

– Да уж, вы правы! Мои извинения, мэм, – сказал он, кивая. – Когда мастер Роберт сказал, что приехала повивальная бабка, я... ну, я решил... пожилая женщина. А вот и нет... – Он закусил губу, а затем снова улыбнулся. – Я Джеймс, плотник-каменщик-кузнец и вообще делаю все и у мастера Томаса, и здесь, в «Белых кленах» у мастера Роберта. Он-то и прислал меня починить эту хижину, которая раньше принадлежала Мейзи. Ну, которая это, была нянюшкой в семье Нэш, пока... В общем, скончалась Мейзи. Аккурат в день рождения мастера Томаса-старшего.

Он указал на стропила, на выходящее на восток единственное окно с выбитым стеклом.

– А здесь давненько никого не было.

Этот парень, Джеймс... Его голос... Его слова обвивали меня, как руки. Улыбка не сходила с лица. И глаза не отрывались от моих. У меня перехватило горло. Я открыла рот, но слова не шли. Сердце колотилось в груди как бешеное.

Наконец мне удалось выдавить:

– Я знахарка. Меня зовут Мариам.

2

Пограничье

Трудно говорить о нем, произносить его имя, рассказывать историю его дел, нашей жизни. Я держу память о нем при себе, хотя дети говорят, что мне не следует этого делать. Время. Оказывается, мы были вместе двенадцать лет. Целых двенадцать. Всего двенадцать. Без него я живу уже больше семидесяти, но до сих пор ощущаю тепло его руки на своем плече, ясно вижу лицо, хоть на обоих глазах у меня бельма. Слышу его... Джеймса... голос, он говорит со мной шелестом листьев, тихой песней речной воды, журчащей по камням у пристани, щебетом первой птицы, поющей перед восходом. Я всегда буду слышать его голос. Прошло четыре жизни. Думаю... я прожила с ним достаточно долго, чтобы скучать по нему столько, сколько мне осталось.

«С мужчиной, которого ты полюбишь, будет по-другому, малышка Мэри».

Так говорила Мари Катрин... и откуда только узнала? Но всё и было по-другому, с того момента, как я впервые его увидела. И так с тех пор больше не было ни с кем, ни с одним мужчиной.

При звуке его голоса у меня перехватывало горло, а сердце начинало биться так, что становилось больно. От его отдаленного смеха желудок сжимался и не успокаивался, пока Джеймс не появлялся передо мной. На работу в поле я уходила рано, еще солнце не взошло, и перед тем, как отправляться, или возвращаясь поздно ночью, мне до смерти хотелось услышать постукивания его молотка или удары топора по дереву, эхом раскатывающиеся в окружающей полной тишине. Особенно когда похолодало, когда из воздуха ушла влага, заглушавшая звуки, и ритмы, резкие и ясные, стали слышнее. Словно Джеймс стоял рядом. Конечно, это мог быть кто угодно из здешних работников. Юпитер, например. Там ведь рубили деревья и люди мастера Маккея. Но мне нравилось думать, что это Джеймс, просто чтобы я могла мечтать о нем, представлять его лицо, чувствовать, как он нежно прикасается к моему плечу, к груди, обнимает за талию.

Мастер Томас разрешил Джеймсу приходить и уходить, когда тому нужно. Ведь он работал и на фермах Нэша, и дальше в округе, и даже за ее пределами. Когда требовалось что-то починить, прибить, склепать, звали Джеймса. И Томас Нэш нанял его так же, как Роберт – меня. А работая на ферме мастера Роберта, он часто заходил в хижину к Элинор или к Айрис, где можно было поболтать и посмеяться, или ему давали поручение и позволяли после этого немного задержаться.

– Мисс Мариам, если позволите, я бы хотел заглянуть в гости, – сказал Джеймс однажды вечером, усаживаясь на темно-гнедую лошадь, чтобы ехать обратно. – Если вы... расположены.

Я не была уверена, что правильно поняла это слово, но по тому, как Джеймс улыбнулся, догадалась, что ничего плохого в нем нет.

Пока клубок моих дней на ферме «Белые клены» постепенно наматывался, Джеймс всегда был рядом. Но мы держались на некотором расстоянии друг от друга. Он называл меня «мисс Мариам», а я его – «мистер Джеймс». В прежние-то времена все разговоры вели бы только наши родные. Не мы. Мой отец встречался бы с отцом Джеймса, и долгие дни и недели шли бы бесконечные беседы да споры. Я бы всякий раз при встрече с Джеймсом опускала глаза, словно перед незнакомцем. Он в ответ тоже только молча кивал бы, проявляя уважение к моей семье, повинаясь словам моего отца. Мы бы существовали как бы порознь и одновременно вместе.

Где он научился этому, всем этим манерам, так похожим на те, которые знала я? Впрочем, что толку об этом задумываться. Джеймсу было около тридцати, жена его умерла родами и унесла с собой ребенка. Я же повзрослела и давно оставила позади свои первые крови. Мужа у меня не было, но что женщина и мужчина делают вместе, я знала. Единственного моего ребенка, мою дочку, похоронили на утесе Рифа Цезаря, головой на восход и к восточным землям, где родилась ее мать, приплывшая из-за темных вод. Мы с Джеймсом многое прошли в одиночестве. И теперь предками для нас стали наши родители, сестры и братья. Мы не дети. И сошлись, чтобы заключить собственное соглашение. По крайней мере, мы так думали.

Потому что имелся еще Дарфи. Он всегда крутился рядом с мастером Робертом. А Джеймс, которому разрешали приходить и уходить, жил на ферме Томаса Нэша, и его часто отдавали в наем. И Дарфи это знал. А Джеймс знал, что Дарфи знает. Они обходили

друг друга десятой дорогой, а завидев, почти не разговаривали. Не связывались.

Но это все равно как две змеи свернулись в клубок на одной скале, им не выжить рядом: опасно. Дарфи много значил для мастера Роберта. Джеймс много значил для мастера Томаса. А пограничьем оказалась я.

В британской колонии я была собственностью, рабыней, и за тем, куда и когда я иду и возвращаюсь, следило много глаз. Впервые я оказалась на ферме, которую здесь называли плантацией, и каждый мой шаг направляли хозяин и надзиратель. Меня уже покупали и продавали с тех пор, как мы целую вечность шагали по землям, а потом пересекали темные воды на «Мартине», который сперва бросил якорь в заливе на Ямайке, а после отплыл на север, в сторону Саванны. Некоторые из нас сменили хозяев, но из трюма так и не вышли. Тогда благодаря Цезарю до Саванны меня так и не довезли. Но это осталось в прошлом. Нынче же Дарфи пристально следил, чтобы я никогда не забывала, что принадлежу Роберту Нэшу и живу на ферме. И что все зависит от него, Дарфи.

– Да будь ты хоть какая фу-ты ну-ты повитуха или лекарка, позарез нужна хозяину, – кричал он мне, – но для меня ты такая же полевая черномазая, как и все остальные. И будешь пахать в поле, коль прикажу.

И он приказывал, а я подчинялась. И работала до восхода до заката, а часто и до нового восхода, если меня звали к недужным. День проводила в поле, потом шла лечить чью-нибудь хворь, возвращалась в поле, ужинала, ковыляла принимать роды, а потом снова в поле. В маленькой прочной кровати, которую смастерил для меня Джеймс, спать доводилось нечасто: немало ночей я провела в кресле или на тюфяке, кинутым на пол рядом с рожаящей женщиной или больным. Но для Дарфи это не имело никакого значения. На рассвете я практически приползала в свою хижину и почти сразу же отправлялась в поле. Как-то раз почти целый день провела, ухаживая за старым умирающим валлийцем, одним из арендаторов мастера Томаса. И в «Белые клены» вернулась, почитай, полумертвая.

Дарфи сразу отправил меня на табачные поля, тянувшиеся вдоль ручья, помогать со сбором урожая. В сезон мы только и делали, что днем и ночью собирали табак.

– Нет, ну неправ он, – проворчала Белянка Энни, протягивая мне чашку с водой и тряпку, чтобы обтереть лицо. Мы работали с рассвета. И я почти не чувствовала ни рук, ни ног, ни тела. – Тебе ж еще со стариком Лливелином всю ночь нянькаться.

Я выпила столько прохладной воды, сколько смогла проглотить, ее ласковая струя стекала по моему горлу и подбородку. Это было приятно. Вытерла лоб и вернула тряпку Энни.

– Ничего.

Она нахмурилась и снова сосредоточилась на работе. Щеки у нее покраснели от солнца, на носу, словно звезды на небе, высыпали коричневые пятнышки – их называли веснушками. Энни дали прозвище Белянка, потому что на ферме имелась еще одна Энни, но эта была самой светлокожей, почти такой же белой, как мастер Роберт, мастер Томас и хозяйка. Белянка Энни с ее золотисто-зелеными глазами и песочного цвета вьющимися волосами, убранными под туго завязанный платок, была очень симпатичной и кого-то мне напоминала. Джеймс объяснил кого. Оказывается, она – дочь старого мастера Нэша и сестра человека, который теперь ею распоряжался.

– Да какой с того толк. Бумагу мне ни в жисть никто не даст, – хмыкнула Энни, без устали борясь с жесткими листьями. – Роберт Нэш, Томас Нэш, старый мастер Томас – все гоняют меня в хвост и в гриву, как и тебя. И Роберт Нэш не раздумывая и меня продаст, и тебя, ежели захочет. Хоть я ему единственная сестра.

Стоял конец июля, и мы собирали тот жалкий табак, который смогли уродить бедные акры леса, принадлежащие мастеру Роберту. Листья нам достались мелкие и обесцвеченные: весна была дождливой, поля затопило, и почти все, что росло, сгнило. Дождевая вода стояла на скудной уставшей почве, ей просто некуда было деваться. Мои ноги, утопая по лодыжки, месили грязь, плотную и тяжелую.

– Дак ты пожалься, – не унималась Энни. – Мастеру Роберту. Он тебя слушает. Ты ж и госпоже легче делаешь, и других лечишь. Деньги ему приносишь, которых на этих полях не заработать. Пожалься, Мариам. Пока сама не захворала.

Я похлопала ее по плечу и пошла к следующей грядке.

– Сама же говоришь, Энни, какой с того толк: ни денег, ни бумаг мне не видать.

Я не хотела обращаться ни к мастеру Роберту, ни к госпоже, ни к кому-либо еще. Я так устала и так долго не высыпалась, что лучше всех понимала: вот-вот упаду и могу больше не встать. Но лучше уж так, чем пожаловаться и получить последствия, с которыми непонятно, как справляться.

Дарфи заявился ко мне однажды поздно вечером, вскоре после того, как я добралась до дома. Следовал за мной, как тень, от хижины Айрис, где я ухаживала за ее мальчиком. Вошел в хижину, которую по-прежнему называли «хижина Мейси», как к себе домой и встал у притолоки, наблюдая, как я разбираю свою корзину.

– Ну до чего же занятая черномазая, – процедил он, прислонившись к дверному косяку и жуя соломинку.

– Чего тебе надо, Дарфи? – спросила я, не глядя в его темно-голубые глаза – прямо как у злой собаки. Других белых я всегда называла «мастер». Но только не его.

– Мастер Дарфи, – рявкнул он своим пронзительно-злым голосом.

– Чего ты хочешь?

Много чести называть его мастером. Я весь день провела в поле, потом ухаживала за мальчиком Айрис и другими детьми, которые почти всю ночь жаловались на боль в груди. А еще нужно сделать пластыри, натолочь горчичного зерна для припарок от этой напасти и настоять шалфея к следующему утру. Я уже едва держалась на ногах, а душа едва с телом не расставалась. Спать некогда, слишком много дел. И ни малейшего желания растабарывать с Дарфи, будь он хоть сто лет надзиратель.

Он дернул меня за руку, чуть не заломив ее. Я закусила губу, чтобы не заплакать. Только бы не выдать этому человеку своих мыслей.

– Я тебя выпорю, наглая девка, ты со мной непочтительна!

– Выпорешь? Только попробуй! Мастер Роберт не велел!

Дарфи еще крепче стиснул мне руку. Он знал, что я говорю правду, и эта мысль его грызла. Мастер Роберт и мастер Томас, оба дружно распорядились не наказывать меня, не бить кнутом и тому подобное, поскольку я для них слишком ценна своим умением лечить, принимать роды и прочее. Если кто и мог дать мне нагоняй, так только они сами или мистрис Роберт, и никто другой. Некоторые из здешних обитателей тоже злились на меня, бормотали злобно, завидев, словно я

их чем-то обидела. Но Дарфи меня просто ненавидел. И рассчитывал, что я побоюсь перечесть ему.

Но той ночью я слишком устала. Вырвала у него руку и цапнула утюг. Холодный. Но все одно железный и тяжелый. И помахала им.

– Чего тебе надо, Дарфи?

Он пристально посмотрел на меня, но отступил, подняв руки и впившись в мои глаза своими, грозно-синими.

– А ты заключи со мной сделку, африкская девчонка. Навроде соглашения.

Я покрепче ухватила утюг.

– Ты ж себя до могилы доведешь, и в полях работая, и с чужими хворями день и ночь копаясь, и за роженицами ухаживая, и все эти свои целебные зелья да отварами с мазями готовя.

Я промолчала, но подумала: «Что ты можешь мне сказать, ирландец, чего я не знаю сама?»

– А ведь я могу сделать твою жизнь куда как легче. – Он понизил голос и зашипел, словно кот: – Ты будь со мной... поласковой, глядишь, и выйдет тебе поблажечка: то в поле разрешу не ходить на рассвете, то еще как позволю отдохнуть от трудов. Кто со мной мил, – он ухмыльнулся, – тому завсегда послабление.

И не успела я и пальцем шевельнуть, как он схватил меня за руку, в которой был утюг. А другой погладил по щеке. Ощущение было, будто по лицу проползла мохнатая гусеница.

– Уж я об тебе знатно позабочусь.

– Нет.

– А у тебе и выбора-то нет. Роберт Нэш собирается подложить тебе к Хьюзу...

Хьюз? Смутные воспоминания о долговязом мужчине, его забавного цвета глазах, его зубной боли. Я запоминала людей по их болезням.

– Зачем?

Дарфи ослабился.

– Пустить на расплод. Как корову.

Сказать было нечего.

– Вот так, значить. Ты пилишься либо с Хьюзом, либо со мной.

У меня одновременно напряглись живот и рука с утюгом. Потом эта рука высвободилась из волчьей хватки ирландца и хрястнула

утюгом ему по щеке. Он, шатаясь, с воем потащился вон, а мои губы растянулись в улыбке. Я знала, что потом меня за это выпорют. Но сейчас слишком устала, слишком была зла, чтобы переживать.

Дарфи развернулся и с маха ударил меня по лицу. Я пошатнулась. Но ему было больно, его мотнуло, щека у него кровоточила, глаза наполнились слезами, красная полоса на лице стала шире.

– Сука! Я тебя буду бить, пока... – прошипел он, пошатнувшись, затем расправил плечи, по-бычьему опустил голову и прыгнул вперед. В такой маленькой хижине отскакивать было просто некуда, и я умудрилась просто отклониться, но все же оказалась на расстоянии вытянутой руки.

– Тебе придется сначала меня убить! – крикнула я, пытаюсь шевелить онемевшим носом и осторожно ощупывая щеку. Ждала, все крепче сжимая ручку утюга и учащенно дыша. Ждала, когда он снова бросится на меня. Ждала, когда поднимет руку, чтобы либо проломить ему этой железякой голову, либо умереть в бесплодной попытке. Ждала, что он меня схватит, ждала...

Но Дарфи вдруг замер и уставился на меня. Лицо у него уже не было таким розовым, как у многих здесь, а поблекло, посерело. И он медленно попятился, не спуская с меня глаз, словно с опаской прикидывая, что я сделаю. А после прорычал грубым и низким голосом:

– Кайлех^[47], кайлех... – Дарфи осенил себя Иисусовым крестом и, спотыкаясь, вышел в открытую дверь, продолжая глядеть на меня через плечо глазами, пылавшими яростью и страхом.

Я стояла неподвижно, открыв рот, утюг в руке так отяжелел, что вот-вот выпадет. Мне казалось, ирландец просто собирается с силами, копит ярость, чтобы вернуться и избить меня или того хуже. Но он, ругаясь, побрел сквозь ночь. Медленно я поставила утюг обратно в очаг, схватила шаткий стул и придвинула к двери. Потом ноги у меня подкосились, я рухнула на пол, силы вытекали из тела, как вода из насоса.

Проснулась я еще до рассвета, села на кровати, сердце билось так, словно собиралось выпрыгнуть из груди, словно Дарфи все еще был здесь. Его-то не было. Но остался образ: широко распахнутые глаза, безвольно разинутый рот, помертвевшее лицо, посеревшая кожа. Я прокляла его, пригрозила держаться подальше. Дарфи назвал меня

«кайлах», что бы это ни значило, сделал оберегающий жест, защищая себя от моей злой воли, и ушел. С чего вдруг... и тут я поняла.

Едва проснувшись или начиная дремать, прежде чем моими мыслями завладеют духи сна, я думаю на языке родителей, на языке, которым в последний раз говорила с Джери. И когда я тревожусь или злюсь, именно эти слова приходят ко мне раньше всех остальных, раньше английского или аканского, раньше фонского, раньше португальского. В ту ночь я прокляла ирландца именно этими словами, словами своего родного языка, первыми словами своей жизни. Это был первый раз за долгое время, когда я произнесла их вслух. Но не в последний.

Изредка в субботу вечером нам удавалось урвать немного времени и простирнуть одежду в мутной воде.

Мэри Рейнольдс

Дарфи больше не лезет, иногда мелькая по краям моего мира. Но стул к двери я все еще придвигаю. Он обращается со мной так же, как и с остальными, гавкает, чтобы я шла быстрее, собирала больше, гоняя меня то туда, то сюда. «Кончай тут комедию разыгрывать, я из тебя дурь-то выбью вместе с духом!» Проверяет, когда я возвращаюсь в «Белые клены» с фермы; частенько путается под ногами, а мастеру Роберту твердит, что якобы помогает, сопровождает, оберегает. Нагружает меня, как только может, но не привлекая внимания мастера Роберта и не мешая мне готовить зелья и притирания для мистрис Роберт.

В основном я стараюсь не замечать и не слышать ирландца. Моя ноша и так тяжела. Я поздно прихожу с поля или после очередного большого или очередных родов, в грязи, крови и травяных ошметках. Нужно помыться. Постирать. Поспать. Вечерами я по большей части просто сижу в кресле-качалке, которое Джеймс починил для меня. Сижу, раскачиваюсь и думаю, пока не засыпаю. Думаю в основном о Джеймсе.

О чем бы я ни думала, он всегда рядом. И мысль о нем меня успокаивает. Но в последний месяц, когда я засиживалась допоздна, в голове крутились другие думы, заботы и... Я не провидица, не то что моя мать или Мари Катрин. Но чувствую... Чувствую, когда что-то не так, чувствую, когда есть что-то, что мне следует знать, что я видела, но не поняла. Не разобралась. Но оно беспокоит меня, как тень за плечом, и это нехорошо.

Видели, да просмотрели, упомянули, да забыли. Хьюз. Я напрочь позабыла о Хьюзе.

– А я секрет знаю! – Госпожа Роберт говорит, словно поет, и улыбается, чего ей делать не следует. Передний зуб у нее вывалился, а

остальные почти совсем сгнили и почернели. Она любит сладкое, только оно ей не на пользу. – У нас будет свадьба!

– Выпейте это, мистрис, – говорю я, протягивая хозяйке чашку мятного отвара. У Марты Маккей Нэш ужасный желудок, он то и дело доставляет ей разные неприятности. Мастер Роберт позвал доктора из Бедфорда, тот приехал и дал хозяйке из бутылочки глоток чего-то густого и зловонного, но снадобье ничуть не помогло, только вызвало несварение и газы. Все-таки мята на нее действует лучше всего.

Она пьет, не переставая болтать. Ее напевная манера говорить действует мне на нервы, и у меня еще полно дел. Совсем скоро родится куча малышей: в поместье у мастера Томаса, у Махалы, у Оуэна Маккея, плюс в любое время может родить госпожа Томас. За ней я слежу очень внимательно, потому что она уже десять лет не может выносить ребенка.

– Я просто обожаю свадьбы, особенно те, что бывают у вас, у негров. Когда прыгают через метлу, пляшут и поют! – Мистрис Нэш хлопнула в ладоши, громко рыгнула, покраснела, прикрыла рот ладошкой, хихикнула и принялась болтать дальше.

Я же мысленно так глубоко погрузилась в приготовления к следующей неделе, что не уловила смысла этой болтовни. Ее слова обтекали меня, словно поток, пока...

– Мистер Томас обещает позвать чернокожего скрипача с Флетчерс-Уок. Это будет такое развлечение! Ты и Хьюз! – Вздох. – У вас будут такие прелестные дети.

Хьюз?

Я чуть не пролила отвар ей на колени. А ведь в ту ужасную ночь Дарфи говорил об этом... я тогда была потрясена, но в минувшие недели меня гоняли в хвост и в гриву, и упоминание о Хьюзе вылетело из головы вместе с остальными мерзкими словами ирландца. Я погрузилась в работу: урожай, болезни людей, рождение детей. Но сейчас, услышав хозяйку, замерла.

Что значит – когда у тебя есть владелец, словно у коровы, когда тобой кто-то распоряжается, как мой отец своими козами? Что значит – когда надо мной есть человек, решающий отдать меня мужчине по собственному выбору, а не по моему? Да, дома за меня решал отец. Но то были обычаи моего народа, моей семьи. Сватали бы меня или же я выбирала бы мужа сама, мать своим даром непременно сперва

проверила бы ткань его семейных отношений. И ежели б ее наставники из мира духов нашептали, что в семье моего избранника есть темные реки, которые нельзя пересекать, не было бы никакого соединения. Отец уважал дар матери и прислушивался к ней. Вот что такое семья, родственники. Даже Цезарь дал бы мне право самой выбрать себе мужа.

Роберт Нэш мне не родственник. Он заплатил за меня деньгами и табаком и кладет себе в карман монеты, которые я зарабатываю, когда меня нанимают. И распоряжается моей жизнью по своей книге в кожаном переплете, где ведет счет всем землям, водам, полям, коровам, лошадям, свиньям и людям, которыми владеет.

Мастер Роберт решил «скрестить» меня со своим слугой Хьюзом точно так же, как только что скрестил новокупленную гнедую кобылу со своим злобным жеребцом – Юпитер прозвал его Дьяволом, – который чуть не затоптал насмерть человека. А свою замечательную идею мастер Роберт просто отметил в книге и поделился с Дарфи и всеми остальными белыми. Но даже не подумал сообщить мне. Или Хьюзу. Или Белянке Энни, жене Хьюза, воспитывающей двоих детей.

Ведь все решает он, мастер Роберт.

Госпожа Роберт снова рыгнула.

И хихикнула.

– Тебе ведь нравится Хьюз, правда, Мариам?

Я так поражена, что рта не в силах открыть.

– Ты-то ему нравишься, я знаю, видела, как он на тебя смотрел.

На ферме мастера Роберта работают тридцать, сорок и больше мужчин, причем большинство трудится на заднем участке и к северо-западу от ручья. Они почти никогда не приближаются к главному дому. Мистрис Роберт не способна отличить Хьюза от любого другого чернокожего мужчины, работающего на этой ферме. Так с чего она взяла, будто видела, как он на меня смотрел?

– Да, госпожа.

Я быстро сгребая пакеты и флаконы в корзину и выхожу из комнаты, прежде чем закружится голова, и слышу, как Айрис говорит мне вслед спасибо, что заглянула к тете Белле. Я машу рукой и вылетаю из дома, иду так быстро, что путаюсь в юбках, машу этому, тому; Дарфи вдалеке опять что-то гавкает мне, от него я тоже отмахиваюсь. И да, я знаю, он может меня за это побить, и да, я знаю,

он считает меня ведьмой. Но сейчас мне хочется укрыться в каком-нибудь тихом местечке, подальше от дороги, где меня никто не увидит, посидеть и послушать собственные мысли. Подумать, что можно сделать.

На краю «Белых кленов» есть бухточка, куда попадают воды из океана, смешиваясь со струями Быстрого ручья, текущего с юга. Это приграничье, а не земля Нэша. Не знаю, кому она принадлежит. Прямо напротив бухточки – островок, состоящий из песка и травы, вроде Рифа Цезаря, на нем зеленеет роща. Когда могу, я сижу здесь на берегу, смотрю вдаль, размышляю, как далеко отсюда мои родные края. Иногда вижу рыбаков. Но чаще остаюсь наедине с водой, ветерком и своими мыслями.

«Тебе ведь нравится Хьюз, правда, Мариам?»

Да, Хьюз мне очень нравится. Тихий, довольно замкнутый, много работает, не пьет. У него семья: он сам, Беянка Энни и двое их малышей.

«У вас будут такие прелестные дети».

– У тебя что, нет пропуска?

Разумеется, есть.

– Нет, мастер Джеймс, нету.

Его смех окатил меня мягкой волной, а рука согрела спину. Я вздохнула. Мы не виделись уже несколько недель. Его наняли на ферму в одном дне езды на юг.

– Хорошо, что Дарфи не знает, что ты сюда пришел.

– Никто не знает, что я прихожу сюда. Кроме тебя...

Его губы коснулись моей макушки, и я почувствовала их даже через повязку на голове. Он взял мою руку, перевернул ее и поцеловал ладонь.

– Что тебя так взволновало, Мариам? Откуда печаль? Уходишь молчком, прячешься... тут.

Из меня потоком хлынули слова: что сказала госпожа Роберт, чем до нее угрожал Дарфи. Я поведала Джеймсу, какие, по моему мнению, записи Роберт Нэш вел в своей книге в толстом кожаном переплете. Челюсть у него напряглась, губы стянулись в ниточку. Я все говорила и говорила, пока не начала повторяться и не расплакалась, размышляя обо всем этом. Поперхнулась и смолкла. Утерла глаза, высморкалась. И ждала, пока Джеймс заговорит. Прислушивалась к птицам, к плеску

рыбы, пытавшейся изловить водяного жука, к шороху волн, набегающих на берег, к шелесту листьев, который производила скакавшая туда-сюда крохотная птичка размером с большой палец. Ждала. Джеймс молчал.

Он умеет слушать так, как даже мне не всегда удается. Никогда не перебивает, не лезет со своими высказываниями. Ждет, пока я сделаю вдох, другой, третий. Смотрит мне в лицо, пока я говорю, ловит мой взгляд, иногда даже берет за руку. Но сам молчит, пока я не выскажусь. Он слушает так, будто важнее моих слов для него в жизни ничего нет.

– Хьюз. Он ведь с Белянкой Энни... – Джеймс наморщил лоб и заговорил так медленно, будто обдумывал каждое слово. – Мастер Томас пытался свести меня с ней. Давным-давно, сразу после смерти Аррабет, но...

Он смолк. Понятно: ему тяжело, да и всегда будет тяжело думать о жене, произносить ее имя.

– Но я знал, что Энни меня не хочет. Сказал об этом мастеру, и он не стал настаивать: «Хорошо, Джеймс, значит, подберем тебе другую какую-нибудь». – И Джеймс глубоко вздохнул. – А потом я узнал, что они с Хьюзом перепрыгнули через метлу в присутствии преподобного Иеремии, а потом родилась Кэти, а позже и маленький Бари. – Морщины на его лбу стали глубже. – Мастер Томас ведь знает, что Хьюз с Белянкой Энни. Чего же он...

– Он поступает так, потому что может. Знает, что у Хьюза с Энни за пять лет родилось двое детей, а больше-то нет. Во всяком случае... пока. Должно быть, Томас Нэш решил, что Белянка Энни больше не хочет рожать, и решил попытать удачи с другой. Потому что до Кэти у Белянки Энни вообще не было детей, а Кэти и пяти не исполнилось, как появился Бари. Сейчас мальчику около двух, он все еще сосет грудь, а Белянка Энни, скорее всего, просто не хочет беременеть так скоро.

При моих словах челюсти Джеймса сжались сильнее.

И тут мне в голову пришла мысль.

– Он... Томас Нэш пытался познакомить тебя с другой женщиной, кроме Энни?

Джеймс улыбнулся.

– Да. С Марией, пока Раутт не продал ее, когда обанкротился. Еще с Артемидой, но она...

Теперь была моя очередь улыбаться. Артемида живет в пяти милях вверх по ручью на ферме Донована Килпатрика. Самая красивая женщина из всех, кого я видела где бы то ни было: за темными водами, на Карибах или здесь. Она дочь индейца крик и женщины *игбо*, высокая, с лицом, похожим на резную маску из слоновой кости, с величественной походкой, но злая, как ядовитый паук. Этой Артемиде нравятся все мужчины, любого цвета и наружности, и она нравится им. И еще она, как говорят, хорошая производительница: чуть не каждый год рожает по ребенку от разных отцов. Но мало кто знает, что дети у нее появляются только те, которых она хочет, и только тогда, когда она хочет. Это женские секреты. Проблема в том, что темперамент у Артемиды огненный, и она умучивает до полусмерти каждого мужчину, с которым ложится, как некоторые паучихи. Хотя их это, похоже, не пугает.

– Злая, как черная мамба, – заметила я.

Джеймс кивнул.

– Точно. Двое ее последних детей больше похожи на мастера Донована, чем на любого другого мужчину с его плантации. А она хорошая прядильщица и швея, так что он с ней не расстанется. Идея улетучилась, как струйка дыма.

– Раз мастер Роберт намерен свести меня с Хьюзом, Томас Нэш, видать, думает свести тебя с кем-нибудь еще.

По выражению лица Джеймса было видно, что он согласен.

– Только я не хочу быть с Хьюзом.

Джеймс сильно сжимает мою руку.

– Я не хочу быть ни с кем... кроме тебя, Мариам. И уж особенно с Артемидой!

Больше мы об этом не говорили. Я делала все, что могла. Джеймс, к которому мастер Томас иногда прислушивался, делал все, что мог. Но там, похоже, воздвигали целую баррикаду из земли, дерева и камня, лишь бы держать нас с Джеймсом подальше друг от друга. Мастер Роберт, мастер Томас, Дарфи – все что было сил спешили выстроить эту баррикаду, норовя упорядочить нашу жизнь по своему плану. А потом случился Иеремия.

Распахните себе новые нивы и не сейте между тернами.

Иеремия 4: 3 (Библия короля Иакова)

Как же непросто повитухе встречаться с возлюбленным! Бежать к роженицам по первому зову в любое время и в любую погоду, несколько часов стоять на ногах, то поторапливая ребенка появиться на свет, то, наоборот, придерживая; убирать, мыть, подтирать; рубить и резать травы и корешки и варить зелья. Не говоря уж о том, сколько времени приходится проводить вдали друг от друга, ведь роды могут закончиться в считанные часы, а могут продлиться несколько дней. Можно даже и пожениться, а толку: все равно встречаться предстоит на бегу – один домой, а другой за дверь. Нет времени побыть друг с другом. Это утомляет. Повитуха никогда не оставит мать во время родов. Никогда. То есть находишься рядом час, день или неделю, никуда не отлучаясь, пока не появится на свет ребенок, живой или мертвый, и не выйдет послед. Потом проверяешь, что все сделано правильно. Здесь некоторые женщины хоронят послед. Женщины из народа моей матери сжигали его и возносили молитвы богу, имени которого я так и не узнала. Это женское дело, а я в то время еще не была женщиной. Я не ухожу, пока все не будет сделано, как меня учили. Это означает, что как бы мы с Джеймсом ни хотели забраться под одно одеяло и не вылезать из маленькой кроватки, которую он сделал для меня, не было у нас такой возможности.

– Мариам, в воскресенье перед ужином на берегу Быстрого ручья будут крестить старшего сына Филдинга, а потом праздновать. Я был бы рад, если бы ты поехала со мной, – Джеймс улыбнулся. – Я могу за тобой зайти, если ты не против.

На берегу ручья действительно готовилось богослужение, и всех, работавших на этих плантациях, отпустили, и большинство ушли, когда им разрешили их белые хозяева – братья Нэши, Клайд Маккей, Уормли, Бэгготты, Раутты, Килпатрики. По воскресеньям, если не требовалось убирать урожай, многие не работали. Домашних слуг это

не касалось – те всегда были при деле. День считался особенным, и люди пользовались свободным временем, чтобы отдохнуть, навестить родных, которые живут вдали, потискать младенцев и посоветоваться со старцами.

Обычно мы собирались на участке Рауттов, на поляне на западном берегу Быстрого ручья возле древнего дуба, расколотого молнией во времена, когда на эти земли еще не ступала нога человека, все боги были детьми, а мир вступал в пору юности. Люди слушали проповедника, восхваляющего небо, спасение и искупление грехов, пели песни и совершали ритуалы в водах ручья, очищаясь от плохого, приветствуя хорошее, в знак уважения омывая ноги друг другу. Я соглашалась приходить, если не принимала роды или не отдыхала после них. Песни успокаивали, ритмы были знакомыми. У меня ведь здесь нет родных, а поесть в компании всегда приятно. Тем более я никогда и не любила есть в одиночестве. И каждый раз, выходя из хижины, брала с собой свою корзину, потому что наверняка придется помочь кому-нибудь с очередной хворью или осмотреть чей-нибудь округлившийся животик.

Хотя я принимала все, что имело отношение к Джеймсу, но к этим собраниям отношение у меня было двойное.

Из-за Иеремии.

Нынче я сидела на одеяле в тени дуба и укачивала маленького Дикона, пытаюсь его успокоить. Иеремия прошел по берегу, приподнимая шляпу перед женщинами, пожимая руки мужчинам, поглаживая малышей по головке, и у меня в ушах звучал его обволакивающий голос. Он был одет как джентльмен: пальто и брюки, белая рубашка сверкала на полуденном солнце, словно под лампой, шею охватывал тонкий галстук. И все это на такой жаре! В ботинки можно было смотреться, словно в зеркало. Всю одежду на Иеремию перешивали из гардероба мастера Томаса, когда тот отказывался от нее из-за какого-то невидимого изъяна. Иеремия гордился своим внешним видом и всем, кто его слушал, говорил, что подобный облик придает ему значительности. Его жена Рода тоже гордилась, но на ушко сказала мне, что блестящие ботинки мужу малы, сильно сдавливают и натирают большие пальцы на ногах: может, я гляну? Она беспокоилась, как бы не началось заражение. Все это я узнала некоторое время назад, когда лечила Роду от нарушения женского

цикла. Мари Катрин говорила, что с моим ремеслом меня часто будут посвящать в большие и маленькие тайны. Мысль, что большой палец ноги причиняет Иеремии боль при каждом шаге, приносила мне чувство удовлетворения.

– Добрый день, мисс Лета. Как поживает тетя Пегг? Сайрус, как дела? Это новая девочка? Как ее зовут? Эгги? Мисс Фанни, день добрый. Хитт, ты еще долго? Ох-ох-ох, Господь всемогущий.

Иеремия петлял между людьми, словно яркая белая нить, вплетающаяся в черный ковер, хотя мне казался скорее змеей, которая скользит по траве, обвивая лодыжки людей, впихивая им в головы и внушая правильное, со своей точки зрения, представление о мире. Снимаю шляпу перед этим умением, кланяюсь. Он был проповедником, этот Иеремия, и одновременно конюхом в доме мастера Томаса. Люди называли его преподобным, а он считал, что это слишком величаво для него и вряд ли по душе господину. Но не препятствовал им. Ему это нравилось. На мой взгляд, он был таким же скользким и сомнительным, как и те ложные боги, о которых он разглагольствовал. Мне трудно произносить некоторые библейские имена, и «Иеремия» было одним из таких, поэтому я звала преподобного «Мия», чем вызывала его недовольство. Он заявил, что мне следует отказаться от языческих слов и имен и говорить на языке господина, точнее, именно его господина. Я не стала ему объяснять, что знаю и умею произносить много слов, принадлежащих и христианам, и другим людям, что мне ведомы разные имена. У меня самой было имя, данное мне родителями, которое принадлежало только мне, а также имена, которыми меня нарекали Цезарь и другие. Но я ничего такого ему не сказала. Пусть думает что хочет.

И продолжала звать его «Мия». А он, когда я не слышала, называл меня языческой ведьмой.

Авденаго^[48], старший парнишка Айрис, то и дело попадал в переделки, получая ссадины и царапины. Так что почти каждый раз, завидев меня, Айрис просила подлатать сорванца. Именно этим я и занималась, когда нас увидел Иеремия, который пробирался вверх по заросшему высокой травой холму туда, где мы сидели.

– Господь отдыхал в день субботний, – изрек проповедник.

Айрис фыркнула, шлепнув Авденаго, чтобы замолчал, и похлопала по попе маленького Дикона, спавшего рядом.

– Лучше бы Господь сообщил об этом мастеру Нэшу, а то ведь у нас редко какое воскресенье выдается без работы. – Мы с Айрис посмотрели друг на друга и рассмеялись, неожиданно ощутив необыкновенную легкость. А на лице Иеремии появилось кислое выражение.

– Мы с мастером Томасом в полном согласии... – заявил он, будто среди белых у него имелся какой-то вес. – Лучше свято блюсти субботу.

Айрис фыркнула. Я усмехнулась.

– Дети появляются на свет, люди болеют и нуждаются в заботе, когда приходит их время, – сказала я, не глядя на него. – И моя работа – печься о них, когда меня просят, хоть в субботу, хоть нет.

– Вы сейчас на земле короля, мисс Мариам, – сказал Иеремия тем тоном, которым он «наставлял» свою паству и который я ненавидела всей душой. – Время оставить языческие пути и принять слово Господне. Креститься и родиться новой и чистой... – Сказать не могу, до чего мне опостылело слышать, как этот человек называет меня язычницей.

– Я много раз видела, как рождаются младенцы, – заметила я, не в силах удержаться. – Они новые, но вовсе не чистые.

Айрис хихикнула, а челюсть Иеремии захлопнулась, как капкан вокруг лисьей ноги, и он процедил:

– Мисс Мариам, я извиняю вас, потому что вы не ведаете ничего лучшего. Вы пришли из темного места темными... языческими путями. Увы, я не надеюсь, что вам дано будет познать свет так, как мне, как... – Он посмотрел в сторону. К нам шел Джеймс. – Брату Джеймсу. Поэтому стараюсь быть терпеливым и милосердным. Уверен, что брат Джеймс приведет вас к свету и отвратит от... О! Брат Джеймс!

– Иеремия.

Мужчины пожали друг другу руки, и Иеремия отступил назад, а Джеймс поздоровался с Айрис, нежно коснулся моего плеча, а затем погладил Авденаго по голове.

– Сиди спокойно, мальчик, пусть мисс Мариам позаботится о твоей руке.

– Да, сэр, – пробормотал мальчик.

Я смотрю на Иеремию, он смотрит на меня, но ничего не говорит. Я пожала плечами и снова занялась мальчиком. Иеремия с Джеймсом ушли, разговаривая, их голоса звучали слаженно, и эта слаженность меня беспокоила. Значит, Иеремия рассчитывает на моего Джеймса, тот нравится ему. И Джеймс много думает об Иеремии. Как бы сладкоречивый проповедник не отвратил Джеймса от меня.

– Никогда этого не будет, – говорит Айрис, словно читая мои мысли.

Но все же интересно. Кажется, слова Иеремии всегда направлены ко мне. Вот он широко раскинул руки, призывая всех верующих, истинно верующих, прийти к нему. Повествует о прекрасном светлом месте, о граде золотом, где все мы обретем свободу. Вещает об идолах, злых богах и ведьмах. О том, что они все попадут в ад, где жарко, а я думаю: жарче, чем здесь? Чем там, откуда я родом? И, говоря все это, Иеремия смотрит по сторонам, расхаживает вокруг, но каким-то образом его взгляд всегда оказывается обращенным на меня. Все его слова о некоем чудесном месте, об этом рае, предназначены Джеймсу, Айрис и остальным. А вот ужасы про ад и геенну огненную – явно для меня.

Это случилось днем. После того, как я подсобила Айрис в саду и на кухне: ее мучила головная боль, и хоть она и выполняла свою обычную работу – готовила, убирала и ухаживала за хозяйкой, – я-то знала, что ей нужна помощь. В поле меня сегодня не посылали, поэтому я позанималась стряпней, уложила детей Айрис спать, а затем отправилась к себе в хижину готовиться к предстоящему дню.

Иеремия явился, когда уже стемнело. Я была занята тем, чем всегда занимаюсь в это время, если меня не везут на роды: до заката нужно успеть переделать кучу дел. Дни у меня были заполнены до краев то тем, то другим, и я давно не ходила в поле. Дарфи это не нравилось, но он мало что мог сделать. То сама мистрис Роберт послала меня с поручением. То пришлось целое утро потратить на мальчика Фелии, а днем вдруг умер мистер Рубин, и кроме нас с его женой Корой некому оказалось положить его на стол – я никогда не видела такого одинокого белого человека. Ну и, конечно же, никуда не девались обычные проблемы с желудком мистрис Роберт.

У меня почти кончились все лекарственные заготовки, поэтому, пока светло, я собрала вокруг хижины все нужное, что там росло, а

затем перебралась внутрь. Надо было повесить сушиться шалфей, поставить настаиваться сассафрас с мятой, растереть гвоздику. Из чаш вместе с паром поднимались разнообразные ароматы. Мне нравились эти запахи, они напоминали о прежних временах, о Мари Катрин и Рифе, воздух которого пах солью. У меня вдруг образовалось несколько свободных минут, и я решила помельче растереть смесь корицы с гвоздикой. Приближались очередные роды: Махала ждала седьмого, а ей никогда не удавалось разродиться легко. Ее всегда успокаивал дым, да и неплохо бы запастись мазями, настоями и свечами. И за работой я так глубоко погрузилась в ласкающие воспоминания, что не услышала шагов. Но поняла, что кто-то явился. Почувствовала покалывание в затылке.

В дверной косяк постучали.

– Доброго вечера тебе, сестра Мариам.

«Сестра». Я знаю, что это уважительное приветствие, но мне оно не нравится, по крайней мере из уст этого человека. Те, кто мог называть меня сестрой, нынче упокоились в темных водах или обитают в стране туманов и шепчущих духов. А этот Иеремия, он говорит со мной таким слащавым голосом, что у меня начинается изжога.

– И тебе, Мия.

Он взял себе имя пророка, который, по словам Джеймса, призывал к серьезным поступкам, обвинял, осуждал и был суров, но чист духом. А этот, может, и пророк, но явно не Иеремия.

У этого в душе тьма.

– Ты нездоров, Мия? – спросила я, не глядя на него. А иначе с чего бы ему появляться у моей двери?

Челюсть у него напряглась. Остальные из уважения называли его «преподобный». Но не я. Он плохо представлял себе, чем следует заниматься женщинам. И еще хуже представлял, чем должна заниматься я, причем говорил это всем, кто слушал, но никогда мне в лицо и даже в моем присутствии. И никогда Джеймсу.

– Заварить тебе чай, чтобы успокоить нутро? – Тьма в душе рождает лишнюю желчь в печени и кислоту в желудке, от которых Иеремия и страдал. Поварята, работавшие у мастера Томаса на кухне, рассказывали мне, что проповеднику готовят пищу пресную, как для детей.

– Спасибо, сестра, но нет, – ответил он, как мог вежливо. И от этой вежливости в желудке у него наверняка стало еще кислее. – Я пришел по поручению. Ради Джеймса.

Сассафрас кипел, выпуская клубы белого негустого пара, сквозь него мне были видны глаза проповедника, его широко открытый рот и сверкающие белые зубы. Улыбка, которую он надел, словно чужой галстук.

– Тебя Джеймс прислал?

– Меня послал Господь.

Я промолчала. Сняла горшки с огня, прихватывая их чистыми тряпками, чтоб не обжечься. Поставила на камни, чтобы остыли, и проверила каждый. Сассафрас готовить непросто. Перепаришь – и от него может такой понос пробрать, что ого-го. Недопаришь – и толку не будет вовсе.

– И чего же хочет твой Господь?

Глаза у Иеремии блеснули, и я снова ощутила на шее холодок. А он все так же улыбался.

– Хочет, чтоб вы с Джеймсом предались ему. Чтоб сначала я крестил тебя в реке, дабы спасти твою душу, смыть твои грехи. Чтоб... – Он смотрел на меня не мигая, взгляд его был твердым и холодным, а глаза плоскими, как камешки. – Чтоб ты прекратила ходить своими языческими путями.

Я надеялась, что мой взгляд настолько же тверд и неумолим, как у него.

– Я хожу теми же путями, что и твоя мать. – Я улыбнулась про себя.

Иеремию аж перекосило.

Я ухаживала за умирающим дядюшкой Лемюэлем, который мыслями был уже не здесь, да и речами тоже. Этот человек более восьмидесяти лет встречал восходы и заходы солнца и приехал в «Белые клены» с отцом старого мастера Нэша, когда на холмах поблизости еще жили индейцы. Родом он был из Индии, какое-то время жил в колонии Массачусетского залива, потом под Новым Орлеаном, работал на угольной барже, рубил тростник, месил грязь на рисовых полях. Даже видел то, что называется «снег». Он рассказывал длинные истории, как возил сахарный тростник и ловил рыбу в водах Персидского залива к югу от Луизианы, где жил в детстве. По ночам я

сидела у его постели, и он, уже уходя в дальние дали, бормотал, мешая французские и креольские слова с английскими и испанскими. А однажды заговорил со мной на *хауса*, причем произносил слова четко и уверенно, но где их слышал и выучил, сообразить не мог.

Свою жизнь старик вспоминал осколками и обрывками, которые никогда не сходились гладко, каких-то кусков всегда не хватало. Но даже из них, если умело соединить, получались славные истории.

Родители дядюшки Лемюэля были выходцами из «Африки», как он ее называл. Как назывался его народ, он не помнил, говорил лишь, что память у него забрал христианский Бог. Оттуда же и даже на том же корабле привезли мать Иеремии. Продали ее на ту же ферму во Французской Луизиане, а затем на север, в семью Нэш в Северной Каролине. Говорят, у нее на лице были знаки, а зубы подпилены.

– Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел. Высокая, величественная, держалась и двигалась как королева. – В незрячих глазах дядюшки Лемюэля сиял такой свет, какой бывает у умирающих, когда они начинают видеть незримое. – Она пр'пала, ушла... н' помню куда...

Лемюэль говорил, что женщина какое-то время работала на одной из ферм Нэша, а потом просто исчезла: сбежала, умерла или ее продали, он забыл. Просто помнил, что она была красивой. И странной. Неистойвой, дикой. Если Лемюэль и знал, кто отец ее сына, то забыл и это. Но одно знал точно: она никогда не давала своему мальчику имени, даже отдаленно похожего на Иеремию. Его нарекли на языке народа матери. Хотелось бы мне познакомиться с ней. Интересно, что бы она подумала, если бы увидела своего мальчика сейчас.

– Она была язычницей. Отъявленной. И не ведала Иисуса. Я молюсь за ее душу, – рявкнул Иеремия, его лицо, голос и слова были резкими и злыми. Он указал на мои шкафы, полки которых прогибались под тяжестью отваров, настоев и трав. – Так же, как молюсь за твою.

– Не нуждаюсь в твоих молитвах.

Он ахнул и пробормотал:

– Прости ее, Господи, ибо не ведает, что творит. Она просто язычница...

– Я повитуха и лекарка, ухаживаю за матерями, младенцами и недужными, независимо от того, христиане они, язычники или еще кто. И ведаю... то, что ведаю. Что перешло ко мне еще до того, как мы с тобой родились.

– Ты делаешь дьявольскую работу, – прошипел Иеремия. – Что ты сотворила с Неттой...

Так вот в чем дело!

Вот уж точно, что правда лежит, а кривда бежит. Ложь всегда разносится быстро. А правда на подъем тяжела.

Я приказала себе не смотреть на Иеремию, не хватать его за руку и не пытаться ее вывернуть. Не плескать горячей водой в скривившееся лицо. Разговоры пошли с тех пор, как я однажды утром вернулась с одной из ферм Маккея, а болтать начала, вероятно, Бекки, слишком юная, чтобы в чем-то разбираться. Я ее не винила. Она не поняла, что именно увидела, но попыталась домыслить. И ошиблась. А я... я не стала объяснять. Потому что хорошо запомнила урок Мари Катрин, который та вдолбила мне в голову: «Никогда не рассказывай всего, что знаешь».

В то утро моя большая соломенная корзина сильно полегчала, потому что почти все ее содержимое я израсходовала на Нетту. Но те роды слишком затянулись, и я уже не могла ничего сделать.

Семь детей за пять лет! Маккей использовал женщину как производительницу, а когда у мужчин, с которыми он ее «скрещивал», не получалось произвести столько детей или так быстро, как ему хотелось, Маккей делал это сам. И это убивало Нетту, постепенно вытягивая из нее жизненные соки. Четверо вышли из ее утробы до моего появления здесь, один – уже при мне – едва выжил и оставался болезненным. Близнецы, посиневшие и тихие, словно несбывшиеся желания, родились до срока мертвыми, потому что Нетта забеременела ими, не отдохнув от предыдущих родов. Я помогла бедняжке вытолкнуть их, затем обмыла и одела для похорон – работа, которая всегда сокрушает мне сердце. И вот седьмой.

Запах крови не похож ни на что иное. Кровь пахнет железом. Я учуяла ее еще до того, как открыла дверь в хижину, учуяла, еще идя по улице. Собаки тоже учуяли, они нервничали, лаяли и выли, бегая взад-вперед. Слышно было, как лошади Маккея в сарае фыркали, храпели и стонали, будто хотели выбраться и убежать. В воздухе словно дым

стоял. Этот темный сильный запах поведал мне историю, которую я вовсе не хотела слышать. Но у меня не было выбора. Я знала, что увижу, еще до того, как открыла дверь.

Малышка Бекки и Элвина, которые присматривали за Неттой, повернулись и посмотрели на меня, их лица потемнели, а в глазах плескался ужас. Бекки открыла рот, но не издала ни звука. Я медленно отвела взгляд от ее лица и посмотрела на Элвину, чьи щеки были мокрыми от слез, затем на Нетту с раздвинутыми ногами и раздутым, свернутым набок животом. Лицо ее было искажено болью, ужасом и...

– Она такая уже пять часов, может, шесть, – хрипло произнесла Элвина. Ее руки были в крови по локти.

– Бек, принеси мне еще воды, теперь горячей, и тряпок. – Я быстро подошла к Нетте и пощупала лоб (не горячий, лихорадки нет), а затем осмотрела ее. Потом вытащила из сумки флакон и протянула Бекки. – Залей кипятком в чашке и принеси мне. Быстрее, быстрее. Элвина, давай-ка вместе... – Мы осторожно приподняли Нетту и подложили под спину подушку, чтоб ей было легче дышать. Я сменила одеяло: оно было с обеих сторон пропитано кровью, и ополоснула лицо и лоб Нетты прохладной водой.

Женщина застонала. Кровь вытекала из нее медленно, но не переставая. Сердце заколотилось у меня в горле. Я наклонилась к ее уху.

– Нетта, что ты сделала?

Ее темные глаза встретились с моими. В них не было сожаления. Только боль и... удовлетворение, торжество.

Меня затошнило.

Нетта облизнула губы.

– То, что... давно должна была.

– Я не... постараюсь сохранить тебе жизнь, – слова застряли у меня в горле, как острая кость.

– Лучше, если не сможешь...

Нетта закрыла глаза и чуть пошевелила плечом, – это все, на что у нее остались силы.

Бек принесла мне чашку, а затем я отослала девчонку. Она дала клятву парню из северного дома Маккея. Незачем ей это видеть. Да и никому больше.

Из двери высунулась голова Маккея. Я была слишком занята, чтобы с ним разговаривать, просто слышала его ворчливый хриплый голос. Элвина рассказывала, что к чему, отвечая на все вопросы, кроме одного:

– Как скоро она снова сможет рожать?

Я никогда не узнаю, что использовала Нетта. Больше не спрашивала, а она не рассказала. Этого ребенка я вынимала по частям: ножку, ручку... Крови из Нетты вылилось еще больше. Я думала, она не выживет. Теперь это было в руках богов, любого из них, кто заинтересован. Мне потребовался почти весь день и следующее утро, чтобы извлечь ее младенца, привести в порядок ее утробу и все тело. От боли я дала ей одно снадобье с сильным резким вкусом, который замаскировала медом и корицей.

Но больше ничем помочь не могла, зная наверняка только одно:

– Нетта, детей у тебя уже не будет.

В ответ она вздохнула.

– Вот и хорошо.

«Никогда не рассказывай всего, что знаешь».

То, что знала я, могло кончиться для Нетты поркой, а то и продажей. Из-за моих знаний ко мне, Элвине и малышке Бек могла возникнуть куча вопросов, на которые нам не хотелось бы отвечать. Мои настоящие знания, а не те, что люди мне приписывали, для меня могли тоже обернуться поркой, а то и чем похуже.

– Я делаю женскую работу, – сказала я Иеремии, и пусть думает что хочет. – Вашему-то Иисусу детей принимать, похоже, не с руки.

Улыбку с лица проповедника как корова языком слизнула.

– Вот-вот, и творишь всякую... дьявольщину. Я точно знаю.

Как же много мне хотелось сказать этому желчному человеку с горькой кровью и кислым каменным лицом! Он немного помолчал, надеясь, что я клюну на его подстрекательские слова. Но не дождался.

– Джеймс хочет, чтобы Иисус благословил его брак.

Это правда.

– Зато я не хочу, – хмыкнула я, переливая остывший отвар в банку.

Лицо Иеремии потемнело, как небо перед грозой.

– Ты женщина, дочь Евы. И языческая ведьма. – Его голос прогремел надо мной, как гром, исполненный яда и зависти.

– Ты и перед Джеймсом называешь меня языческой ведьмой?

Иеремия фыркнул.

– Нет, – ответила я сама себе. – Нет, этого ты себе не позволяешь.

– Ты его заколдовала, порчу навела! Он не слушает никого! – выкрикнул Иеремия.

– Ну и дурак же ты!

– Я молюсь за душу Джеймса, – продолжал проповедник. – И советовал ему не жениться на тебе. Ибо ты осквернишь его.

– Оскверню?! Да это ты своими горькими словами и кислым лицом сейчас оскверняешь мои снадобья.

– Святой Павел говорит, что женщины не должны...

– Святой Павел не рождает детей, а вот некоторым... женщинам приходится делать это для него и для всех остальных мужчин, которых я знаю. Так что, коль ты пришел не за мазью или отваром для Роды, учти: у меня полно работы. У Махалы ребенок вот-вот запросится наружу, надо подготовиться. А может, тебе что-нибудь дать от твоего вечно урчащего живота?

– Не смей насмехаться над Богом, женщина! – заорал Иеремия, замахаясь: то ли ударить собрался, то ли напугать и власть свою продемонстрировать.

Я потянулась, как могла, повыше, изо всех сил удерживаясь, чтобы не схватить ближайший горшок и не швырнуть ему в голову.

– И давно ты стал богом? Пошел вон.

Для человека, который считал всех женщин ниже себя, Иеремия отозвался довольно вяло и не сразу. Глаза у него расширились, затем он фыркнул и переступил через порог. Я засмеялась, увидев, как поспешно он пустился наутек по грунтовой дороге – словно за ним гнался дьявол, и мой, и его.

* * *

– Тебе не следовало этого делать, – сказал мне Джеймс позже, когда мы остались одни.

– Чего? – уточнила я. – Смеяться над ним?

Лицо у Джеймса было мрачным, он будто ждал, что Бог Иеремии или еще какой-нибудь вот-вот мимоходом покарает его слепотой или чумой.

– Да, тебе не следовало этого делать. Иеремия – человек мастера Томаса. Мастер Томас к нему прислушивается. Если Иеремия скажет ему, что ты ведьма...

– Я не ведьма! И ты, кстати, тоже человек мастера Томаса. И к тебе он тоже прислушивается, и с тем же успехом последует что твоему совету, что совету проповедника. – Я пыталась сдерживаться, но эти люди уже сидели у меня в печенках. – Я единственная повитуха на многие мили вокруг. Роберт Нэш зарабатывает на мне каждый раз, когда я выхожу из дома.

Джеймс схватил меня за руку и резко притянул к себе, почти касаясь моего лица своим.

– Но это не помешает ему мгновенно тебя продать, если брат нажалуется, что ты навела порчу на Иеремию.

Я фыркнула.

– Не раньше, чем мистрис Томас кого-нибудь родит. Если он меня и продаст, то только после этого. Но в любом случае порчу я наводить не умею. Зачем Иеремии на меня наговаривать?

– Мариам, – медленно произнес Джеймс тихим голосом. – Иеремия утверждает, что ты проклинаешь его на языческом наречии, используешь какие-то дьявольские африкские слова.

У меня аж дыхание перехватило и глаза закрылись.

– И ты ему веришь?

– В тебе нет дьявола, Мариам. Но...

Я всего лишь велела Иеремии Нэшу уйти. На своем родном языке. Словами моих родителей и моей семьи, теми, которые говорю только самой себе, потому что больше их никто не знает.

– Я... забываюсь иногда.

– Я знаю, – пробормотал Джеймс, касаясь губами моего лба. – И не виню тебя. Намерения-то у Иеремии добрые, а вот терпение Иова ему несвойственно. Будь осторожна, Мариам.

Джеймс обнял меня и так прижал к себе, что мне показалось, будто я чувствую биение его сердца.

– Иеремия сказал, что я попаду в ад... И ты... если останешься со мной.

Джеймс рассмеялся и поцеловал меня.

– Что ж, если ты окажешься там, никакие небеса не удержат меня.

Джеймс прав. Нужно вести себя осторожнее. Мне еще предстоит изучить обычаи этих людей. Принять их власть над моей и его жизнью. Мы с Джеймсом хотели соединиться. Но нам требуется согласие мастера Томаса и мастера Роберта, хоть мне неприятно это осознавать. Джеймс предложил построить для нас хижину на краю болота, на куске поля под названием «Уголок Мюррея». Это был почти бесплодный участок земли, принадлежавший еще матери братьев Нэшей. Джеймс сказал, что этот участок ему обещал старый мастер, хоть и не объяснил почему. Но если Иеремия нашепчет мастеру Томасу свои гнусные наветы, неизвестно, что произойдет. Продавать меня Нэш вряд ли станет: повитуха слишком ценный работник, а этих людей интересуют только деньги. Но поступить куда хуже он способен, не позволив нам с Джеймсом соединиться.

В том месяце мне пришлось принять четверых детей, хотя было известно только о троих. Я так задымила хижину Махалы пряными травами, что мы обе чуть не задохнулись. Но тепло и аромат подействовали, и в результате мы кашляем и смеемся. Ее малыш скользнул мне в руки, извиваясь, как только что пойманная рыбка, брыкаясь и вопя, словно от злости на весь мир. Крепыш. Махала улыбалась не переставая, а когда я положила мальчика ей на руки, глаза ее наполнились слезами.

Ее мужчина, Том, привел детей познакомиться с новым братиком, а мне заплатили одеялом и курицей.

Ребенка Нел я принять не успела: он вылетел в этот мир прямо на пол посреди хижины! Еще один мальчик, орущий во всю глотку, широко раскрыв рот и демонстрируя розовые десны. Толстячок. Маккей дал мне монету, а Нел – кусок тонкой ткани на платье. Я не спросила, откуда она взялась.

Когда пришло время Пейшенс Нэш, мастер Томас сам приехал за мной в «Белые клены» в своем экипаже. Сказал, что никому другому не доверяет. И всю дорогу болтал без умолку. Не мог удержаться, нервничал, будто у них это первый ребенок.

– О-она вроде такая спокойная, уравновешенная, – говорил он дрожащим голосом. – Как будто знает, что делать, знает, что ребенок... что с ним... хорошо...

Томас Нэш, покраснев, растерянно глянул на меня, затем на лошадь, затем снова на меня.

– Она справится, правда? – спросил он. – Похоже на то. Но я боюсь слишком надеяться. Просто это так... это первый раз после Томми, когда она... доносила до сих пор...

Я пробормотала:

– Да, сэр, – и сосредоточилась на предстоящем.

В первый день, когда я сюда приехала, мне сказали, что Пейшенс Нэш обычно скидывает еще в первые месяцы на «стадии рвоты». На этот раз ей удалось благополучно пережить и эту стадию, и все девять

месяцев. И, насколько я могла судить, ребенок в ее огромном животе был далеко не тщедушным. А поскольку она до смерти боялась выкидыша, последние два месяца за мной посылали почти каждую неделю.

– О, Мариам, слава Господу, ты здесь.

Рода и мистрис Пенн, сестра Пейшенс, приехавшая из города Ричмонд, приготовили постель, свежее белье и вскипятили воду. Рода – просто чудо. Что ее погнало замуж за Иеремию... впрочем, есть мысли и поважнее.

– Тебе нужно что-нибудь еще? – поинтересовалась Рода мимоходом.

– Когда она ела в последний раз? – спросила я.

– Да пожалуй, только вчера, – довольно усмехнулась Рода. – Тогда ей чуток приплохело, и я подумала... лучше ее много не кормить. Похоже, ей это не нравится!

И мы дружно рассмеялись. Поскольку мистрис Томас если что и нравится, так это как раз плотно поесть.

– Я думала, она почти готова, и Мариам не придется убирать еще и...

– Вот спасибо, – поблагодарила я, закатывая рукава.

Пейшенс вскрикнула. Этот ребенок явно рвался на свет.

– Госпожа, – сказала я, подходя к кровати, – давайте-ка посмотрим, как вы.

Как она!.. Это было то еще зрелище. Давно я не видела такого разгрома. Мистрис Пейшенс свила на кровати настоящее гнездо, как дикий зверь, скомкав белье в комок, несмотря на все старания Роды и сестры. Подушки раскиданы по полу (Рода подбирает, госпожа Пейшенс расшвыривает), повсюду растеклась вода, а сама госпожа Пейшенс... ну, она тоже в беспорядке, волосы спутаны, всклочены, с лица капает, кулаки стиснуты.

– Мариам, как же мне больно! Меня просто на части разрывает! – вскрикнула она, поднялась и упала на колени, хрюкая, как свинья.

Ее сестра смотрела на меня, словно первый раз увидела такое чудище. Похоже, мистрис Пенн представления не имеет, как рождаются дети. Рода слегка улыбнулась.

Я растираю хозяйке спину и кладу на нее теплое полотенце, которое дала мне Рода.

– Я уже здесь, мистрис Томас. Все будет хорошо. Младенчик просто спешит увидеть маму, вот и все. Сейчас... перевернитесь... я посмотрю...

Так и думала: ребенок идет попкой. Я кивнула Роде, чтобы та помогла мне. Поискала взглядом мистрис Пенн, но услышала, как ее рвет в соседней комнате. Вот же досада. Лишняя пара рук сейчас бы очень пригодилась.

Нам с Родой – а Рода ростом примерно с двенадцатилетнюю девочку – нужно приподнять, перевернуть хозяйку и мягко положить на кровать. Она кричит как резаная и размахивает руками, будто собирается нас ударить. Рода закатывает глаза.

Я стараюсь быть с мамочкой как можно нежнее. Ей ведь очень трудно. Больно. Ребенок движется, отчего она чувствует себя ужасно. Страшно, ведь боятся почти все роженицы. Боятся за себя, за ребенка. Но мистрис Пейшенс вопит, как полоумная дура, цепляется за меня и мешаает ее осматривать. Потом начинает еще и извиваться и не дает проверить, как там ребенок. В общем, времени понадобилось больше, чем следовало бы, да еще и ребенок пошел быстро...

– Пейшенс! – рывкнула я. – Заткнись!

У Роды глаза сделались по блюдцу. В комнате стало тихо. В соседней комнате перестали блевать, и мистрис Пенн высунула голову из-за косяка.

Хозяйка замерла, разинув рот, но не издавала ни звука. Просто смотрела на меня.

– Теперь, если хочешь родить хотя бы на этой неделе, прекрати верещать и послушай меня. Малышка идет попкой, и мне нужно ее развернуть. Будет больно, так что закусывай губы, сжимай кулаки, задерживай дыхание, делай что хочешь. Но кричать нельзя. Напугаешь ребенка. Понимаешь меня?

Пейшенс смотрит и молчит. Я знаю, о чем она думает. А потом она глубоко вздохнула, закрыла рот и кивнула.

Малышка развернулась как волчок и выскользнула, не дав мне толком подготовиться. Извивалась, пинала меня прелестными розовыми ножками и кричала. Кричала так, словно звала экипаж. Или вела за собой полк. Кричала, широко открыв рот и высунув розовый язычок. Крепенькая. Здоровенькая. Сильная духом.

Мать не понимала, плакать ей или смеяться. И сделала и то и другое. Не дожидаясь, пока мы обмоем ребенка или ее, схватила малышку и принялась целовать. Вытащила грудь и попыталась кормить, хотя молоко еще не пришло. Запела и принялась укачивать ребенка, плача и смеясь разом. Мастер Томас вломился в комнату, едва не снеся дверь, и уселся на кровать прямо на неубранные еще простыни, в лужу крови, воды и разных жидкостей. Ему было все равно. Он тоже плакал и смеялся, как и жена, и дрожащим пальцем гладил щечку новорожденной дочери.

Мне, Роде и мистрис Пенн пришлось здорово постараться, наводя чистоту и порядок в комнате и на родильном ложе (потому что мать никак не отдавала ребенка, а отец все не уходил), но мы справились.

Пейшенс Нэш зевнула и вздохнула. Ее дочь, утомленная рождением и кормлением, спала, приоткрыв ротик. Пейшенс утерла слезы ладонью.

– Она... она ведь здорова, Мариам, правда? – Женщина смотрела широко распахнутыми от изнеможения и беспокойства глазами.

Я похлопала ее по руке.

– Да, мистрис Пейшенс, она совершенно здорова. Волноваться не о чем.

Пейшенс закусил губу и кивнула.

– Ты знала... что она... что у меня будет дочь.

Я складывала одеяло, намереваясь его убрать в открытый сундук, и стояла спиной к кровати.

– Нет, – пробормотала я, точно помня, что я говорила и когда.

– Но ты сказала... сказала, что должна ее повернуть. Именно так.

Я промолчала, продолжая возиться с одеялом.

– У тебя бывают... видения, Мариам?

Я действительно иногда вижу что-то, но даже сейчас, спустя столько времени, не уверена в этом и не понимаю, что это значит. Прошлое это или будущее, то, что произойдет, или только может произойти.

– Нет, госпожа, никаких видений у меня нет. Просто подумала, что будет либо сын, либо дочь.

Обернувшись, я поняла, что мистрис Пейшенс не слушает. Она и ее маленькая девочка крепко спали. Я собрала свою корзину. Роды прошли у хозяйки легко, послед вышел целиком и правильного цвета.

Ребенок уже успел отведать материнского молока, причем сосал так жадно и старательно, словно никак не мог насытиться. Рода и мистрис Пенн оставались при матери с младенцем, поэтому я была уже не нужна. Несмотря на запах дождя в воздухе и раскаты грома, которые слышались время от времени, мне хотелось вернуться на ферму Роберта Нэша, размять спину и ноги, подышать воздухом и успокоиться среди пения птиц и тишины.

– Мариам, Дарфи отвезет тебя в «Белые клены», – в дверях, все еще улыбаясь, стоял Томас Нэш. Он уже слегка почистился. – Я собирался отвезти тебя сам, но... раз уж Дарфи здесь, поедешь с ним и повезешь Роберту и Марте добрую весть про нашу дочурку... Элизабет Розу... – Он выглянул в окно. Было всего два часа дня, но темнело быстро, словно зимой. – Похоже, дождь собирается.

– Да, сэр, – пробормотала я, думая, что лучше пойду сквозь стену воды под хор громовых песен, чем приближусь к Дарфи, не говоря уж о том, чтоб ехать с ним рядом в повозке.

– Я буду тебе вечно благодарен, – продолжал мастер Томас, кладя мне в ладонь несколько монет. И постучал себя по носу. – Это между нами. Тому, что ты совершила, нет цены... – В глазах у него стояли слезы. – С братом я рассчитаюсь, а это – тебе.

– Да, мастер Томас.

Я все-таки пошла к повозке, и мастер Томас помог мне забраться. Потом взял мои корзины и бережно, будто они отлиты из золота, разместил их в задке повозки, от дождя накрыл вошеной тканью. Приказал Дарфи ехать не торопясь и непременно убедиться, что я благополучно добралась до дома его брата и сообщила о рождении Элизабет Розы. Дарфи только и повторял: «Да, сэр», и «Да, сэр», и «Да, сэр».

Мы выехали за ворота и направились на запад, в сторону старой фермы Чарльза Нэша, к участку, которым теперь владели оба брата, но обрабатывал мастер Томас.

– Мы едем не туда, – заметила я. Дарфи хмыкнул. – Нужно было повернуть на восток.

– Ты нужна в поселке, – заявил он. – Мастер Роберт не станет возражать, если я закину тебя туда, раз уж мы едем мимо.

Да, так бывает часто: навещаешь одного больного, а потом заглядываешь еще к кому-то рядом. Но я проверяла округу, когда в

последний раз заходила к мистрис Пейшенс. Никто не болел, и роды не предвиделись.

– И к кому ты меня везешь?

Дарфи пожал плечами.

– К Джейн.

– Дочурке Сэди?

Я вспомнила, что в последний раз видела девушку несколько недель назад. Она работает на кухне. Ее мать, Сэди, привезли из Мэриленда или из Северной Вирджинии, в общем, откуда-то оттуда. Хорошенькая девчушка, светлокожая, с темными волосами, лет одиннадцати-двенадцати, довольно рослая для своего возраста и, насколько мне помнится, здоровая. Я промолчала, просто глядя на пробегающие мимо поля, всматриваясь в небо и размышляя, что гроза, похоже, совсем близко. Интересно, не подцепила ли малышка Джейн какую-нибудь заразу. Время-то года как раз подходящее. Подумала, есть ли у меня в корзине какие-нибудь отвары, чтобы успокоить стеснение в груди или облегчить кашель.

– Что случилось? – спросила я вместо приветствия, когда Сэди открыла дверь. Лицо ее было искажено горем, залито слезами. У меня сжалось сердце. – Сэди? Сестра? Что такое? Где малышка Джейн? – Я вихрем пронеслась мимо нее и застыла.

Джейн лежала на кровати, лицо посерело от боли, ноги раздвинуты, живот вздут. Следующий свой вопрос я проглотила. Велела Сэди принести воды, горячей и прохладной, еще одно одеяло и чистую чашку. Она кивнула, но ничего не сказала. Эта малышка Джейн оказалась самой стойкой роженицей, какие мне только попадались. Немного постонала, но ни разу не закричала, не заплакала. Ее ребенок вышел невредимым, но почти мертвым. Он был слишком мал, чтобы выжить. Едва дышал и не мог сосать. Я утешала Джейн, но что тут скажешь. Вот она и молчала. А когда новорожденный испустил последний вздох, повернулась лицом к стене.

Я тихо склоняюсь к Джейн и тихим мягким голосом шепчу ей разные правильные слова, стараясь сохранять непроницаемое лицо. Сэди хранит молчание. Я делаю это ради Джейн. Да и ради любой такой же матери. Ведь всякий раз, когда ребенок умирает, кусочек меня

умирает вместе с ним. Но я не смогу помочь скорбящей матери, если примусь рыдать.

Поэтому я скорблю в душе. А ночью плачу, пока не засну.

Сэди обмыла ребенка и плотно завернула в одеяльце. Под небольшим дождем мы отнесли его на кладбище рабов Нэша и похоронили головой на восток. Сложили стопкой несколько плоских камней, чтобы отпугнуть животных и обозначить место. Я произнесла слова моего народа. Сэди, тоже родившаяся за темными водами, пропела свои. Я отдала ей послед, чтобы она провела церемонию как бабушка.

Потом мы быстро прибрались в хижине, вымыли и переодели Джейн, поменяли постель. Я дала девочке макового отвара и оставила ромашку, чтобы она поскорее уснула.

– Спасибо тебе, – прошептала Джейн.

– Пусть боги присмотрят за ним в его путешествии, – сказала я, припомнив хорошее напутствие. Сэди кивнула, глаза ее наполнились слезами.

– А отец...

Тут резко распахнулась дверь, и появился Дарфи с лицом мрачнее тучи.

– Готова? – рявкнул на меня ирландец, совершенно проигнорировав Сэди. – Едем немедленно, пока не разразилась буря.

Никаких расспросов ни о ребенке, ни о Джейн. Ничего. Развернулся и пошел прочь, топая и скользя тяжелыми ботинками по лужам и грязи.

Темные глаза Сэди встретились с моими.

– Спасибо, сестра Мариам, – сказала она.

6

Разгоняющий тучи

Лошади мчат на восток по старой Индейской дороге, как все ее называли. Мы уже давно должны были добраться до фермы мастера Роберта, но опаздывали на несколько часов, и Дарфи это понимал. Мастер Роберт будет недоволен. Ирландец что есть сил погоняет лошадей, без жалости стегая их кнутом. От грозовых туч небо стало угольно-черным, вокруг бьют молнии и грохочет гром. Я в ярости, как это небо. Чем быстрее скачут лошади, тем сильнее Дарфи их нахлестывает. Чем сильнее Дарфи их нахлестывает, тем больше я злюсь.

Потому что теперь вспомнила.

Вспомнила все.

Женщину из Анголы, которая скручивала табак и вместе с артелью проезжала через графство, но осталась в доме Чандлеров и была там достаточно долго, чтобы вырастить живот и родить.

Повозка мчится дальше.

Этого ребенка женщина оставила.

Девочку Мэри с фермы Постена и мальчика, которого она отдала вместе с другим мальчиком, родившимся у нее годом ранее. Ей не больше пятнадцати, а чрево ее уже изношено.

Тею из дома Хейдеров – ей четырнадцать, и она опять беременна, слишком быстро после того, как я приняла у нее последнего ребенка, который умер.

Джейн. Малышка Джейн. Этой и вовсе двенадцать.

Оглушительный раскат грома.

Дождь лил как из ведра, крупные капли грохотали по крыше повозки сильно и громко, словно пули. Лошади из последних сил мчались стрелой, подстегиваемые безжалостным кнутом Дарфи.

Маленькая девочка, лишь недавно уронившая свою первую кровь, одетая в мальчишескую одежду, бежит со всех ног. Переулок тесный и темный. За спиной жадно сопит дьявол. Руки. Жадные руки везде. Рана слишком глубокая, не заживает. Ужас. Стыд. Слишком большой

живот для такой маленькой девочки. Слишком маленький ребенок родился слишком рано.

Белый малыш. Малыши. Все они были белыми.

По суше ненастья и штормы идут с запада на восток, но в море по-другому. В море вообще все по-другому, особенно ветер. Этот дует из темных вод, буйный, трубный, завывает. Дождь, мощный, острый, сечет по коже словно плетью. Бог ветра воет, голосом ломая деревья, нагоняя воду в Быстрый ручей, и тот набухает, заливая поля и дорогу, местами доходя лошадям почти до коленей. На суше бывают бури с ливнем, громом и молниями, с падающими на землю галькой и градом, такими маленькими ледяными шариками. Как бы долго ни бушевал ливень и ни пылал небесный свет, эти бури хоть жестокие и громкие, но всего лишь маленькие дети.

Шторм на море – совсем другое. Он мне знаком, я слышала его голос раньше. Жестокий, неумолимый и коварный. Прячется под солнечными лучами и мягким ветерком, играющим с гребнями волн. Вьется вокруг облаков и целует их, а затем колдовским дыханием заставляет менять цвет, мчаться и метать в людей копыя молний. Разрушать. В языке моих родителей не было слов, не было имени для бури, которая вырастала из темных вод и трепала их, пока они не поднимались почти до неба. В моих краях такого не было: наш дом находился слишком далеко от побережья. Но один такой шторм я видела и даже побывала в нем. Юнга с «Мартине» назвал его португальским словом *фуракао*^[49], а Цезарь – дыханием богов. Мари Катрин произнесла на его счет слова трех племен с четырех сторон света, но когда ужасающий шторм оставил в покое наш Риф, сердито посмотрела на Цезаря и на языке матери своей матери назвала его «хотали». Таким он и был. Грозным ветром богов.

Сейчас он ревел, проносясь над нами, заливая волнами дождя; лошади вставали на дыбы и пронзительно ржали; чтобы они не понесли и не перевернули повозку, Дарфи изо всех сил вцепился в поводья. Я же была так зла, что не видела ничего, кроме его лица, и мне было все равно, утону ли в этой воде. Я решила сражаться с грозным ветром богов, лишь бы добиться своего...

Дарфи поднял руку, намереваясь в очередной раз хлестнуть гнедого. Но тут я вдруг выхватываю кнут из его руки и полосую его по лицу и груди. Крича от боли, он осыпает меня ругательствами на своем

гэльском языке, отшвыривает поводья, поднимает руки и прикрывается, как щитом, одновременно сражаясь со мной, с ветром и дождем, который почему-то льет из стороны в сторону, а не с неба вниз. Я тоже швыряю ирландцу в ответ все грязные слова на языке матери и отца и на тех языках, чьи слова выучила за все это время, и совершенно не забочусь, считает ли он меня ведьмой.

Я толкаю его, пинаю, полосую кнутом, кричу на него. Он вопит, что избьет меня, выпорот, обещает, что мастер Роберт меня продаст или повесит, когда все узнает. Я рычу:

– Мне плевать, если ты меня убьешь! Мне... мне плевать, даже если он убьет меня! Ты настоящий злодей, сам дьявол!

Он отбивается, но смотрит на меня боязливо и – я знаю – считает больной на всю голову, думает, будто во мне живет демон, его, мой или оба сразу. Я знаю, Дарфи боится моих слов, тех, которые слышит. А вокруг ревет безумный ветер. Видать, так же зол, как и я.

– Они ведь еще дети! – кричу я на него английскими словами. – Девочки, едва дожившие до первой крови, еще не взрослые, слишком маленькие для твоего...

Глаза Дарфи расширяются. Он понимает смысл моих обвинений.

– Ты испортил их, осквернил, погубил! И дети их тоже умирают. Твои! Они все твои дети!

Из ниоткуда налетает ураган, переворачивает повозку. Лошади встают на дыбы, одна из лип с треском ломается и падает прямо перед нами. Помню, как кричал Дарфи... Или это была я? Вот распахнутый рот ирландца, а потом... его там больше нет. Помню, как мои ноги отрываются от дороги, руки поднимаются над головой, я лечу сквозь стену воды, я парю в воздухе, превращаясь в небывалую птицу.

Потом что-то ударило меня по голове.

Джеймс как-то рассказывал историю об Иисусе Христе. Иисус бродил по пустыне, где нет ни еды, ни воды, ни живой души. Ему некуда было голову приклонить. Он видел несуществующее, слышал голоса, доносящиеся из воздуха. Бог-обманщик вовлек его в злую игру, насмеялся над ним, а затем бросил умирать. Моя пустыня полна зелени, воды и пения птиц. Но со мной тоже играет обманщик, и мне слышатся голос Дарфи, затем – Джеймса, потом Джери. Потом я будто слышу рычание пантеры или детский плач. Хор младенцев. Я знаю, кто они. Это крохотные призраки, все малыши, зачатые этим злодеем

Дарфи в Мэри, Тее, Джейн, ангольской женщине и в ком еще? Во мне. Моя девочка была не от Дарфи, но от такого же негодяя, как он.

Наверное, пока я блуждаю среди теней, солнце всходит и заходит не раз. Наверное, я сплю. Я слышала рычание пантеры и рев больших ящериц, обитающих у кромки воды. Я плачу всякий раз, услышав хор детских голосов. И все бреду и бреду, пока не дохожу до знакомого тихого местечка, сажусь на край причала и гляжу на бухту, устье Быстрого ручья и островок, закрывающий от моих глаз темные воды. Я не ела уже два или три дня. Думаю, стала вполне легкой, чтобы перелететь.

– У тебя что, нет пропуска?

Я боюсь обернуться, боюсь, что этот голос, который кажется мне голосом Джеймса, на самом деле принадлежит богу-обманщику, который снова пришел меня подразнить. Но потом чувствую на плече руку, теплую и нежную, и понимаю, что она настоящая и это Джеймс.

– Нет, сэр, мастер Джеймс, – отвечаю я. – Нету.

Он несет меня к повозке, говоря, что я не в состоянии идти, и везет в «Белые клены». Там Айрис, и Элинора тоже. Я помню... они улыбаются. Теплая вода оmyвает мое тело, лицо, а потом я, наверное, засыпаю. Меня заставляют есть... хлеб? Пить чай? Руки исцарапаны и болят, вряд ли потому, что я хваталась ими за все подряд, скорее оттого, что била Дарфи по щекам; думаю так, но помалкиваю. Ступни стертые в кровь, больно стоять. Нужен день, а то и больше, чтобы прийти в себя, вспомнить, где я и что было. Сажусь на краю своей кровати с миской куриного бульона в одной руке и половником в другой. Джеймс оmyвает мне ноги, совсем как Иисус в одной из историй Иеремии.

– К-как вы все... пережили эту бурю? Там, на дальней ферме, никому не нужна моя помощь?

Джеймс оставляет в покое мои ступни и глядит так, будто у меня две головы.

– У нас все в порядке, Мариам! Это мы о тебе беспокоимся! Ты же потерялась в бурю. Почти на три дня. Думали, совсем сгинула. Дарфи, как бесноватый, ввалился в дом, что-то бормоча, а затем упал. К тому времени дождь мало-помалу прекратился, мы все прибежали: мастер Роберт, мастер Томас кричит запрягать лошадей, я, Хьюз и Юпитер рыщем повсюду. Тебя нигде и в помине нет. Тут обнаруживается, что

повозка вся переломалась, теперь годится только на растопку. Лошади умчались на ферму, но одна так сильно поранилась, что Иеремия боится, ее придется пристрелить. И ты пропала. Мистрис Роберт плачет, потому что Айрис не может заварить чай так, как ей нравится. Мистрис Пейшенс вся побагровела и вопит на Дарфи, что твоя фурия, дескать лучше бы ему тебя отыскать. А ежели он этого не сделает, так мастер Томас спровадит его обратно в Ольстер, откуда он родом. Дарфи обзывает тебя ведьмой. А мистрис Пейшенс, даром что недавно родила, вскакивает с постели и так принимается молотить его кулаками, что пришлось мастеру Томасу вмешаться.

Я похолодела.

– А Дарфи...

– Уехал.

Джеймс прервал свой рассказ и протянул мне чашку. Я смотрю на него. Поверить не могу во все это.

– Пей, Мариам.

– Но ты меня нашел, – говорю я, чуть не захлебнувшись прохладной водой.

Джеймс улыбается.

– Да. Сказал, что найду, даже если мне придется исходить мелкими шагами все плантации и фермы. Сначала осмотрел все вокруг, а потом вспомнил про твое тайное местечко, где ты любишь сидеть.

По моему лицу текут теплые слезы. В голове крутится и пухнет клубок воспоминаний.

– Джеймс... но дети... и Дарфи... Я... – Слова не идут с языка. Как сказать про небольшой холмик, где она покоится? Описать, как смотрела на меня Джейн, когда ее ребенок родился и почти сразу умер? А про остальных девочек?..

Джеймс закрывает глаза и кивает. Он долгое время был у Нэша, и теперь мне интересно, знал ли он про делишки ирландца. Джеймс берет меня за руку.

– Не переживай, малышка Мариам, – говорит он мягким голосом. – Ты здесь, ты в безопасности и не ранена. Ешь то, что приносит Айрис, пей воду. Спи. Тебе понадобятся силы. Ведь свадьба-то будет.

Я вижу его лицо, хотя мои глаза полны слез. Он улыбается.

– Мистрис Пейшенс сказала, что даст тебе всё, что захочешь. И что мы можем построить себе хижину в Уголке Мюррея. И пожениться, когда ты выздоровеешь.

– Мы с тобой?

Джеймс кивает.

– А Иеремия...

Джеймс касается моих губ пальцем. При упоминании этого имени у меня сводит желудок.

– Я не буду прыгать через метлу.

Джеймс притягивает меня к себе и целует.

– Я знаю.

Позже, вернувшись на ферму, я узнаю, что случился еще один ураган. Но без ветров, которые ломали деревья или опрокидывали повозки. И без дождя.

Этот ураган звался «Джеймс». И он обрушился на Иеремию после того, как тот с гордостью заявил Джеймсу – так говорили люди, слышавшие это, – что меня Господь наказал, ибо я была дьявольской языческой ведьмой. Люди говорили, что Джеймс так зарычал на Иеремию, будто его переполнил гнев сразу многих богов. Сильно толкнул проповедника и ударил бы, если бы не другие мужчины, которые там были. Джеймс сказал Иеремии, что намерен соединиться со мной, жить и дать мне детей, а если богу Иеремии это не нравится, то есть и другие, более благосклонные боги.

Преподобный настолько взял себя в руки, что даже попросил у Джеймса прощения и предложил провести церемонию. Джеймс сказал, что спросит меня.

Около 1781 года

Нас с Джеймсом Нэшем соединили в воскресенье в полдень на берегу Быстрого ручья, расположенного на границе между землями Джорджа Раутта и Томаса Нэша. На Джеймсе был прекрасный темный костюм и белая рубашка, как раз такие, как нравятся Иеремии, только сразу севшие хорошо. Мастер Томас отдал их Джеймсу. Я облачилась в белое платье, которое, по словам даже госпожи Нэш, было лучшим, что они видели в этих краях. Артемида Килпатрик (так она себя называла) сшила его для меня специально по просьбе Джеймса. Жаль, что оно не сохранилось. Это лучшая из моих вещей. Артемида была та еще змея, но шить умела.

Церемония больше напоминала крещение и молитвенное собрание, чем свадьбу. Иеремия не торопясь рассуждает о том и о сем, я не вслушиваюсь в его слова. Смотрю только на Джеймса, думаю только о Джеймсе. Иеремия произнес одну молитву, а потом «Аминь!» и еще молитву, а потом «Аминь!» и столько раз прошел вверх и вниз по берегу, что протоптал в мягкой земле тропинку. Наконец он приступил к делу и произнес слова, которые нас действительно соединили. «А ты, Джеймс?» и «А ты, Мариам?»

И мы оба сказали: «Да».

А потом было много еды, танцев и смеха. Ох уж эта Айрис! Должно быть, готовила день и ночь! Рис и курица, жареная оленина, кукурузный хлеб, сытный, как пирог, и рагу из кролика, которое она называет «фрикасе». Мастер Роберт позвал темнокожего скрипача из Бедфорда, и тот все играл и играл без устали. Белых людей было почти столько же, сколько и цветных, со всего округа. Это был день моей свадьбы, но я же лекарь и повитуха, и мое призвание всегда со мной. Поэтому навестила нескольких больных, малышей и новорожденных. Мальчики Махалы и Нел были вечно голодными и хорошо прибавляли в весе. Крошка мистрис Пейшенс тоже. Джейн...

Я отвела ее в сторону, подальше от шума и ушей, которые могли оказаться поблизости.

– Кровотечение остановилось, мисс Мариам, – тихо сказала девочка, не поднимая глаз. – Мне уже не больно.

– Хорошо. Так и должно быть. Ежели вдруг в животе начнет тянуть или почувствуешь напряжение, посылай за мной, поняла?

Джейн кивнула. В стороне на нас смотрит ее мать, Сэди.

– Да, мэм. – На этот раз девочка взглянула на меня. Выражение ее лица разбило мне сердце. Ни в этом, ни в каком-либо другом мире не было богов, которые могли бы объяснить мне, почему у совсем еще юной девочки должно быть печальное лицо пожившей, много перенесшей женщины. – Спасибо вам за все.

Лицо маленькой Джейн будет всю оставшуюся жизнь стоять перед моими глазами. У меня и у самой было такое же.

Празднование продолжалось и после захода солнца. От земли, увлажненной ливнями, шел пар, и воздух по берегам Быстрого ручья был сырым, густым и искрился светлячками. Стоял теплый вечер, дул легкий приятный ветерок. Уже смеркалось, но различить светлую одежду людей, идущих в сторону фермы, слыша, как они смеются, перебрасываются шутками, а некоторые напевают и приплясывают, подогретые виски, еще удавалось. Завтра рабочий день, но сегодня, сейчас – праздник. Джеймс взял меня за руку, и мы молча пошли вместе вслед за остальными. Просто быть рядом часто лучше всяких слов.

На полпути Джеймс свернул со старой тропы для скота и направился к устью ручья, где пресная вода смешивалась с соленой морской.

– Куда мы идем?

– Сама увидишь.

Тьма стояла хоть глаз коли, и я не могла разглядеть его лица, но чувствовала, что он улыбается. Мы шли известной мне тропинкой, которая вела к маленькой бухте. Там у кромки воды стоял мужчина, чье лицо освещал свет костра. Юпитер.

На нем была одежда из белого полотна, а в руках – тыква, которую, как я знала, старейшины моего народа использовали только в священных случаях. Последний раз я видела такое давно, еще у себя дома. Мне тогда не разрешили остаться до конца праздника, одна из сестер отправила меня спать. Оказывается, Юпитер родом из племени

моего отца, да еще и жрец. Я поклонилась. Джеймс сделал то же самое.

– Боги велели мне благословить ваш союз, скрепить его по обычаю нашего народа, – Юпитер говорил низким, хриплым, грубым голосом, будто у него повреждено горло. И медленно, словно молился над каждым словом. Я впервые услышала его голос. Дарфи, помнится, болтал, когда Юпитер не слышал, что речи возница лишился из-за удара, того, что белые называют апоплексией. Но оказалось, слова его не покинули. Наверное, Юпитеру было удобнее, чтобы все эти господа думали, будто он онемел. Теперь же, когда рядом стояли только мы с Джеймсом, он не просто говорил, но словами моих родителей.

– Как тебя называет отец?

Я сказала, заметив удивление Джеймса. Юпитер кивнул.

– Я прошу богов, Маленькая Птичка, благословить твой союз с этим человеком, этим Джеймсом, и прошу их направлять вас, пока вы живете вместе, воспитываете своих детей и следуете своему призванию.

С Джеймсом он говорил по-английски. А со мной – на том языке, который я слышала с первых дней своей жизни.

Юпитер наказал Джеймсу чтить и уважать меня, поддерживать мое призвание повитухи и лекаря, вести наших детей по пути предков, его и моих, раз уж он привел нас так далеко, через воды Атлантики.

Мне он сказал:

– Ты вдали от своего народа, Маленькая Птичка, как и я. Как и все мы. Мы... вы создадите в этих местах новых людей... здешние-то уж забыли, что их предки тоже когда-то давно пересекли воды, чтобы попасть сюда... И воспоминания о предках тускнеют у них в головах. Вы должны помнить то, что многие забудут. Должны передать дальше слова, истории, имена, чтобы наши предки не бродили брошенными в мире духов. Наша память укажет им путь. Ты понимаешь меня?

– Да.

Юпитер повернулся к Джеймсу и сказал то же самое на английском языке, который знал Джеймс. И Джеймс тоже уронил: «Да».

Юпитер кивнул и сказал, что это хорошо, и благословил нас, и попросил предков, пребывающих в этом месте, в этой Вирджинии, и тех, кто за темными водами, присматривать за нами и вести нас.

Было уже очень поздно, когда мы собрались уходить, и небо высветилось яркими звездами. Юпитер тронул меня за руку и попросил поговорить наедине. Джеймс кивнул и сказал, что подождет возле лодки с голубым дном, вытасченной на берег в камышах.

– Я скажу немного. – Голос у Юпитера звучал более хрипло.

– Дядюшка, я могу тебе помочь? – спросила я. – Хочешь, заварю чай, который успокоит твоё горло.

Он медленно покачал головой.

– Спасибо, Мариам, не надо. Я скоро покину это место, – сказал Юпитер. – Возможно, уже завтра буду далеко. Мне приятно видеть тебя, слышать твои слова, видеть, как ты выздоравливаешь сама и делаешь сильными наших малышей. Ты настоящее сокровище, Маленькая Птичка... Боги благословят тебя, а предки будут наблюдать.

Я сумела только кивнуть. Потом попрощалась с Юпитером и пошла вдоль кромки воды к Джеймсу, который поджидал меня у голубой лодки. Он обернулся, чтобы помахать старику, но тот уже ушел, а огонь погас.

Предки будут наблюдать...

Жена Джеймса

Хижину я не называю нашей или своей, потому что здесь нам ничего не принадлежит. В стране английского короля мы и сами-то себе не принадлежим. Я это знаю. И Джеймс это знает. Но любит говорить «наше место», «наша земля», словно эта маленькая полоска травы закреплена за нами на бумаге, подшитой в папку во Франклине. Это не так. Но Джеймсу нравится так думать.

Через несколько дней после сильных ураганов братья Нэш собрали своих работников и людей Оуэна Маккея, и те вырубали деревья на западной окраине Уголка Мюррея и менее чем за неделю поставили там стены двухкомнатной хижины. Надежно заделали от дождя, а мой Джеймс навел крышу, способную выдержать следующий *фуракао*. Для пола (Джеймс наотрез отказывался ходить по земляному) взяли древесину из старого леса в предгорьях, а еще мой муж договорился с Альбертом, свободным человеком, который работал по найму у Джорджа Рутта, и в окна поставили настоящие стекла. Альберт заявил, что стекла – его свадебный подарок, и нацарапал в углу отметину.

Айрис, Элино́р и Рода принесли охапку матрасов.

– Чтобы постель у тебя была мягкой, – шепнула Элино́р, обнимая меня.

И перьевые подушки. Она не сказала, где их взяла. И маленькую скамеечку.

– Чтобы ты могла дать ногам отдохнуть после... – Ей незачем было произносить «долгого дня». Долгими были все наши дни.

Мы возвращаемся на ферму Роберта Нэша через поселок и забираем на запад. Хижина стоит на краю поляны, из окон льется свет ламп. До нас здесь уже побывали женщины. В кувшин налита вода, в очаг набросаны душистые травы, но огонь не горит: слишком тепло. На столе, накрытом нарядным кухонным полотенцем, разложены хлеб и сыр. Полотенце, насколько я знаю, Айрис «одолжила» у мистрис Роберт. И кровать аккуратно заправлена: на свету белизной сияет простыня, одеяло Айрис, одно из ее особых, расцветкой

напоминающее птиц моего детства, аккуратно свернуто и положено поперек кровати. Все зовет нас прилечь. Отдохнуть, поспать... Или нет...

Джеймс закрывает дверь. Когда он поворачивает ключ, дверь издает тикающий звук, похожий на ход часов. Ни у кого из рабов двери в хижинах запираются не должны, но Джеймс потихоньку договорился с Альбертом, и тот поставил нам замок. Ни мастер Роберт, ни Джордж Раутт не знают.

Мой муж поворачивается, вытирает ладони о бедра и смотрит на меня. И мой желудок начинает выписывать круги. Ведь нельзя сказать, что я еще ни разу не была с мужчиной. Была. И знаю, что женщина и мужчина делают вместе. Я делала... мы оба делали это раньше.

Но не друг с другом.

И вот мы одни у себя дома, и нам никто не помешает, не заглянет без спроса, по крайней мере, пока сразу после восхода солнца не загудит рожок на работу.

Мы стоим молча, неподвижно, в тишине и смотрим друг на друга. Я словно впервые его вижу. Джеймс высокий, кожа у него такая же темная, как у моего народа, а переносица тонкая и ноздри широкие, вырезанные, как у *игбо*. Сильные руки (они меня завораживают), которые могут держать, поднимать и нести огромные тяжести, но при этом нежно, легко, словно перышком, гладить меня по щеке. Когда он мне улыбается, меня кидает в жар везде, во всех местах. Его взгляд не изучает, не пронзает, не притягивает к себе. И все же я знаю, чувствую, когда он здесь, даже если не вижу и не слышу его.

«С мужчиной, которого ты полюбишь, все будет по-другому».

Когда давным-давно Мари Катрин мне это сказала, я не поверила. А теперь верю всецело.

* * *

Я могу рассказать, как любила Джеймса, о нашей хижине, о его необыкновенно умных руках, которые могли и создать, и починить что угодно. Он мог и лошадь усмирить, и колодец вырыть, и бочку сделать не хуже любого бондаря. Оленей и кроликов мой Джеймс ловил как заправский охотник, а стоило ему только коснуться земли, как все

моментально шло в рост и цвело буйным цветом. Своим чудесным голосом он не только прекрасно пел, но и младенцев умел успокоить. И меня. Но когда речь заходит о нашей с Джеймсом близости, о том, как мы с ним... прикасаемся... друг к другу... не могу. Горло сдавливают, во рту пересыхает. Глаза наполняются слезами. Я умолкаю. Дети думают, что я молчу, потому что не помню...

Но как забыть его мягкую шелковистую кожу, теплое плечо под моей ладонью? Его спину, сильные и крепкие мышцы, длинные ноги, которые обвивают меня... Он кончиком языка щекочет мне живот. Ласка. Сладость. Можно ли забыть такого сильного и в то же время нежного человека?

Джеймс берет мою руку, подносит к губам и целует в ладонь. Потом в губы. Потом в самую жаркую, самую пылающую часть моего тела, и я забываю, как дышать. И когда он раздвигает мне ноги, я не боюсь. Я не девочка, я прошла этот путь. И Джеймс не причинит мне вреда. Его дыхание на моей шее не вытащит на свет воспоминаний о темном месте боли, ужаса и стыда. Потому что это Джеймс, и я его люблю. И он меня любит и дорожит мной.

Когда наступает утро, мы откидываем одеяло и расходимся. На бумаге Джеймс принадлежит Томасу Нэшу, а я – Роберту Нэшу. Он работает под руководством мастера Томаса, а я иду туда, куда мне скажут мастер Роберт или новый надсмотрщик Уилкинс. Иногда мы с Джеймсом не видимся по нескольку дней. Мастер Томас отдает его в наем в Ричмонд или Норфолк, или на запад, в Бедфорд. Я иду туда, где должны появиться на свет новые люди или болеют уже появившиеся. Но разлука не имеет значения, мы вместе, даже если не встречаемся.

Гилкрист Уилкинс, новый надзиратель, сделан из совершенно другого теста, чем Дарфи. Невысокий, коренастый, рыжеволосый и уродливый, он переехал в колонию из Шотландии и до сих пор должен два года работы мастеру Уильямсу в Саффолке. Говорит он похоже на Дарфи, но все же не так, а родом из места, которое называет Карденесс. Уилкинс тоже делает Иисусов знак, как и Дарфи, и произносит: «Иисус, Мария и Иосиф!», когда злится. Но ни с кем из женщин не связывается и работает в поле «наравне с нами», а не восседает на лошади, гордо взирая с высоты седла. Иногда мне трудно разобрать его слова и понять их смысл, но он никогда не говорит грубо или громко. Ему нравится Джеймс, ему нравлюсь я, и он пытается

ладить со всеми, утверждая, что он такой же, как и мы. Мы понимаем, что намерения у него добрые, но все же он не такой, как мы. Два года – и он сам себе хозяин. Два года! Мы же никогда не будем хозяевами себе.

Но вот что снова и снова прокручивается у меня в голове. Помимо моей воли. Я до дрожи, до боли хочу ребенка. Каждый раз, когда мы с ложимся Джеймсом, я молюсь матери бога неба, единственной богине, имя которой помню и которой молилась мать, когда рожала. Хочу держать на руках своего ребенка, чувствовать его головку у груди, целовать и обнимать маленького мальчика с носом Джеймса и своим заостренным подбородком. Прошло уже больше двенадцати лет с тех пор, как маленький ангелочек, которого я родила, сделал свой первый и последний вздох. Теперь мне интересно, смогу ли я вообще родить. И если получится... кому будет принадлежать этот ребенок? Нам с Джеймсом? Или мастеру Роберту?

Но я все равно хочу ребенка. Как же сильно я хочу ребенка! Так сильно, что не жую травку, останавливающую крови. Не пью чай, который завариваю для других, чтобы у них не зачинались дети. Представляю все плохое, что может случиться с ребенком, рожденным в этом рабстве, а потом радостно раздвигаю ноги перед мужем, и таю от восторга, когда он входит в меня, и думаю, как замечательно будет держать ребенка у груди. Как это прекрасно.

* * *

Илай^[50] родился через девять месяцев после того, как я первый раз легла с его отцом. Когда он попросился наружу, роды длились два дня, и за это время я еще успела принять ребенка у Артемиды (третьего для Донована Килпатрика), а затем дойти до дома, лечь на свою кровать и благополучно вытолкнуть сынка. Он тут же присосался к груди так, словно в животе у него была полная пустота. Отец так им гордится, что, завидев его, не перестает улыбаться. А через два года появился мой маленький Седрах^[51], причем этот выскочил так быстро, что я едва успела просто присесть. И все, больше никаких детей. Но я довольна. Мои мальчики растут сильными, высокими и умными, как их отец. Быстро учатся. Илай умеет обращаться с лошадьми и

собаками, как волшебник, и Джеймс отправил его к Иеремии обучаться на конюха. Седрах, как и отец, может взять что угодно и превратить в инструмент, механизм, изящную вещицу. У него золотые руки. И оба моих мальчика учатся читать и писать. Это противоречит законам Вирджинии, противоречит правилам братьев Нэш, но мы все равно отправляем их в одно тайное место, где свободная цветная женщина преподает по ночам. Туда, куда своих детей водит учиться Артемида.

Быстрее всего время летит, когда кажется, что оно идет медленно, ползет, как старая черепаха. Оно вроде бы тянется так медленно, что ты почти не замечаешь проходящих дней, меняющихся времен года, бури, которая перевернет всю твою жизнь, а потом наступает засуха, одна из худших, по словам фермеров... Но ты забываешь.

Одной дождливой весной прошел мор, болели все, даже я. Он унес всех младенцев в материнских утробах, прежде чем я успела его остановить. Умер старик Раутт, и мастер Джордж тоже. Один из малышей Айрис. Сэди. Плохое было лето.

А время идет вперед, и я забываю, потому что жизнь тоже идет вперед. У мистрис Джанет Маккей в животе зачалась опухоль, которую она считает ребенком, хотя в ее возрасте это невозможно, ведь она уже перестала носить крови. Думаю, она так сильно хотела ребенка, что тело решило ее порадовать и притворилось, будто дает ей дитя. Такое изредка случается, только не в этот раз. В ней что-то растет, да, но не ребенок. Маккей позвонил старому доктору из Франклина, и ему не понравилось, что тот сказал; он позвонил новому молодому доктору из Норфолка. Тот сказал то же самое, что и я. Госпожа умерла. Ее похоронили в семейном склепе, и мастер Оуэн, который вроде бы никогда особо и не радел о жене, превратился просто в какое-то воплощение скорби, вроде одного из каменных идолов во дворе. А потом заперся в доме и запил.

Сын Айрис Авденаго вырос, завел жену и ребенка, но их продали в округ Питтсильвания. Мастер Роберт собирается и его самого туда продать. Элизабет Роза Нэш подрастает, как придорожный сорняк, и станет до жути избалованной, потому что она последний ребенок, но хоть не злая. А мои мальчики, мои Илай и Седрах растут высокими и сильными, мой Джеймс рядом, мы тихо и скромно живем в маленькой хижине на клочке земли, который принадлежит мастерам Роберту

и Томасу, много работаем и откладываем любую монету, которую получается заработать, и размышляем о том, как найти способ стать самим себе хозяевами.

Пришла и ушла война, и было много разговоров о независимости и о том, чтоб колониям не платить налогов, раз у них нет права голоса^[52]. Белые англичане маршировали в красных мундирах. Остальные мужчины маршировали в любых мундирах, которые смогли найти. И все они, собравшись небольшими кучками, рассуждали, что неплохо бы раздать неграм палки, вилы и мушкеты. Джеймс сходил на одно такое ночное собрание, где кое-кто из людей короля предлагал позвать на войну и чернокожих. Обещали еду и зарплату. Землю и награду. И еще – свободу. Так говорили люди короля.

Ополченцам Вирджинии нужна помощь чернокожих мужчин, но это и все, что им нужно. Джеймс сказал, подумает. Я сказала, не вздумай, белые сами заварили эту кашу, пусть сами и расхлебывают.

Так оно и вышло. Одним чернокожим, которые решили помогать людям короля, пришлось уехать в его страну, других отправили на север, где холодно. А остальные остались с чем были и все так же принадлежат другим, а не себе. Вот вам и свобода.

Я помню корову Авраама. Авраам, будучи свободным человеком, обзавелся двухкомнатной хижинкой, женой и мальчиком. Купил собаку и кусок земли, чтобы собирать урожай. Пришли вирджинские солдаты и наобещали ему всякой награды и добра, когда они победят людей короля. И Авраам отдал им свою корову. Бой начался, бой закончился. Солдаты ушли. Авраам не получил ничего. Да еще и без коровы остался.

Я и любила маленькую бухту у Быстрого ручья возле Ньютоновской мельницы, и ненавидела ее. Мне нравилось, как шумят и пахнут зеленью деревья, как колыхнется на ветру трава на болоте, когда солнце теплое и уютное. Утром меня будил щебет птиц, и была там маленькая желтая птичка, которую здесь называют «щегол» и за которой мне нравилось наблюдать. Когда Илай и Седрах были маленькими, я, уходя собирать травы, брала их с собой. Мы смотрели, как эти щеглы перепархивали с ветки на ветку, с дерева на дерево, словно играющие дети. Илай учился считать, и я учила его английскими словами его отца и моими родными словами. «Одна желтая птичка, две желтые птички...»

Водные просторы скрывал утренний туман, с восходом солнца исчезающий, как по волшебству. Ночью, если было прохладно, верещали и поскрипывали сверчки. Если стояло лето, в удушающей жаре звенели цикады, квакали и шипели жабы. Летающие жуки сверкали золотистыми брюшками, словно гроздь цветов, распускающихся в ночи.

Но Ньютоновскую мельницу я ненавидела больше, чем любое другое место, где мне довелось жить со времен Рифа Цезаря, потому что стояла она очень близко к воде и был виден маленький остров и просторы за ним. Это напоминало мне Уиду, а потом Саванну, где швартовались белопарусные корабли. Соленый воздух, заполняя легкие, возвращал счет дням отсутствия и мысли о родителях, сестрах, Джери, – обо всем, что я потеряла в темных водах. Низина возле мельницы была красивой, зеленой и спокойной. Я слушала, как перекликаются водоплавающие птицы, как, пролетая мимо, поют песни о любви. Но их песни заставляли меня плакать.

В то утро я проснулась вместе с солнцем в каком-то слезливом настроении и с тяжелым сердцем и мрачным видом отправилась в главный дом. Там собрала яйца, помогла Альберту, Хьюзу, Белянке Энни и остальным с кукурузой, а другой Энни – поймать для Айрис курицу на ужин, затем мистрис Марта отпустила меня собирать траву

и корешки для моих снадобий. Эту женщину всегда что-то беспокоило: то сердце вдруг затрепещет, как заячий хвост, то голова разболится, то потом обольет, не говоря уж о привычном несварении. Марта Нэш, уверенная, что ей недолго осталось и она непременно вот-вот умрет, была просто каким-то комком нервов. Ее бедная голова не знала ни минуты покоя, в ней постоянно крутились тревожные мысли. Я успокаивала: «Да ведь мы все покинем этот мир, все, просто в разное время». Но она не унималась, и пищеварение у нее было в полном беспорядке, а остальное нутро и того хуже. Никакие мои снадобья не помогали надолго.

Мистрис Марта утверждала, что сассафрас и мои мятные чаи облегчают ее страдания, а ягодный компот приводит кишки в нужное движение. Поэтому я полдня провела, собирая ягоды, обрывая зелень водяного хрена и выкапывая устриц пустыми раковинами из-под них же. Закончив, осторожно промыла эти раковины и вернула в воду. Потом разогнулась, осторожно потирая ноющую и хрустящую поясницу и размышляя, как же я скучаю по своим «помощникам», своим мальчикам, которым нагибаться да приседать на корточки куда легче, чем мне было даже в юности. Спина у меня стала болеть довольно часто, что и неудивительно. Все-таки сорок лет за плечами. Стара уж.

Сегодня я была одна. Нэш отправил Джеймса, Илая с Седрахом и еще нескольких на ферму на границе округа за кукурузой с участка, который принадлежал ему. Они ушли на сутки, и я скучала по ним, по мальчишечьему смеху и забавам, по теплой руке Джеймса на моей спине. Однако, надо признаться, все же приятно иногда побыть в одиночестве, самой себе хозяйкой, прислушиваться к собственным мыслям на фоне птичьего гомона утром и потрескивания угасающего огня ночью.

– Ты как паук, Мариам, – поддела меня Энни. – Сплела сети и сидишь в центре, радуешься.

Я улыбнулась и, растопырив пальцы, как паучьи ноги, подняла их к ее лицу.

– Еще нет, вот поймаю себе муху, тогда порадуюсь! – поддразнила ее в ответ.

Так что день у меня был тихий, плавно перешедший в тихую ночь, когда мастер Нэш и большинство мужчин ушли, а госпожа у себя в

комнате пыталась привести в порядок разгулявшиеся в очередной раз нервы. Я дала ей успокоительный чай и теперь наставляла Айрис.

Та поднесла к свету пакетик, который я подготовила, и осторожно потрясла.

– А если будет мало?

Я медленно покачала головой.

– Этого достаточно. Если дать больше, кишечник у нее совсем расстроится. Зачем лишнее страдание? Если будет плохо засыпать, завари ромашку.

Половина «хворей» мистрис были не серьезнее комариного укуса.

Айрис кивнула и положила пакетик на полку рядом с банками помидоров и огурцов. Потом отдернула занавеску и глянула в окно.

– Мариам, уже темнеет, иди-ка ты домой. После дождя комары злючие, того гляди сожрут. Свет нужен? – и она показала на тусклую лампу на столе.

– Нет, я дорогу найду даже с закрытыми глазами. Пока, увидимся утром.

Я действительно знала дорогу как свои пять пальцев, как и местные растения, животных, людей – черных, белых и всяких – вокруг и на фермах Нэша. Иногда сама поражалась: неужели я здесь уже так долго? Я ухаживала за больными и принимала детей на каждой ферме и плантации от нас до Линчберга. Здесь я соединила свою судьбу с Джеймсом, здесь дала жизнь сыновьям. Порой даже забывала, что родилась-то совсем в ином месте. А когда вспоминала, расстраивалась. Последние два-три года мне мало попадалось тех, кто, как и я, оказался здесь, пропутешествовав по темным водам. Похоже, едва ли не каждый темнокожий, встречавшийся мне, родился здесь, в этой Америке, а некоторые успели породниться с розоволицыми и приобрести их черты – как Беянка Энни, с ее веснушками и волосами песочного цвета. В такие ночи, как эта, идя в одиночестве по грязной дорожке между главным домом и поселком к Уголку Мюррея, я иногда задавалась вопросом, что случилось с остальными моими тогдашними спутниками и с теми, что немало значили для меня в этом месте, кроме Джеймса и сыновей. Где Цезарь? Куда девалась Мари Катрин, добралась ли до Нового Орлеана, встретила ли с детьми?

Джеймсу не нравилось, когда я начинала вот так копошиться в воспоминаниях, он говорил, что не дело жить прошлым. Что мне

следует... отпустить печаль, потому что мальчики нервничают. Хотя нервничал в основном он.

– Мама, ты чего плачешь? – удивлялся Илай, вытирая слезы с моих щек.

Мы с Джеймсом встретились глазами, тот улыбнулся и дернул сына за волосы. Илай вскрикнул.

– Ой! Папа! Перестань!

А муж расхохотался своим особым раскатом из глубины груди, который мне так нравился.

– О, твоя мама, сынок, такая загадочная. С ее представлениями, зельеварениями и африканскими обычаями.

Я качаю головой, и его взгляд смягчается. Он понял.

– Она просто думает о своем доме, мальчик, вот и все.

Глаза у Илая удивленно распахиваются, лицо кривится в недоумении.

– Но наш дом здесь, вот он.

Мой прежний дом, говорю я себе, думая, что мои сыновья не в силах и представить себе в качестве дома иное место, кроме этой хижины на ферме Нэша. Что у матери был какой-то другой дом, где-то еще.

Рядом с водами Ньютоновской мельницы у меня всегда к горлу подкатывал комок: как же далеко меня завезли и как давно это было. Сколько восходов солнца миновало? Я пыталась сосчитать, еще тогда, на корабле, но отчаяние и темнота спутали все цифры. Где Джери выбросили за борт? Ее тело уплыло домой? А ее дух... Меня охватывала такая печаль, что я на несколько дней погружалась в полное, ну, или почти полное молчание. Джеймс пытался понять, но где ему. Он-то и родился в Джорджии, а его мать и отец – в Вирджинии. И мальчики, взрослея, пытались меня понять, но они тоже появились на свет здесь. Я учила их своим словам, словам языка *эдо*, но лепетать-то начали они на английском, на языке отца и соседей. Мои слова были для них странными, звуки смешными для их ушей и трудно складывались в их устах. Время шло, ребята становились все старше, а мне становилось все труднее объяснять, что это значит... быть откуда-то еще. Из такого далека, что у этого места и названия-то нет. В такие дни мне казалось, что моя голова укутана тяжелым одеялом, которое отрезало меня от мира и оставило во тьме. В такие

дни я чувствовала себя совершенно одинокой. Вокруг люди, много людей. А я одна.

Тем вечером, прокручивая все эти мысли, я вернулась в хижину усталая, немного грустная. Сумерки сгустились, но света еще хватало, и я заметила, что дверь чуть приоткрыта.

Поначалу, когда Нэш подарил нам с Джеймсом жилье в Уголке Мюррея, оно мне не очень-то понравилась. Отстояло далековато от всех. А когда родились дети, и вовсе злилась: почему это моим мальчикам приходится ноги снашивать? Но шли дни, годы, и я поняла, что лучше не быть на виду. Отсутствие соседей дало мне ощущение некоторой свободы, позволило быть собой и делать то, что следовало.

Я знала, что за моей спиной и когда не слышит Джеймс Нэш называет меня африканской ведьмой. Мастер, конечно, не настолько глуп, чтобы верить, будто я летаю на помеле, или на венике, или другой какой ерунде, вроде тех белых ведьм, о которых говорили люди, но считал, что мне лучше жить как можно дальше от главного дома и других белых людей. Видать, думал, что на расстоянии сложнее наложить заклятие. Вот никто, кроме меня, и не увидел этой приоткрытой двери.

Я отставила корзину в сторону, вытащила нож из кармана фартука и медленно толкнула дверь на случай, если петли заскрипят.

Иногда в полях появлялись бродяги, шлявшиеся туда-сюда. Но они безвредны, разве что посидят под дубом неподалеку, отдыхая. Случалось, забегали заблудившиеся или удравшие с другой фермы дети, когда темнокожие, а когда и нет. Таким я показывала дорогу или провожала. На этот раз все было по-другому. Воздух вокруг меня мерцал, двигался, дул прохладный ветерок. Я втянула голову в плечи, сама не знаю почему.

– Кто ты и что тебе нужно? – Я направила лампу в угол хижины.

Пламя сильно мерцало, не освещая самой дальней стены. Высокая темная фигура, застыв неподвижно, прижалась к ней рядом с очагом, и в отражении лампы светились два глаза. На мгновение меня охватил страх, припомнились истории о демонах, которые могли поймать меня в лесу и съесть, – так мои братья пугали малышей. Но тут демоном и не пахло. Что бы это ни было, оно жило, дышало и ходило на двух ногах.

– Я не причиню тебе вреда, сестра. Прошу только немного воды и еды. – Голос был грубым и низким, рычал шепотом.

– Откуда ты? – спросила я, используя те немногие слова, которые знала на языке пришельца.

– Ты говоришь на моем языке.

– Я спрашиваю.

– Я убежал... с корабля, который стоит на мели в болотах к югу отсюда, в месте под названием Совиный ручей.

Я замерла. Даже до меня дошла история Совиноного ручья. Ее пересказывали на севере по всему побережью до Вирджинии и на западе до Джорджии, она, как зараза, распространялась по поселкам и городкам, пугая Нэша и других плантаторов гораздо больше, чем всякая чепуха о возвращении армий английского короля или набегах индейцев тускарора. Я оглянулась через плечо, но дорога была пуста, лишь в некоторых хижинах за поворотом сквозь занавески мерцали редкие огоньки свечей. Быстро вошла внутрь и закрыла дверь. Затем подняла лампу как можно выше и повернула к углу, где дрожал в прохладном вечернем воздухе незнакомец. Прикрывавшие его жалкие тряпки были грязны и изорваны в клочья, руки и ноги исцарапаны и покрыты язвами. С одной ноги текла кровь. Лицо длинное, худое, глаза запавшие, на обеих щеках какие-то знаки. И я их узнала. Татуировка *игбо*.

– Ты говоришь на моем языке, – повторил он. Медленно и с явным трудом развернулся и выпрямился. Несмотря на худобу и травму, он был высок и крепко сложен.

– Очень немного.

Я поставила корзину и лампу на стол и уставилась на него.

– Работорговец сел на мель несколько месяцев назад, – медленно выговаривала я, пытаюсь найти правильные слова. – Далеко отсюда. Где ты был все это время?

Я налила в чашку воды и протянула ему. Мужчина взял посудину обеими руками, проглотил, чуть не подавившись, и благодарно кивнул. Я снова наполнила чашку.

– Заблудился, бродил. По болоту.

От его шипяще-рычащего голоса у меня по коже побежали мурашки.

– Долго же ты бродил. А еще кто-нибудь... Другие... вроде тебя?

Болото находилось к югу от Зловещей трясины. Оно покрывалось буйной растительностью и расцветало, когда в него приходили воды залива. Но оставалось коварным и опасным и жарким летом, и в холодную пору при высокой воде, и в лучшую погоду. На болотах водились змеи, большие кошки, рыскавшие по ночам, а кое-где по берегам бродили *эль лагарто*, огромные ящерицы, которых белые называли «аллигаторами».

– Были, – ответил парень, снова осушая чашку. – Но сейчас я их не вижу. Не знаю, куда они ушли. – В голосе у него слышалось отчаяние. Он взял ломоть хлеба, который я отрезала для него, и стал удивленно рассматривать. Я усмехнулась и села.

– Хлеба, что ли, никогда не видел?

Он смотрит на меня, затем снова на хлеб, вцепившись пальцами в корку, словно боится, что кусок исчезнет.

– Видел... только очень давно.

Я киваю. Поскольку хорошо знаю, что такое долго обходиться без пищи, а потом ее получить. На работорговце нас не кормили целую вечность, и когда наконец дали хоть что-то, наши желудки не выдержали. Будто тело научилось жить без пищи, хотя голод убивал нас.

– Как хоть тебя звать?

– Калу.

Я достала из корзины чистые тряпки и налила воды в миску.

– Меня зовут Мариам. А твою рану нужно осмотреть.

Я поставила лампу на пол рядом с ним и опустилась на колени, чтобы обследовать его ногу. На свету она выглядела, признаться, паршиво – воспаленная, опухшая, местами даже почернела. Мужчина застонал, когда я прикоснулась к ноге. Горячая.

– Расскажи-ка... что случилось, – попросила я, обмакивая тряпки в воду и начиная обмывать ногу и чистить рану. Конечно, ему было больно, но я надеялась, что, разговаривая со мной, он на время отвлечется и перестанет думать о боли. А я, наоборот, сосредоточусь и попробую сообразить, что же с ним делать. Прятать беглеца в хижине нельзя, даже если очень хочется. Слишком опасно. Если поймут, повесят обоих. Надо что-то предпринять. Утром должны вернуться Джеймс и мальчики. Дети не умеют хранить секреты. А у собак Нэша отличный нюх, и они везде бегают свободно. Им ничего не стоит,

добежав до моей двери, учуять новый запах и начать истошно лаять, объявляя всем о своей находке.

Однако Калу голодал, и ему было плохо. Непостижимо, как он до сих пор выживал на болотах. Но с такой ногой его хватит ненадолго. Я налила воды в горшок и поставила на огонь, а затем взяла ивовой коры. Если бы получилось сбить у парня жар, шанс бы появился. Между тем совсем стемнело. Хорошо. Как бы там ни было, а я сделаю, что нужно. Просто надо успеть до того, как снова взойдет солнце.

* * *

Высокий корабль приплыл из места под названием Эль Эльмина^[53], о котором я слышала от других местных жителей. Корабль прозывался «Цитадель», а капитаном был человек по имени Фарр. В трюм работорговцу набили более сотни пленников, и от Эльмины он направлялся в место неподалеку от Саванны. Тамошний торговец уже расплатился. На большинстве работорговцев «груз» был из людей разных наций, говорящих на разных языках, как, например, на «Мартине». На «Цитадели» же везли одних *игбо*, причем вместе с вождем. Здесь, в Америке у *игбо* репутация бунтовщиков.

– А ты ведь не отсюда, – заметил Калу, вздрогнув, когда ткань коснулась его кожи, хотя я пыталась как можно осторожнее счищать ил и грязь с его ноги. Вообще-то, волноваться уже не стоило: чем чище становилась его рана, тем яснее я понимала, что не в силах ему помочь.

– Да, из *эдо*, – кивнула я.

– А-а, – слегка улыбнулся он. – Наши люди когда-то были врагами.

– Теперь это ничего не значит, – хмыкнула я.

Когда корабль приблизился к берегу, некоторые люди *игбо* приняли береговую линию здешних низин за берег родной земли и, воодушевившись ее близостью, решили захватить корабль. Несмотря на цепи и ножные кандалы, они одолели команду. Корабль сел на мель у одного из барьерных островков, *игбо* отправились на берег, празднуя и распевая, полагая, будто вернулись домой. Но когда местные жители, узнав о бедствии, вышли из леса, *игбо* поняли, что это не их дом.

– Я стоял в воде по пояс, – и он дотронулся рукой до своей талии, его странный хриплый шепот, видимо результат лихорадки и севшего голоса, раздирал мне уши. – Но не боялся. Я был уверен, что мы дома и Чукву защитит нас. Но ошибся. Мы были в... этом месте. А белые пришли на берег, чтобы купить нас, а не помочь нам. И тогда вождь крикнул: «Пора! Мы отправимся домой по воде!»

Я затаила дыхание, когда он произнес эти слова. Я уже слышала их раньше от других, которые шепотом рассказывали эту историю за многие мили отсюда. *Игбо*, скованные вместе, распевая, вошли в воду и отправились на дно.

– Мои люди обратились к Чукву, чтобы тот защитил нас. – Калу закрыл глаза и опустил на спинку стула. Он был измотан. – Вода нас принесла, вода и унесет. Вода нас принесла, вода и унесет...

– И ты... зашел в воду... – Слова застыли у меня на губах.

Он кивнул. Воздух вокруг мерцал.

– Думал: вот сейчас засну, а проснусь вдали от этого места. Но я все еще здесь.

Калу открыл глаза, и даже в тусклом свете было видно, как он растерян и удручен. Мужчина хотел вернуться домой или умереть. Но домой не вернулся.

Я заставила его выпить отвар от боли и жара. Он заснул, сидя у стены, хотя я уговаривала его лечь на койку Седраха. Я накрыла его одеялом, загасила огонь и уселась в кресло. Успею проснуться до восхода солнца. Повитуха должна уметь спать в любом положении и месте: стоя, лежа на полу или сидя в кресле с жесткой спинкой. Я закрыла глаза и увидела во сне гусей и уток, перекликающихся друг с другом, жаб, квакающих в темноте, и людей *игбо*, с песнями идущих по мерцающим водам.

«Вода нас принесла, вода и унесет».

– Мама! Мама! – Голоса Илая и Седраха ударили в уши, словно крики ястреба. Я же не собиралась спать долго. Да вовсе не собиралась спать, так, вздремнуть, как кошка на солнце. Ошеломленная, я вскочила так резко, что комната закружилась. Сердце заколотилось в груди как бешеное.

Что же делать-то с этим *игбо*?

Сыновья не дали мне времени разобраться.

– Мама! Мы... – Илай, тараторя, врезался в меня и обвил тощими руками за талию. – Папа говорит...

– А Седрах влю...

– Ничего подобного, не ври! – Это уже Седрах, который тоже обхватил меня, уткнувшись головой в грудь. А мальчик-то здорово подрос.

– Мариам, я скучал по тебе, – пробился сквозь их смех голос Джеймса. – И наши очень непослушные сыновья тоже.

Я была в панике. В углу хижины лежит Калу, посторонний, незнакомый мужчина, сыновья сейчас забегут туда и что подумают? Хуже того, что скажут? Да и Джеймс...

Прежде чем я успела объяснить, что там за мужчина спит в углу, в куче тряпок, Джеймс подхватил меня на руки и поцеловал в лоб.

– Моя прекрасная жена, мы вернулись, а ты спишь себе, словно какая-нибудь мистрис Нэш! – дразнил он меня, вертя головой и оглядывая комнату. – Огонь не горит, вода не набрана... чем ты тут, интересно, занималась?

Слова и дыхание застряли у меня в горле. Как объяснить... Я повернулась к очагу у задней стены и резко выдохнула. Там никого не было. Я перевела взгляд в противоположный угол. Пусто. Ни человека, ни тряпок, ни... Одеядло, которым я накрыла Калу, аккуратно сложено на стуле. Чашка, из которой он пил, стояла на столе, совершенно сухая, рядом с куском хлеба, который он держал в руках и так не съел.

– Мариам? Что это такое? – Муж от беспокойства нахмурил брови. – Ты заболела?

– Нет, я... – В голове пронеслись последние несколько часов, когда я мыла мужчине ногу, наливала ему две чашки воды и отрезала толстый ломоть хлеба от буханки, которая теперь лежала, накрытая полотенцем, посреди стола... Он ушел, не разбудив меня. Я сплю чутко, этого требует мое ремесло. Я бы услышала, как он поднялся на ноги. И дверь... Осторожно оттолкнув Джеймса, я подбежала к двери и медленно открыла. Она скрипела. Джеймс усмехнулся.

– Ах так, женушка. Напоминаешь мне, значит, что нужно смазать петли. Мариам? Мариам, в чем дело?

Ходили разговоры. Некоторые *игбо* пережили прогулку по воде, их вытащили на берег и продали. Другие убежали, но их поймали и повесили, а головы выставили на кольях в качестве предупреждения.

Но поговаривали и что кое-кто из утонувших *игбо* до сих пор ходит там, распугивая рыбу звоном цепей, а песнями нагоняя страх на любого, кто вздумает гулять по болотам в темноте. Да, Совиный ручей отсюда далеко. И все же я обхаживала какого-то заблудившегося *игбо*, который искал дорогу домой через поля, топи и темные воды.

Меня вновь охватил тот же холод, что и вчера вечером, когда я подошла к хижине. Я изо всех сил втянула воздух и застыла, не в силах выдохнуть от волнения. Дала ли я приют ангелу, сама того не понимая, как рассказывается в библейских историях моего Джеймса? Или меня посетило привидение? И что принесло мне это видение? Благословение или проклятие?

Пятнадцатого сентября, примерно в 1794 году от рождества их Господа, урожай табака Роберта Мюррея Нэша сгорел, и его кредиторы потребовали вернуть ссуду. Спасая семейное гнездо, мистрис Нэш продала свою серебряную посуду и небольшой участок земли, оставленный ей старшим братом, но этого не хватило. На недостающую сумму, около пяти тысяч долларов, Роберт Нэш продал рабов: двух женщин, четырех мужчин и трех мальчиков, включая моего мужа Джеймса и моих сыновей, Илая и Седраха. Однажды утром их отвезли на работу на участок Нэша в округе Питтсильвания, а там погрузили в фургоны и отправили на аукцион рабов в Данвилле. Я ощутила это всем своим существом, когда увидела, как Нэш в тот вечер возвращается с пустой повозкой.

На следующий день, едва взошло солнце, я, распевая песню *игбо*, вошла в воды Быстрого ручья у Ньютоновской мельницы.

Часть III

Ведунья

Один мой ребенок похоронен в Кентукки, и мне отрадно думать, что он уже в могиле. А вот другое мое дитя продали неизвестно кому невесть куда, и об этом я думать не в силах.

Слова Льюиса Хейдена^[54], цитируемые по работе Чарльза Л. Блоксона^[55] «Подземная железная дорога: рассказы от первого лица о побегах на север к свободе» (1987)

1

Завтра

Меня обнаружила Айрис. Удивилась, когда я не принесла измельченные листья для утреннего чая госпожи, и пошла поискать на берегу Быстрого ручья, подумала, не пополняю ли я там запасы трав. Говорила потом, что, увидев меня, лежащую под водой, аж затряслась от страха. Я не крупная женщина, но Хьюз и Уилкинс, оба рослые и здоровые, с большим трудом вытащили меня из болотных вод. Айрис сказала, что им пришлось непросто: одежда намокла, отяжелела и очень мешала. Я, конечно, никому не говорю, но уверена, что меня удерживали не сырые тряпки, а духи утонувших *игбо* – они хватили меня за руки и за платье и держали, желая, чтобы я присоединилась к ним на пути домой.

Я выкашливала воду, водоросли и грязь, спала несколько дней и, по словам Айрис, пришла в себя нескоро. Не помню зеленых стеблей водорослей, обвивавших мне руки и ноги, цапель, которые склевывали насекомых, плавающих по поверхности воды. Не помню сильных рук Уилкинса, так стиснувших мне талию, что на теле остались синяки. Помню только, как стояла на берегу и сквозь пену волн вглядывалась за барьерный остров в сторону Атлантического океана, а в ушах гремела песня *игбо*, туфли уплыли, ноги промокли. Стояла и думала, чего еще я могу лишиться в этом месте.

– Мариам, ты должна поесть.

Давно она там стоит? Я покачала головой.

Айрис вздохнула и поджала губы.

– У тебя три дня ни крошки во рту не было, и воды нет приготовить хоть что-нибудь, – произнесла она строгим голосом, чуть кривя губы. – А госпожа вот-вот скулить начнет, потому что у нее закончился чай, тот самый, который приводит ее кишки в нужное движение. Она говорит, что я все делаю неправильно. Мариам.

Я подняла на нее взгляд.

– Ты должна вернуться к нам. Должна.

Я знала: она думает так же, как и все. Я умерла, а теперь снова ожила. Но я уже не та Мариам. И никогда не буду прежней. Я вновь

посмотрела на Айрис. Она тоже переменялась, лицо стало тоньше и темнее, на нем выделялись большие карие глаза и красивый рот. Она вдруг напомнила мне женщину *фула*, которая принесла мне воды после того, как моя сестра умерла на работорговце и португальские моряки выбросили ее тело в море, а я тоже умерла.

«Мы уж думали, ты совсем ушла».

После смерти Джери я стала другой. И теперь это произошло снова. Айрис это понимала. Я видела по ее глазам.

По страху в них.

С того дня все на ферме Нэша и в округе относились ко мне как к ведьме, о чем, собственно, и всегда шептались. Я стала живым призраком. К мистрис Нэш вернулись и даже усилились все ее хвори. Я не сразу поняла, что она попросту выливали мои отвары и чай, потому что боялась. На ферме Килпатрика родился ребенок, еще двое – в поселке одной большой хлопковой плантации на юге. На роды позвали других повитух. Никто не хотел, чтобы их детей принимал живой призрак или ведьма.

А как я могла остаться той же? Моего мужа забрали. Моих детей, моих мальчиков, забрали. Неизвестно куда...

«К югу отсюда» – это все, что мог мне сказать Уилкинс, даже он не знал. К югу отсюда находились Алабама, Луизиана и Миссисипи, простирались мили хлопковых полей Средней Джорджии, мерцающие белизной под лучами летнего солнца, и уродливые, труднопроходимые поля сахарного тростника, чьи острые листья так часто режут и рвут темную плоть во время уборки. Нет, я была уже не та. И той больше никогда не буду.

Со временем я выздоровела, вернулась в себя, как выразилась Айрис. Со временем мистрис Марта перестала выливать мой чай, люди снова посылали за мной, чтобы я ухаживала за их роженицами, лечила их недуги и сидела с их умирающими. Но все равно ходили слухи, что с головой у меня не в порядке. И еще кое о чем.

Однажды вечером, уже начало смеркаться, меня окликнул еще один *игбо*, женщина. Пряталась на дереве у моей хижины. Замерзшая, голодная, вся в царапинах, которые следовало обработать. Женщина сбежала от хозяина из Северной Каролины, он годами ее избивал и грозился вообще убить, вот она и решила, что лучше пусть ее убьют свободной, чем как рабыню. Прослышала о тропе, о какой-то дороге,

по которой темнокожие уходят на север, в Канаду, где холодно, но нет рабства.

Я слушал ее, вспоминая слова *игбо*, которые говорил Калу... призрак. Наблюдала, как она осторожно выпила воду, съела два ломтика хлеба. Я сказала, что до восхода ей нужно уйти, и она согласилась.

«Пойдем со мной, сестра, – позвала женщина, впиваясь в меня глазами, полными умной энергии. – Мы уйдем на свободу вместе. Что тебя здесь держит?»

У меня не было ответа. Теперь при мне оставалось только имя, которого никто не знал, и только та жизнь, которая была, пока я не ступила на палубу «Мартине». Чтобы унести это «имущество» с собой, даже мешок не понадобится.

Что еще со мной могли сделать? Мне не исполнилось и двадцати, а меня много раз избивали, дважды продавали, один мой ребенок умер, и еще двоих я потеряла из-за хлопкового рабства. Пропал и мой мужчина. Оставалось только убить.

Женщина *игбо* ушла до восхода, выскользнув из хижины, как кошка. Я спала. Дверь не скрипнула, потому что несколько месяцев назад Джеймс ее смазал.

Через несколько недель появились мужчина и мальчик, еще месяц спустя – женщина *менде*, слов которой я не знала, с сыном. Людей убегало так много, что землевладельцы организовали отряд поисковиков-добровольцев.

Оуэн Маккей и остальные всякий раз, когда случался побег, выпускали своих собак на Ньютоновскую мельницу. Злобные псы носились по полям и садам, вставали на задние лапы и пытались выломать двери. Двое как-то раз промчались через хижину Лулы, опрокинув стулья и стол, расколов посуду, порвав и пожевав постельное белье и одежду, чуть не до смерти напугав Салли, четырехлетнюю дочку Лулы. Собаки носились по поселкам, скакали, как дикие лошади, не заботясь, по чьим владениям топчутся. Под их лапами пали розы госпожи Нэш и ее так называемый английский сад. Марту Нэш все это ужасно выводило из себя. «Преследуйте негров, – кричала она Маккею, – но не портите мне розарий!»

Но к моей хижине собаки не приблизились, как хозяйева их ни науськивали. Обежали широким кругом, понюхали, опустили большие

головы, заскулили и помчались дальше. Нэш потом всем говорил, что это потому, что я ведьма и наложила заклятие на свое жилье. После того, как Джеймс и мои мальчики ушли, мне было все равно, считает он меня ведьмой или нет. Я-то знала, что псов прогнали вовсе не чары и не злой дух. Кухня Мари Катрин произвела на меня неизгладимое впечатление, но очень быстро я поняла, что ее «варева» далеко не всегда были едой. «Нет! *N'est pas mangez!*^[56] Не трогай!» Сколько раз я слышала это предупреждение на креольском, французском, английском и португальском языках? «А что это?» – вопрос, который я задавала ей, наверное, столько же раз, сколько звезд на небе.

Ее уроки до сих пор служат мне.

«*Attencion*^[57]. Не спрашивай, что это такое, *ma petite Marie*^[58], спроси, как оно действует». И Мари рассказывала, для чего предназначен тот или иной отвар, чай, снадобье или бальзам, как их готовить, учила правильно отмерять и сколько чего использовать для мужчины, женщины, ребенка или животного. «Практически у всего есть свое предназначение: у каждого растения, даже у того, что все называют сорняками, и у придорожной пыли», – учила она меня. В том числе и тому, как запахом сбить собаку со следа.

Вот только непонятно, откуда Мари Катрин это знала и зачем ей это было нужно. Ведь она родилась свободной на Гаити, ее отец и дед были белыми французами. И сама она – с прямыми светло-каштановыми волосами, почти всегда спрятанными под белым тюрбаном, острыми чертами лица и темными, как эбеновое дерево, глазами – выглядела почти белой. Когда я сказала об этом своем наблюдении, глаза ее, излучающие тепло в мою сторону, моментально остыли и стали холодно-черными, как обсидиан.

«*Maman* преподала мне хороший урок насчет *les blanches*^[59], – от сильных эмоций голос ее звучал чуть сдавленно. – Для *les blanches* я цветная. И даже достаточно черная. Чтобы подвергнуть... обработке. Чтобы... купить и продать. *Et maintenant*^[60]».

Мари объяснила, что училась этому искусству у матери, которую учила ее мать, знахарка из Дагомеи, поклоняющаяся *лоа Легбе*^[61], а ту во время набега захватили в плен португальцы. Добравшись до Гаити, а потом до Ямайки, она и другие сбежали в горы и создали собственную общину без белых людей, где и жили в своем мире. На

самой Ямайке я не бывала, только в местах неподалеку, но даже до меня доходили слухи о свирепых маронах, живущих за туманом гор.

«Когда я была *très jeune*, очень маленькой, – продолжала Мари Катрин, – плантаторы иногда устраивали набеги на нас. Приходили с оружием и собаками». Она усмехнулась, ее глаза слегка остекленели при этом воспоминании. «Когда они нас находили, а это случалось нечасто, то *les chiens*^[62] отказывались нас выслеживать!»

Лучше всего действовали сушеный красный перец, гниющее мясо и густая слизь, выжатая из желез сурка, опоссума или скунса. Все это смешать и нагреть. Когда Мари готовила зелье, Цезарь опрометью убегал. От этого запаха желудок могло вывернуть наизнанку даже у слона.

«Это лучше всего делать на открытом воздухе, подальше от жилья, – говорила Мари с озорной улыбкой на губах. – Или в пещере, где тебя никто не увидит».

«И не унюхает!» – сдавленно выдохнула я, выбегая из комнаты; желудок скрутило. Мари рассмеялась, словно колокольчики зазвенели.

«Точно! От этого у собак аж слезы потекут, – сказала она, позвав меня обратно. – Много не наливай. По капельке через каждый фут вокруг хижины или проема, который хочешь защитить. А если самой придется бежать, моя Мариам? *Eh bien*^[63]. Размажь по себе несколько капель, – продемонстрировала она, проведя рукой в области сердца. – *Сотте ça*^[64]. Этого достаточно, чтобы и собака, и лошадь отвернули в сторону».

И вот, когда к моему дому пришли искать женщину *игбо*, мужчину, его сына и женщину *менде*, собаки убежали, скуля. И Роберт Нэш, недолго думая, принял, по его мнению, разумное деловое решение. Продал меня.

За всю жизнь меня похищали, покупали и продавали пять раз, так что аукцион в Вигфолл-Тернинг ничем особым мне не навредил. Торговец тыкал и подталкивал нас – я отшвырнула его грязную грубую руку от своих интимных мест и зарычала, когда он попытался расстегнуть мне платье. Он замахнулся, но я придавила пяткой носок его ботинка, и он передумал. Не стоит портить товар перед покупателями. Поэтому он расхаживал взад-вперед, как петух на рассвете, пиная землю ботинками, размахивая руками и заливаясь соловьем о стоимости своего «товара». Покупатели, такие же грязные

и грубые, улюлюкали и подначивали его, то и дело поднимая в воздух фляжки и плюясь на землю табачными жевками. Они сделали ставки между собой и теперь старались либо «пересидеть», либо дожать торговца, надеясь, что он снизит цены. А как бы заполучить этого негра за пять сотен вместо восьми? Вот эту девку неплохо бы отдать на расплод. А как насчет того мальчишки? Сейчас-то маловат, но со временем...

– И сколько дашь за эту пригожую бабенку? Набавляйте цену, жентльмены, не тушуйтесь, впечатление может быть обманчивым. Она, понятное дело, не весенний цыпленок, но и не старая курица. У нее крепкая спина и сильные ноги, отлично подойдет для работы в поле или, – и здесь он, должно быть, подмигнул, потому что все заржали и принялись подталкивать друг друга кулаками под ребра, – любого другого занятия, которое вы ей найдете... Продается в погашение долгов, а так-то нрав у нее покладистый, как сказал хозяин. Да к тому ж она еще и лекарка и повитуха, вот и будет пользоваться ваших племенных девок. Я слыхал, она и за белыми женщинами ухаживала. Хорошее вложение, господа. Ее ж можно и в аренду сдавать и прибыль получать.

Он не упомянул, что я ведьма, что у меня не все в порядке с головой, что я пыталась топиться в Быстром ручье. Видать, Нэш ему не сказал.

– Начальная цена, жентльмены, восемьсот. Могу я получить восемьсот?

Тут все загалдели, и я не особо обратила на это внимание, пока один из грязнуль не поднял руку и не указал пальцем.

– Тысяча четыреста пятьдесят, я слышу; полторы тысячи?

Должно быть, он услышал «полторы тысячи», потому что его следующие слова были:

– Продано! А. В. Маккалоху.

Шотландец

До фермы Маккалоха было три дня езды, три долгих дня с тихими восходами и закатами, отмеченных только топотом и ржанием лошадей, криками птиц да чиханием и кашлем мальчика по имени Джемми, которого Маккалох купил на аукционе после меня. Этот человек больше разговаривал с лошадьми, чем с нами, да и когда говорил, я не могла разобрать ни одного слова.

– Он шотландец, горец, – прошептал Джемми.

Для меня это ничего не значило, просто еще один белый человек. Англичане, испанцы, португальцы и французы. А теперь вот...

– Он говорит по-английски, но... – сказал Джемми, – придется сильно вслушиваться, чтобы понять, что он имеет в виду.

И пояснил, что один из его хозяев был шотландец.

Я нахмурилась и спросила с любопытством:

– Сколько же у тебя было хозяев?

На вид мальчишке не больше четырнадцати-пятнадцати лет.

– Четверо, но я родился здесь, а не в деревне, как вы, – ответил он и снова чихнул, отчего одна из лошадей недовольно фыркнула.

Я похлопала Джемми по спине, порылась в мешке, вытащила чистую тряпочку и протянула ему.

– На, вытри нос. Потом приготовлю тебе порошок от твоей хвори. Как только доберемся до места.

– Спасибо, мисс Мариам, – и Джемми раскашлялся и расчихался одновременно.

Шотландец заговорил, а я чуть не свалилась с места.

– Ща станем, – он не произнес ни слова с полудня, а уже темнело.

Он натянул вожжи и повернулся к нам.

– Ты, – рывкнул он на Джемми, слово звучало как «ту-ы-ы», – обиходь лошадей, а я костер запалю.

– Да, сэ, мастер Маккалох, – ответил Джемми, быстрее белки прыгивая с повозки.

У мужчины вырвалось что-то похожее на рычание.

Мы с Джемми замерли.

– Ту-ы-ы, не называй меня мастер или сэр, просто Маккалох, – рявкнул он.

Джемми кивнул, пробормотав все же:

– Да, сэр, мастер, – и исчез на другой стороне фургона, где снова громко чихнул. Одна из лошадей заржала и топнула копытом.

– Ту-ы-ы! – На этот раз шотландец обращался ко мне.

– Да... – Я тоже чуть не произнесла «мастер». Но вовремя стиснула губы. Привычка. Почти каждый белый мужчина на моем пути требовал, чтобы его называли именно так. Но произнести имя Маккалоха мне удалось далеко не сразу, понадобилась не одна попытка. Я не могла заставить свой рот издавать такие звуки.

Шотландец пристально посмотрел на меня.

– Тащи свою сумку и сготовь парнюге како-нито зелье, чи порошок, да чё хошь, лишь бы он перестал так дохать! Господь всемогущий, да он мне так всех коняшек перепугает!

Я закусила губу, чтобы не улыбнуться, и кивнула. Придется привыкать к этому грубому человеку и его грубым словам. Он показался мне забавным, и сдержалась я с трудом. Розоволицые ведь не любят казаться смешными.

* * *

Я стала странницей в десять лет, пересекла темные воды Атлантики, провела ладонью по гладким голубым водам западной части Карибского моря, пробиралась через болота Джорджии и Каролины, а теперь вот снова тряслась в кузове фургона, который катил по дороге, плавно поднимаясь по темно-зеленым, почти черным холмам к скалистым вершинам – их называли горами – Аппалачей. Помню, как впервые ехала на запад, навстречу заходящему солнцу. Все дальше и дальше от темных вод и высоких кораблей с белыми парусами. Дальше от любой лодки, которая могла бы меня отвезти... Я выбросила эту мысль из головы, подавила ее и сморгнула слезы. Единственное, что я могла сейчас сделать, это вдох, затем еще один и еще один. На самом деле я бы не рискнула вновь пересекать темные воды. И понимала, что это правда.

Чем дальше мы удаляемся от берега, тем прохладнее становится, особенно после захода солнца. В Вирджинии никогда не бывало как в этих краях, шотландец даже дал мне плед, я закуталась в него, но все равно дрожу. Мои кости не созданы для такой погоды. Когда мы останавливаемся, я рассматриваю деревья и изучаю траву и кустарники. Встречаются растения, которые я собирала в Вирджинии и на Рифе, только более жесткие на вид, а кое-какие даже напоминают мне те, из которых мать готовила отвары в прежние времена. Шотландец разрешил мне собирать травы, и я так и делаю. Обрываю листья, растираю в пальцах и вдыхаю аромат, вспоминая уроки Мари Катрин.

«Всегда выясняй, где находишься, принохивайся, прочувствуй почву, присматривайся к размерам и окрасу животных. Помни, что в большинстве мест всегда найдется родич знакомого тебе растения. *Attendez*^[65]. Всегда обследуй место, где живешь, *ma petite*^[66]. Земля тебя не обманет, если ты ее узнаешь. И даст то, что нужно».

Я смотрю на серые скалы, которые напоминают мне Голубые горы на Ямайке: интересно, прячутся ли беглецы и на этих высотах, особенно на тех, чьи вершины окутаны туманами. Шотландец говорит, что к югу и востоку отсюда их называют Большие дымные горы, или попросту Дымки. Речь у него резкая и отрывистая, и он произносит за раз всего несколько слов, словно боится, что они у него кончатся. И всегда пристально смотрит на меня, будто изучает. Но совсем не так, как разглядывал меня старик Маккей или Дарфи, впрочем, этот на всех женщин смотрел так, что хотелось вымыться и спрятаться. Шотландец же глядит на меня, будто я какое-то странное, невиданное существо, о котором у него еще нет никакого мнения. Но он ведь раньше видел и здешних негров, и африканских, так что во мне нет ничего нового. Пока.

Плантация Маккалоха оказалась совсем не тем, что я думала. Он и сам приказал называть это не плантацией, а фермой. Джемми, который хорошо понимает слова этого человека, говорит, что ему принадлежат сотни акров земли, поля, лесные угодья, два сарая, причем один только для лошадей, курятники и мельница. Его «главный» дом совсем не похож на те, что я знала в Вирджинии или мы видели, проезжая по Каролине. Никаких колонн и вычурных портиков. Вообще никаких изысков. Большое двухэтажное побеленное здание, но простое,

аккуратное и скромное, как молитвенный дом квакеров. Позади кухни и коптильни в ряд выстроились несколько грубо отесанных побеленных хижин, и к одной из них шотландец меня ведет.

– Здесь жить бушь, – говорит он, открывая дверь. – Поставь вещи и дуй на кухню. Долли скажет, чё делать, даст все, чё нужно.

Джемми он забирает с собой.

Дверь за хозяином медленно закрылась и плотно прилегла к косяку. Не скрипнув, не лязгнув. Я отступила на несколько шагов назад и присмотрелась. Дневной свет из-под двери не проникает, значит, и холодом поддувать не будет. Я огляделась: все четыре стены сделаны из грубо отесанных, хорошо подогнанных бревен, а три окна застеклены, и сквозь них светит яркое солнце. Я наклонилась поближе, посмотреть, где стекольщик нацарапал на поверхности свой знак. На полу ковер, у задней стены – очаг. Чистый, ни пыли, ни пепла. Совсем иначе, чем дом старой Мейси у мастера Роберта, когда я туда приехала. Я видела много хижин для рабов, но эта была лучше всех, кроме, конечно, той, которую поставил для нас мой Джеймс. И даже белых младенцев мне доводилось принимать в жилищах куда более ветхих и скверно выстроенных.

* * *

– Вот хуже не придумаешь, чем иметь в хозяевах шотландца.

Долли, чья фамилия была Рейес в честь ее отца, который родился на Кубе, работала экономкой и поварихой, стирала, шила и ткала, ухаживала за садом и готовила еду для всех на ферме Маккалоха, и белых и цветных. А еще стряпала для других белых на собрания, свадьбы и прочее. За это ей платили деньги. Мне показалось странным, что Маккалох был единственным белым человеком на ферме, о чем я не замедлила сказать.

– Так вдовый он, – пожалла плечами Долли, ставя на кухонный стол миски и тарелки с едой для меня и Джемми. – Тиф тут давным-давно прошелся, и у него все поумирили, и жена, и дети. Похоронены вон там, – и она указала налево. – Ему нравятся женщины, и он иногда... Ну, ты поняла, о чем я, так что береги себя. Но пока не привел сюда ни одной достаточно хорошей, чтобы жениться, хотя

многие были бы не против. Думаю, ему просто нравится жить одному. – Она изучала меня, а затем усмехнулась. – Нет, это тоже не так, если ты об этом думаешь.

Долли глянула на Джемми и нахмурилась.

– Эй, парень, ты сейчас подавишься! Ешь помедленнее! Еда с тарелки не улетит!

Она шлепнула парнишку по макушке, но явно не больно. Он даже не перестал жевать. Просто с набитым ртом пробормотал: «Да, мисс Долли». Долли посмотрела на меня, и мы обе ухмыльнулись.

– Маккалох – грубый тип, – добавила Долли, возвращая внимание к большому горшку, стоящему на задней стороне огромной плиты. Что бы она там ни стряпала, пахло хорошо. В желудке у меня заурчало, хотя я почти наелась. – Но не злой. Мы-то с тобой прожили достаточно долго и понимаем, что это такое.

И она поверх головы Джемми устремила на меня многозначительный взгляд. Парень ничего не заметил, уткнувшись лицом в миску с фасолью и мясом. Похоже, желудок у него был бездонным.

– Он справедливый, и с цветными, и с белыми. Надсмотрщика здесь нет. Другим белым это не нравится, они говорят, что Маккалох своих слишком распустил, но, – и Долли улыбнулась, – сказать ему это в лицо у них духу не хватит. Имей в виду, – она подняла палец, – Маккалох с пол-оборота заводится, кто его обидит, хоть белый, хоть цветной. Этот человек как бешеный бык поперет, ежели ему кто поперек встанет. Но, скажу тебе, в доме Маккалоха ни одного негра никогда не избивали и вниз по реке не продавали, хоть его и просили. И я здесь уже десять лет.

Долли объясняет, что шотландец, конечно, тоже сдает своих чернокожих в аренду, но позволяет им оставлять себе часть заработанных денег. Вот это была новость. Нэш-то отбирал каждый пенни, который я зарабатывала, принимая роды и ухаживая за разными больными. Мне перепало только то, что давали потихоньку, например, благодарный муж или хозяин. Тут я стала задумываться, а не собрать ли кругленькую сумму, не купить ли себе бумагу о свободе и не уехать ли из Америки.

– Маккалох сказал, ты повитуха, это хорошо. Здесь много рожают, и цветные, и белые, – сказала Долли, вытирая руки о фартук и садясь

за стол рядом с Джемми. – Мой муж Геркулес говорит, что не отказался бы завести еще одного малыша. А я ему советую лучше пахать картофельную грядку, чем меня: толку будет больше! – Ее глаза рассмотрели каждую черточку моего лица. – Похоже, мы с тобой примерно с одного года, так что ты тоже вряд ли кого родишь. – Она пожала плечами и слегка улыбнулась.

Как ни грустно было это слышать, я знала, что она права. Крови я еще носила, но не так регулярно, как обычно. Мария Катрин говорила, что так и будет, если я проживу достаточно долго. Но потом она еще сказала мне, что у меня будет четыре сына и две дочери. Учитывая Илая, Седраха и самую первую девочку, которая умерла сразу после рождения, детей всего трое. Мари ошиблась.

Здесь детей было не видеть, во всяком случае никого моложе Джемми, и я подумала, а есть ли дети у Долли. Но спрашивать не захотела. Как и для меня, и для большинства знакомых мне чернокожих женщин, дети были и благословением, и проклятием. Если они рождались, ты до смерти беспокоилась о том, сможешь ли их вырастить и сохранить. А если ты их теряла... от болезни или... это был еще один бездонный колодец печали и тревог. Но Долли почувствовала мой вопрос.

– У меня было шестеро. Двое умерли в младенчестве, сыновей, Энтони и Франциско, наняли – не Маккалох, а другой хозяин, – они заработали денег и купили себе вольную, – ее голос был полон гордости. – Нынче в Вашингтоне живут. Кузнецы. Есть свой магазин. Дочка Долорес живет на плантации Бернса к северу от хребта. Она повариха и экономка. Бернс обещает дать ей документы, и я молюсь, чтобы не обманул. Еще Хуана, эту я не смогла удержать... – Долли закусил губу. – Мой предыдущий хозяин, до Маккалоха, продал ее на рынок проституток в Лексингтоне. Так и не знаю, куда увезли мою девочку. Но храню ее, – и она положила ладонь на пышную грудь, где на ситцевой ткани платья плашмя лежал золотой крест на цепочке. – Здесь.

А я думала о Джеймсе, Илае и Седрахе, проданных одним лишь богам известно куда, а боги нам не докладывают. И тоже приложила ладонь к сердцу.

Кажется, не так давно я была молода. А теперь почти старуха. Слишком стара, чтобы на меня с интересом глянул мужчина. Слишком стара, чтобы родить. Просто. Слишком. Стара. Как быстро летят годы!

Я прожила в этой Средней Вирджинии лет пять и за это время, наверное, сказала шотландцу примерно столько же слов. Он и в самом деле был человеком молчаливым, но не жестоким, как и говорила Долли. Проблем с ним у меня не было никаких. Но работать пришлось от восхода до заката. Принимать младенцев, присматривать за больными, делать посадки, собирать урожай, помогать Долли по хозяйству. И еще у меня скопилась изрядная сумма денег, чего никогда раньше не было. Нэш, отдавая работников в наем, отбирал все заработанное, а шотландец – лишь малую часть того, что мне платят. Остальное я откладываю. Пока 1500 долларов, которые он за меня когда-то отдал, я не собрала, но денег у меня больше, чем когда-либо прежде. Я могу выкупить свою свободу. Здесь многие так делают.

Но, размышляя об этом перед самым рассветом или поздно ночью у погасшего очага, я начинаю сомневаться, а так ли уж это важно вообще? Свободна. Не свободна. За хребтом к северу отсюда, в местах у озера Саратога, наверняка есть освободившиеся чернокожие. Или где-нибудь еще. В том же Огайо, что к западу, в Пенсильвании, что к северу. Вот только свободная или несвободная, а это все равно буду я. Сама по себе. И что хорошего быть свободной, но совершенно одинокой?

Я скучаю по своей семье, по тем благословенным временам, когда мы были вместе. Они миновали так давно, что некоторые моменты я забыла. Но только не сладкую тяжесть моих новорожденных мальчиков, нежное прикосновение губ Джеймса к моей шее. Этого я не забуду никогда. Моя молодость, мои дети, моя семья – в прошлом, в далеком прошлом.

Но появился Нед, и все изменилось.

Впервые я увидела его, когда находилась там, где не следовало – ни в тот момент, ни в любой другой. Закончила то, чего от меня совсем

не ждали. Если бы меня поймали, неважно, с пропуском от шотландца или без, тем более что был он коротким, как сон раба («Разрешаю Мариам Грейс пойти и вернуться. Маккалох»), могли бы выпороть или чего похуже. Нэш продал меня, потому что ему потребовались деньги, а люди, по его словам, считали меня ведьмой и больной на всю голову. Третью причину он не назвал, потому как только подозревал, что я помогаю беглым. А доказать не мог. А я помогала. И вообще, именно такой и была. И остаюсь, благодаря Долли Рейес.

Я довольно долго прожила в доме Маккалоха, прежде чем Долли убедилась, что мне можно доверять. Меня вызвали принять роды на отдаленной ферме, и я, направляясь к дороге, прошла мимо аккуратно побеленного дома Маккалоха. Было еще светло, так что, если уговорить кучера мистера Джозефа, он привезет меня в фургоне обратно еще до наступления темноты.

– Мариам!

Я обернулась: в дверях кухни Долли махала мне рукой.

– Погодь минутку, ладно? Ева просила меня послать ее хозяйке немного моего меда, а тебе ведь ничего не стоит прихватить с собой посылочку.

Я кивнула и направилась к ней. Даже потратив четверть часа на болтовню с Долли – а говоруньей она была знатной, – я все равно добралась бы до дома Джозефа за светом.

Долли выложила на стол мед и полдюжины яиц и принялась, не закрывая рта, заворачивать их в коричневую бумагу.

– ...А то ее куры плохо несутся... – бормотала она, говоря больше сама с собой, чем со мной. Ее маленькие ручки быстро двигались, раскладывая дары в корзине. – Ты ведь за ребенком Сьюзи собираешься?

Я кивнула.

– Угу, у нее еще утром началось. Роды первые, так что будут небыстрыми.

– А как там миз Бердетт, все болеет? – поинтересовалась Долли. – Дитя-то сможет выносить аль нет?

Я покачала головой и попыталась думать о той женщине хорошо: она была малорослой и вечно болела. Шесть родов за шесть лет, выжили трое детишек, но один очень плохо рос и постоянно кашлял. Теперь женщина была снова беременна, и мне хотелось наворожить ей

удачи и здорового малыша, поскольку я сильно сомневалась, что маленький Амос увидит свой второй день рождения. Следующему ребенку, девочке, было всего четыре месяца. Но по тому, как она извергала назад съеденное и худела, похоже, ей тоже недолго осталось, о чем я и сказала Долли.

Она вздохнула.

– Вот обида-то. Сама она ведь славная женщина, да вот пошла не за того мужика. Роджер-то Бердетт – сущий дьявол. Ты ведь поедешь вдоль утеса как раз около водопада Падающий Родник, верно? По реке Раппахонник?

Я отрицательно покачала головой, укладывая завернутые мед и яйца в корзину.

– Нет, этот путь длиннее.

– Вот и езжай длинным путем. Мне нужно, чтобы ты оставила там вот эту корзину, – и она показала какую.

Странно, чего это я ее не заметила? Я пожала плечами. Водопад недалеко, почему бы не заглянуть.

– У Маккалоха кто-нибудь работает на этом утесе? – Шотландцу принадлежала земля на северной стороне, и к ней примыкали задние участки его фермы. Время от времени он отправлял туда людей на лесозаготовки.

Долли улыбнулась.

– Нет. Это у меня бродяги в Индейской пещере.

Я осторожно вдруг задрожавшей рукой поставила банку в корзину. И уставилась на нее. Долли не отвела взгляд, темные глаза не сморгнули, а подбородок задрался вверх, словно бросая мне вызов.

– Беглецы, – сказала я, понизив голос и оглядываясь через плечо. – Ты же о беглецах говоришь.

Улыбка Долли стала шире.

– Верно. Да не волнуйся, хозяина здесь нет. Уехал в Роанок по делам.

Я посмотрела на нее, мои глаза спрашивали прежде, чем губы проговорили.

– Почему ты считаешь меня способной на такое? На смертельный риск?

Глядя в темные глаза Долли, я вспоминала Мари Катрин. Она смотрела так, словно знала, что я скажу, еще до того, как я открывала

рот. Долли снова улыбнулась, но когда заговорила, тон ее был мрачным.

– Я тебе доверяю. К тому же у тебя есть пропуск. Люди привыкли видеть, как ты ходишь то туда, то сюда. И тебе, как никому другому здесь, известно, что значит быть свободным. – Она замолчала, видимо, решила, как и Маккалох, не тратить слова – все нужное сказано.

– Как ты... с чего у тебя... все это началось? – спросила я. Прежде... Когда я жила на ферме Нэша, люди приходили ко мне сами, ни с того ни с сего. Я-то никогда не чувствовала, что они появятся, и не знала откуда, если только они не сообщали сами, от чего я их отговаривала. Они просто заходили в мою хижину. И я их кормила, лечила царапины, раны или порезы, а потом они исчезали. Как дым от угасающего костра. Но я никогда не была частью никакой «цепочки» или «плана» и знала это. Люди сами распоряжались собой.

Долли медленно покачала головой, завернула полбуханки хлеба и положила ее на дно второй корзины.

– Лучше тебе этого не знать, Мариам.

– Я ведь запросто могу донести шотландцу. – Чего я, конечно, никогда бы не сделала.

Долли фыркнула.

– Хрена с два ты ему донесешь, – рявкнула она. – Единственный человек, который говорит еще меньше, чем он, это ты. К тому же... ты африканка. У меня папочка тоже был африканцем. Я знаю, какие они. И ты такая же. – Ее темные глаза снова сверкнули. – Вы родились свободными и никогда не захотите, чтобы вами кто-то владел, никогда. – Лицо у нее снова сделалось торжественным. – Даже спустя столько лет в тебе есть что-то свободное. Ты все еще сама по себе.

С отцом Долли мы никогда не встречались, да и не встретились бы, будь он к этому времени жив, – Куба, где родилась и сама Долли, далеко отсюда. Но я поняла, что она имела в виду. И знала, она права – выполнить ее просьбу мне нетрудно, ведь дети появляются на свет, когда они готовы, а не когда вам этого хочется. Как повитуха, да еще с пропуском шотландца, я могла ходить куда угодно в любое время дня и ночи, и меня не трогали. И да – я бы не проговорила. Никому, ни черному, ни белому.

И вот я отнесла корзину в Индейскую пещеру, где трое беглецов опустошили ее с такой быстротой, словно умирали с голоду, а потом

благодарили меня с таким пылом, что мне стало неловко. И с того дня я часто брала с собой корзины и в Индейскую пещеру, и в другие места в глубине леса за Падающим Родником – всякий раз, когда там оказывались «друзья» Долли, и никогда не больше расспрашивала, как она «дошла до жизни такой»... Просто следующие пять лет доставляла еду, воду и лекарства, лечила раны и болезни и даже приняла парутройку детей. Кто были эти люди, я не знала и запрещала им говорить, куда они направляются. Порой мне хотелось уйти с ними. Порой я об этом не думала. Но как-то раз, направляясь к очередным друзьям Долли, я натолкнулась в лесу на бригаду лесорубов, состоящую из цветных и белых мужчин, которую возглавлял Салливан, надзиратель из соседнего округа. Тут-то я впервые и увидела Неда.

Я тогда проделала долгий путь от дома Вашингтона. Он сам, его жена и двое детей да еще и четверо работников заболели гриппом. В том году это была серьезная зараза, косившая чаще взрослых, чем детей; я сталкивалась с ней уже дважды в жизни, первый раз еще на Рифе Цезаря, поэтому не боялась. Ферму Вашингтона за милю обходили и повитухи, и даже белый доктор из города. Поэтому послали за мной. А находилась эта ферма на северном берегу реки Раппахонник, недалеко от Падающего Родника, и я решила прогуляться по лесу, а не обходить его, и заодно принести еду и лекарства нескольким беглецам, прячущимся в пещере. И, спускаясь по горной тропке, угодила напрямиком к лесорубам.

– Эй, тетка, ты чё здесь вынюхиваешь? – Гнусавый голос Салливана ударил мне в уши, как визг красного орла. Я чуть корзины не уронила. – Слышь, тетка?

Когда это мы успели породниться, чуть не спросила я его. Салливан был одним из множества белых мужчин, которые мне не нравились.

– Иду от Вашингтона, – сообщила я, подбирая юбки, чтобы их не раздувало ветром. Стоял конец октября, на улице было еще тепло, но я знала, что приближаются холода и дожди, что они не за горами. В воздухе ощущалась перемена, ее запах.

Салливан выплюнул табачную жвачку, которая приземлилась в нескольких дюймах от моих ног. Очень похоже на кусок собачьего дерьма. И я, забывшись, глянула мужчине прямо в покрасневшие глаза.

Он ухмыльнулся, гордо демонстрируя темно-розовые десны и грязно-серые зубы, потемневшие от табачного сока.

– Далековато забралась, тетка! – рявкнул Салливан.

– Увы, сэр! – рявкнула я в ответ.

И только тут заметила, что бригада прекратила работу и стоит полукругом, наблюдая за нами. Лесорубов было восемь, а не десять, как обычно, большинство цветные, но не все – белые, верно, из тех, кто влез в долги и теперь отработывал расчисткой земли и рубкой леса.

Салливан снова сплюнул и неровными шагами, пошатываясь, приблизился ко мне. Даже ветер, дующий в прохладном воздухе ранней осени, не мог разогнать тошнотворный запах немытого тела, мочи и спиртного. У меня аж желудок свело, и я сглотнула. Надсмотрщик протянул большую грязную лапу.

– Пропуск.

Я развернула грубую бумагу цвета слоновой кости, на которой писал шотландец. Символы мне были неизвестны, но смысл понятен. Салливан сделал вид, что читает (все знали, что он неграмотен), потом молча свернул бумагу и отдал мне. Всё, проблем у меня больше не будет. Этот человек, негодяй и фанфарон, дураком не был точно.

Салливан и все остальные в округе знали, что я работаю на Маккалоха. Другие белые считали поведение шотландца странным, перешептывались за его спиной, закатывали глаза на его хриплый, скрипучий голос и ехидничали, что он «больно распустил своих ниггеров». Но все ограничивалось разговорами за глаза. Соседей пугал необузданный нрав самого Маккалоха, устрашали размеры его землевладения, и они не отваживались на что-то большее. И еще шотландец терпеть не мог, когда в дела его людей кто-то вмешивался. Перед своей бригадой Салливан ходил петухом, но на большее не решался.

– Значится, к Вашингтону ходила. Там кто-то родился?

– Нет, они заразились.

Салливан с перекошенным лицом отпрыгнул подальше от меня. Лесорубы принялись ухмыляться и пересмеиваться. Надсмотрщик открыл было рот, да поздно: репутация уже пострадала. Ее сгубила чернокожая тетка и страх подхватить лихорадку. Уже собираясь уходить с ошетилившейся пнями поляны, я кивнула и заговорила с лесорубами, большинство из которых знала если не по имени, то в

лицо. Кроме одного. Высокого, хорошо сложенного парня, который поймал глазами мой взгляд, и его лицо озарилось улыбкой. Он был без рубашки, и плечи у него, хоть и покрытые грязью, опилками и потом, были сильные и мускулистые, талия тонкая, живот плоский.

Парень слегка кивнул мне в ответ, а у меня перехватило горло.

– Доброутро, – произнес он вежливо, ровным голосом. Мое ухо уловило округлость тона, напомнившего мне говор жителей Вирджинии и Джорджии. Парень родился явно не здесь, был слишком молод для этого.

– Доброе утро, – поздоровалась и я.

– Меня зовут Нед, – добавил он тихим голосом.

Под ложечкой закрутило так сильно, что показалось, будто меня сейчас вырвет. То же ощущение я испытывала, когда Джеймс держал меня на руках и шептал на ухо слова любви. Ощущение, которого так долго не было в моей жизни, что я почти не узнала его.

Желание.

Следующие несколько дней я не могла ни о ком и ни о чем думать. Настолько...

– Мариам!

Маккалох стоит в дверях курятника, где я собирала яйца для Долли. Или думала, что собираю. Как долго он там стоял, не знаю. И сколько я провозилась, неведомо.

– Сэр?

Он откашливается, хотя это больше похоже на разгневанный рык.

– Соberись с мыслями, девочка, и ступай в сарай. Там тебя ждут лесорубы Эбнера с Уошем и Клейтоном. Один ранен. – Шотландец хмурится.

– Да, сэр, – быстро откликаюсь я, вытираю руки о фартук и направляюсь к колодцу за водой. По пути прикидываю, что мне понадобится: тряпки, алоэ, отвар ивовой коры, уксус, что-нибудь снять боль...

– Ты никак захворала, Мариам? – интересуется шотландец, как всегда грубым, но нисколько не злым голосом.

– Нет-нет, сэр, – отзываюсь я, проносясь мимо и упрекая себя. Кажется, в последнее время я все больше и больше уплываю в мечты, вспоминая прошлое и сравнивая с настоящим. Из памяти вынырнула вдруг мамина бабушка... или это была отцовская? Маленькая

высохшая старушка, которая сидела в углу женского дома и что-то жевала... Что? С беззубой улыбкой и пустым взглядом. По словам матери, ее взгляд был обращен назад, она видела то, что мы, дети, не могли. Интересно, не становлюсь ли я похожей на эту бабушку, чьи глаза всматриваются в то, чего не вернешь? Жду чего-то, чему не бывать...

У открытой двери сарая вместе с остальными сидел муж Долли, Геркулес, они все только что пришли из леса. Уилл, Клейтон, Уош и Годфри с плантации мастера Рассела и люди Эбнера. Маккалох нанял еще работников, чтобы они помогли расчистить берег ручья и построить плотину. Геркулес встал и поманил меня к себе.

– Мариам, иди сюда. Этот парень, вон... здорово поранился.

Он отошел в сторону, и я увидела на сене человека в грязной порванной рубашке с ужасной кровоточащей раной на плече. Он опустил голову, дышал с явным трудом, и видно было, что ему очень больно. Я опустилась на колени и осторожно положила руку ему на грудь.

– Дай-ка посмотрю.

Он поднял голову и глянул на меня. У меня аж дыхание перехватило и сердце замерло на середине удара.

Нед.

– Да, мистрис Мариам, – произнес он сильным мелодичным голосом.

В макушке у меня закололо, иголки побежали вниз, остановившись на полпути, внизу живота. Хорошо, что я сидела, а не то ноги подкосились бы.

Неда привезли с фермы шурина мастера Рассела, которая находилась в нескольких милях отсюда, за Голубым горами. Кожа у него была темно-коричневая, нос волевой и надменный, как у *игбо*, губы пухлые, с чуть приподнятыми уголками, и крепкая фигура сильного и трудолюбивого человека. И красивого. Чем-то он напоминал Джеймса, а чем-то – нет. Для проповедника взгляд у него был слишком смелым, а для пророка в нем не хватало задумчивости и отрешенности. Нед был человеком земным и практичным, человеком вещей, которые можно потрогать и подержать в руках.

Я постаралась побыстрее очистить и перевязать его рану и ушла, пока еще могла сохранять спокойствие и не выдать своих мыслей и

чувств. Взгляд Неда прожигал мне кожу. Я прислонилась к стене сарая и закрыла глаза, изо всех сил желая, чтобы сердце билось помедленнее, а дыхание хоть чуточку выровнялось. Ведь глупость же, чистая блажь. Мне за сорок, этому парню, этому Неду, лет двадцать, максимум тридцать. Ровесник моей дочери, ребенка, родившегося на Рифе Цезаря, лица которого я никогда не видела и которому никогда не исполнится столько.

Но все это не имело никакого значения. Через несколько ночей Нед пришел ко мне в хижину с еще не зажившей раной. И легким прикосновением, нежно расстегнул на мне платье. Я нетерпеливо сорвала с него рубашку. И оба мы не спали ни в ту ночь, ни в последующие. Его рану я перевязывала снова и снова, потому что от наших сплетений она снова и снова открывалась. Меня это огорчало и радовало одновременно. Аромат его тела наполнял мои легкие, я напрягала слух, стараясь уловить стук его топора в лесу рядом с фермой, мое сердце подпрыгивало всякий раз, когда он прикасался ко мне, когда звучал его голос. Бывало, мы не виделись неделями, когда бригада заканчивала работу по заданию Маккалоха и шла дальше. Впрочем, работники Рассела разъезжали повсюду в этой части Вирджинии, и стоило мне только услышать о Неде, как сердце начинало бешено колотиться, а между ног становилось влажно.

Мы сливались в моей хижине. Мы сливались в сарае и в лесу. Всю эту осень, зиму и раннюю весну. Случалось, он уходил с фермы Рассела, встречал меня возле водопада Падающий Родник и жадно притискивал к дереву. Я не могла насытиться им, ощущением его тела, запахом, звуком дыхания... Нед был болезнью, от которой я страдала, но не хотела лечиться. Наполняя мое тело, она затыкала пустоты в моей душе.

Малыш Эдуард

Сначала я подумала, что бог-обманщик играет со мной. Я хотела ребенка, очень давно хотела, но понимала, что мое время почти вышло. Мне пришлось смириться с тем, что я старею, толстею, мои женские дни заканчиваются, как и обещала Мари Катрин. Но я слишком долго работала повитухой, чтобы сомневаться и не распознать явные признаки. И не понять, что я вынашиваю ребенка Неда.

Впервые за долгие годы я все время улыбалась и напевала себе под нос. Геркулес искоса смотрел на меня, явно недоумевая. Джемми и Клейтон, сказав: «Здравствуйте, мисс Мариам», принимались переглядываться. Даже Маккалох...

Несколько дней по утрам Долли наблюдала, как я отказываюсь от завтрака, но ничего не говорила, пока однажды, почти через пять месяцев я не зашла на кухню за виски, чтобы приготовить лекарство от кашля, который мучил всех вокруг. Особенно плохо приходилось детям.

– Вот, держи, Мариам, – и она протянула мне маленькую фляжку. – Маккалох велел давать тебе все необходимое для твоих снадобий. Там еще есть запас на неделю или около того. Если нужно больше, говори. И вот еще немного мяты; надеюсь, тебе хватит, пока не прекратится этот дождь и ты снова не отправишься собирать травы.

– Спасибо, Долли, – поблагодарила я совершенно искренне. Пока поля и земля не просохнут настолько, чтобы снова идти «на охоту», придется полагаться на ее скромный дар. Весна нынче выдалась дождливая, в слишком влажную землю сажать было нельзя, а то, что я все-таки посеяла, сгнило, не успев укорениться в почве. Кроме того, от сырости все простужались и кашляли больше обычного, и мои припасы трав таяли на глазах.

Долли снова повернулась к плите – она готовила суп, который называла «гамбо» и которым почти всегда занималась весь день, почти не отвлекаясь.

– Смотрю, тебе лучше?

Я положила руку на живот, который рос вместе с ребенком и становился все плотнее. И посмотрела на Долли, не в силах удержаться от улыбки. О ребенке никто не знал. Это было сокровище, которое я берегла для себя. И для Неда. Но такую тайну долго не скроешь.

– Да. Ничего серьезного. Так, пронесло слегка, – я закусила губу, чтобы не улыбаться, и принялась укладывать флаконы, бутылочки и пакетики в корзинки.

– Мариам, Нед... Я знаю, ты и он... вы...

На этот раз причин улыбаться не было.

– Да. Мы. Я и он. И это никого не касается. – Я выплюнула эти слова, чувствуя, как яд клубится у меня в груди.

– Ты ведь... как сестра, – медленно выговорила Долли с явными испанскими интонациями, а это означало, что она либо встревожена, либо волнуется, либо и то и другое. – Но должна же понимать...

– Понимать что?

– Мариам, он еще совсем молод. Ты... Я... никто из нас не хочет, чтобы вы страдали...

– Долли, я знаю, что он молод. И помню, сколько лет мне. Забудешь тут, когда кто-нибудь из вас то и дело напоминает.

– Мариам...

Я почувствовала, как в груди разрастается гнев. Сгребла остальные пакеты в большую корзину и повернулась, чтобы уйти.

– Что?

– Какой срок, Мариам? – Вопрос неожиданный и тон отнюдь не мягкий. Долли плюнулась словами, словно чем-то горьким. Я посмотрела на нее. Она все еще держала в руке ложку, но теперь над кастрюлей, чтобы бульон капал обратно. И не улыбалась.

– Пять месяцев. – Произнеся эти слова, я почувствовала себя так, будто нашла сундук с золотом Цезаря, спрятанный где-то на Рифе. По моему лицу снова расплылась широкая дурацкая улыбка, и я знала, что выгляжу по-идиотски. Но мне было все равно. Этот ребенок был лучшим, что случилось со мной за долгое время. Он и Нед.

– А где сейчас Нед, знаешь?

У меня напряглись плечи. Долли никогда не задавала вопросы просто так, без причины и не зная ответа.

– Мастер Рассел отдал его в наем. Куда-то на север, в округ Гринбрайер, – я попыталась вспомнить, что говорил мне Нед, – вместе с близнецами. Пока табак не укоренится, парень не вернется.

Я вздохнула и похлопала себя по мягкой округлости.

– Ну, как раз когда ребенок попросится наружу.

– А у Рассела ты давно была?

Опять вопрос.

– Долли, ты меня о чем-то спрашиваешь? Или пытаешься что-то сообщить? Сегодня собираюсь. Несу лекарства детям от кашля и госпоже для ее женских дел. – Я нахмурилась, пытаюсь вспомнить, когда в последний раз была в доме Рассела.

Теперь настала очередь Долли вздохнуть. Ее черные глаза, пылающие на темно-медовом лице, впились в меня с такой пронзительностью, что я даже смутилась.

– Долли... Что? – выговорилось с трудом.

– Ты... видела Нини, когда была там в последний раз?

Нини?

Вот уж глупее девицы я не встречала, а у меня было много знакомых женщин. Нини походила скорее на «подружку», чем на служанку, хотя значилась горничной, – впрочем, все в округе считали, что дом у Рассела не настолько велик, чтобы там требовалась горничная. Но Нини была хорошенькой добродушной и очень улыбчивой. Поговаривали, что после смерти жены она греет постель Расселу, поэтому работы у нее стало куда как меньше. Значит, вовсе не глупая. А скорее «лиса хитрющая»: именно так называла подобного рода особ Лепесток. При каждой встрече с Нини – а я посещала Расселов не чаще раза в несколько месяцев – она вела себя мило, приветливо кивала и называла «тетушкой Мариам», будто я на пути к могиле. Еще бы бабушкой назвала... Ну уж нет. Я ей не тетушка и тем более не бабушка.

– Была там месяц-полтора назад, присматривала за дядюшкой Огастесом. Все время сидела с ним и почти никого не видела.

Долли кивнула, припоминая, и перекрестилась.

Огастес был самым старым здешним жителем: сам он насчитывал себе лет девяносто, то есть вполне мог быть и старше. Долгие годы я лечила его искривленные распухшие суставы, простуду и разболевшиеся зубы, растирала ему ноющую спину. Но после снежной

зимы и холодной дождливой весны у Гастеса в легких появились хрипы, которые никак не проходили, что бы я ни придумывала. Он рассказывал, что родился в месте под названием Ангола и до сих пор помнит некоторые слова оттуда. Я этих слов не знала. В последние свои дни он вспоминал те далекие места и людей, давно ушедших к своим богам. Мы все любили Гастеса и скучали по нему.

Я повернулась к дверям, собираясь уходить.

– А Нини видела издалека, она сидела в галерее у виноградных беседок. Просто помахала ей рукой. Да почему ты спрашиваешь?

– Мариам, тебе нужно кое-что знать.

– Долли, я тороплюсь...

– Мариам, когда увидишь Нини...

Я была уже за дверью.

– Мне незачем видеться с Нини, если только она не болеет или не рожает, – огрызнулась я, злясь на Долли и не понимая, почему это касается кого-то, кроме меня и Неда.

* * *

Работа постельной грелкой для мастера Рассела пошла Нини на пользу. На ней было красивое атласное платье, а из-под подола в такт шагам мелькала белоснежная нижняя юбка. Девушка шла с непокрытой головой, демонстрируя густые длинные темно-каштановые волосы, заплетенные в тугую косу, свернутую узлом. Под маленькими ушками подрагивали тонкие обручи. А когда она подошла поближе, стал заметен ее округлый и высокий живот. Да уж, Рассел зря времени не терял. После смерти жены его домашним хозяйством занялась вдовая сестра, и мне было интересно, как все сложится дальше. Для Нини.

– Тетушка Мариам. – Голос у Нини был высокий и чистый, и слова она выговаривала легко и быстро, а не растягивала, в отличие от многих местных, особенно южан. Не слышалось в ее речи и особого ритма, свойственного тем, кто, вроде меня, приплыл из-за темных вод. Впрочем, и не должно было. Нини, светлая мулатка с кожей цвета ореха пекан и носом тонким, как у англичан или других белых, задалась целью добиться, чтобы ее речь соответствовала внешности.

Я остановилась и улыбнулась, опустив глаза на ее живот.

– Вижу, маленького ждешь.

Девушка покраснела и похлопала себя по животу.

– Да, мэм, – сказала она с гордостью. – Эша говорит, что в июле. – Она вздохнула. – Тогда придется попотеть.

– Да, придется, – согласилась я. – Как ты себя чувствуешь?

Я протянула руку и положила руки ей на живот. Для шести месяцев ребенок был довольно крупным, а живот твердым. Может, двойня?

Нини вздохнула еще раз.

– Меня не рвет по утрам, но иногда болит живот. Может, дашь что-нибудь?

Я порылась в корзине в поисках пакета с листьями мяты. Наверное, просто несварение желудка. У меня самой такое было.

– Мастер Рассел...

Девушка быстро оглянулась через плечо, затем схватила меня за локоть и повела к двери на галерею. В ее глазах плясали смешинки.

– Да, мастер Рассел. Он этому ужасно рад. Мисс Белла, правда, не очень, но она не смеет ему возразить. – И Нини хихикнула.

– Ну, детишек-то у него давненько не было, – отозвалась я, протягивая ей найденную мяту. – Держи, это должно помочь. Завари кипятком, как чай, и дай настояться, но не слишком долго, напиток должен оставаться светлым.

Нини кивнула и усмехнулась. Но глаза ее не улыбнулись.

– Мастер Рассел думает, что это его ребенок, – шепнула она очень тихо, голосом, который я почти не узнала.

И наклонилась ко мне.

Вот это новость.

Долли бы, наверное, много отдала, чтобы ее узнать.

Я все еще сжимала в пальцах пакетик с мятой. Светло-карие глаза Нини блеснули, и, слегка улыбнувшись, она цапнула мяту.

– А разве нет?

– Это ребенок Неда.

Ее глаза встретились с моими, затем скользнули по лицу ниже, на мою грудь, большую, висящую над поднятым повыше и теперь ослабленным поясом фартука, а затем еще ниже, на сам живот, уже

слегка выпирающий. Девушка фыркнула, и я почувствовал, как пламя ярости, назревавшее в желудке, накалилось.

– А у тебя, тетушка, такой вид, словно ты тоже ждешь пополнения, – заметила Нини, поворачиваясь и собираясь уходить. – Но я-то знаю... ты слишком стара для этого.

Ее каблучки процокали по деревянному полированному полу. Она помахала пакетом в воздухе.

– Спасибо за снадобье, тетушка Мариам.

Мне хотелось схватить девку, швырнуть на пол и отпинать до крови. Вырвать из ее пальцев мяту и запихнуть ей в рот зелье, которое заставило бы ее скинуть отродье, которое она вынашивала, истечь кровью. Мой разум наполнился уродливыми и злыми мыслями, такими мрачными и подлыми, что мне стало плохо. Но я не причинила ей вреда. А просто ушла.

Я обходила своих подопечных, осматривала эту женщину, того мужчину или ребенка, раздавала еще снадобья, перевязывала рану и двигалась как мертвая, почти никому не говоря ни слова. Не помню даже, видела ли деревья. Кто-то помахал мне рукой и поздоровался, не помню кто. На ферму я возвращалась с ощущением, словно меня наотмашь ударили ногой в живот. Мимо прошел Маккалох. Я и его не заметила.

– Мариам? Что... захвырала? Тыбе помочь?

Маккалох махнул рукой в сторону дома, где в дверях стояла Долли. Я покачала головой, пытаюсь уйти. Шотландец схватил меня за руку и не отпускал.

– Ты?.. Долли сказала, ты пошла по делам. Ты?.. Ходила в дом Рассела?

Я посмотрела на него, прямо ему в лицо, в глаза и в ту же секунду поняла, что он, как и все остальные, знает о Нини, о Неде, об их ребенке.

И обо мне.

Маккалох прокашлялся.

– Рассел послал ту бригаду... в которой сейчас Нед, в Зеленые Сосны. У него там большая ферма. Они там пробудут какое-то время. Я подумал, ты захочешь это знать.

– Почему ты решил, что я хочу это знать? Почему? Зачем тебе это? А?

Те, кто стоял ко мне спиной, теперь развернулись. А я неожиданно перешла на язык *эдо*. В глазах у Маккалоха мелькнуло удивление.

– Я с Недом, Нед со мной! Мы... хоть ненадолго! Почему тебя это волнует? Потому что с этим ребенком у тебя появится еще один работник? Это тебя заботит? Поэтому ты спрашиваешь? И во сколько он тебе обойдется?

Из горла Маккалоха вырвалось рычание. Я сделала глубокий вдох. И опамятовалась. И поняла, что крик, который слышу, – мой собственный. Слова... слова на языке моих родителей, моих предков... я выкрикивала человеку, которому принадлежала сейчас. Я забыла себя, забыла, кто я. Забыла, с кем разговариваю.

– Ты нездорова, Мариам. Долли позаботится о тебе... и о ребенке.

Я отдернула руку. Нет. Это он выпустил меня. И я побрела по пыльной дороге к своей хижине, а Долли за мной по пятам. Едва она закрыла дверь, я рухнула на пол.

* * *

Эдуард родился 7 июня утром, его первый крик слился со стуком дождя по крыше. Росту он был небольшого, но крепкий и хорошо сложенный, все пальчики на месте, все ровненькие. У него оказался волевой нос Неда и мой лоб. Тельце было цвета жженого сахара. Я обнимала его, целовала, кормила, пока смерть не взмахнула над ним крылом. Маккалох поручил Долли присматривать за мной и сказал, что мне можно не работать, пока она не решит, что я готова. А если кому-то приспичит поболеть или родить, придется звать Эшу или миссис Эймс. Поэтому я лежала в маленькой хижине Долли или сидела в кресле рядом с большим очагом, кормила и нянчила ребенка. И наблюдала за ним, пока он не подхватил заразу, которая бродила по нашим краям. Тогда он перестал есть, перестал плакать, перестал просто быть. Он осветил мою жизнь на целый месяц. А потом угас.

Маккалох похоронил мальчика на своем семейном кладбище, а Клейтон сделал для могилки небольшое надгробие: «Эдуард, сын Мариам, 7–30 июня 1804 года».

Я не сидела в углу и не молила о смерти. Не входила в воды реки и не просила богов унести меня. Не отказывалась от еды и воды. Не

плакала. Это было совершенно сухое горе, без слез. После того, как Геркулес высыпал последнюю лопату земли на крошечный ящик, в который положили моего сыночка, я повернулась и пошла обратно в маленькую хижину, вытащила из сундука, стоявшего в углу, кусок белого муслина и туго-натуго перетянула себе груди... Потом надела на голову соломенную шляпу и отправилась в поле. Одна. Остальные еще оставались на кладбище и пели песню, с которой душа моего Эдуарда должна была отлететь к облакам.

«Но не все они будут твоими»

Он родился в летний день. День, который хорошо начался и продолжал радовать каждым лучом солнца, каждой птичьей трелью птицы, ласкал мое лицо ветерком, давал дышать сладким, мягким и успокаивающим воздухом. Это был один из самых ужасных дней в моей жизни.

Я горбилась над табачными кустами, спина разламывалась на части. Туфли покрылись грязью, земля под ногами была влажной, но ее прохладная толщина будто ласкала мне ноги. Руки сводило судорогой – прежде я лечила от нее других, а теперь собственными мазями натирала себя так же часто, как Герка с его узловатыми артритными пальцами или Долли с ее радикулитной спиной, пыталась исцелить себя. Время брало свое.

При виде акров зелени, пушистых метелок кукурузы, кланяющихся на ветру, мне в голову пришла мысль, что теперь позади у меня больше полей, холмов, гор, рек... и глубоких вод, чем впереди. Я вздохнула. День моего рождения был так давно, что я забыла, сколько мне лет, но одно знала точно: я старуха. В своем племени, у народа своей матери я была бы мудрой женщиной, ведуньей, которой со своими сокровенными знаниями и стареющим телом пристало помогать роженицам (что я и делала), баловать детей и раздавать ненужные советы, а не заниматься каторжной работой или трепетать от желанья, почувствовав прикосновение мужчины. Я выбросила Неда из головы и из сердца. Грудь покалывало. Скоро придется менять повязку.

– Так уж заведено, – говаривала Мари Катрин.

И была права.

Синее безоблачное небо снова и снова отвлекало меня, но останавливаться, не закончив работу, нельзя. Я сосредоточилась на растениях, слушала, как перекликаются кардиналы и щебечут щеглы. Предупреждая, заверещала голубая сойка. На деревьях стрекотали цикады, исполняя последнюю песню перед смертью и

превращением в ночных сверчков. Циклы, круги, времена года, перемены снова и снова...

Я услышала его раньше, чем увидела.

– Мари-а-ам! Мари-и! Где ты? Мари-а-ам!

И вскочила, замерев, словно олень перед стволом ружья. Это был Уош из дома Рассела. Он продирался сквозь густую кукурузу, а добравшись до меня, остановился и рухнул на колени, опустив голову и задыхаясь. Я усмехнулась.

– Ну и ну, Уош, Тузи тебя явно перекормила пирогами и кукурузным хлебом с маслом.

Он посмотрел вверх, и, увидев мученическое выражение его лица, я не стала зло шутить насчет обхвата его пояса.

– Что еще такое? Что за беда?

– Нини... Ребенок... – Уош выплевывал слова, словно стараясь выкроить побольше времени на вдох.

Я пожалала плечами и посмотрела на свой мешок, заполненный кукурузными початками лишь наполовину.

– Необязательно было проделывать такой путь, чтобы сообщить мне это. О ней прекрасно позаботится Эша.

Отношения у меня с Эшей были странными, мешало ненужное напряжение, возникающее в основном из-за прежних конфликтов между нашими двумя народами, но даже наши боги понимали, что все это происходило в местах, которых обе мы не видели уже более тридцати лет и никогда не увидим. Здесь мы были наравне. Нини позвала Эшу, и это не удивительно. Прежде чем попросить о помощи меня, она, наверное, отрубила бы себе палец.

– Эша меня и послала. – Голос Уоша звенел тревогой. – Сказала, ты быстро придешь. Нини в беде. – Его светло-карие глаза впились в меня. Он был напуган. Я бросила мешок и побежала к хижинам. Если Эша просит о помощи, значит, с Нини всё куда серьезнее, чем мог предположить Уош.

Я приняла роды у сотни женщин, а может, и больше. Лица матерей расплылись в памяти, их стоны и крики слились в один общий вопль, крики их детей смешались в один протяжный визг. Все различия между рожденьями, удачными и не всегда, стерлись из памяти, все сгладились в воспоминаниях, и все матери стали одной, а

все младенцы – одним. Все, кроме Александра. Его появление на свет я буду вспоминать каждый день до конца жизни.

Потому что, когда я вошла, было очень тихо.

Уш слишком поздно явился за мной. У дверей хижины меня встретила зловещая тишина, от тяжести которой я с трудом переступила порог. Горло у Нини пересохло от криков, и сил уже едва хватало, чтобы изредка стонать. На полу растеклась кровь. Наверное, столько не проливалось ни на одном поле боя. Эша стояла в углу с пепельным лицом и красными глазами и низким хриплым голосом быстро выпевала незнакомые слова. Тузи и Нидра замерли, обнявшись, в противоположном углу и молча рыдали. Помню, я подумала: «Почему они ей не помогают? С ними-то что случилось?» – и разозлилась, а потом поняла: а что тут поделаешь?

А потом была кровь. Галлоны крови.

Ребенок все еще был внутри нее.

– Мариам? Мэри, это ты?

Сила Нининого голоса меня поразила. Теперь она ничем не напоминала ту беззаботную девушку.

– Нини, это я. Ты просто молчи, я...

Что? Что я намерена делать?

– Сейчас мы вытащим этого ребенка.

Мои руки двигались словно отдельно от меня, а я понятия не имела, что они делают. Мы с Эшей протерли роженицу, и я постаралась осмотреть ее, не причиняя еще большей боли. Нини немного постонала, но ничего не сказала. Думаю, она почти ничего уже и не чувствовала.

– Мне нужно... тебе... сказать тебе...

– Тихо, дочка, – буркнула я. Откуда оно взялось? Эша поймала мой взгляд, но промолчала. Я произнесла слово на *эдо*, ласковое слово из моего детства. Это не был язык Эши, но она его знала. – Молчи, потом поговорим.

– Нет. Я... скажу тебе сейчас... Мариам... – Голос Нини замирал, но мое имя она старательно выкрикивала, тратя драгоценные силы, чтобы привлечь мое внимание. У меня сжалось горло. – Пожалуйста.

Эша нежно подтолкнула меня, ее руки заменили мои, массируя живот Нини. Я выжала тряпку и промокнула бедняжке лоб. Нини не походила на ту девушку, которую я знала. Лицо ее побледнело,

посерело, темные глаза ввалились, губы пересохли и потрескались. Длинные волосы разметались по подушке, словно лапы огромного паука. Сердце у меня захолонуло...

Жалостью? Печалью?.. Меня захлестнуло понимание, унося с собой всю ревность, горечь и ярость, которыми были отмечены мои отношения с Нини. Любовь иногда оборачивается болезнью. Я чуть не прибила девчонку, хотела затоптать до смерти, когда она сказала, что ее округлившийся живот – от Неда. А потом несколько дней плакала, представляя их вместе, как он ее целует, губами касается разных местечек на теле и ласкает так знакомо... Пока не вышли все слезы и не стала раскалываться голова. После этого меня почти каждый день тошнило, а Нини, пышущая молодостью и здоровьем, казалось, плыла сквозь недели: ее груди набухали, живот округлился, стал мягким и чувственным. Нед... ушел. И мой ребенок... его ребенок, родился и тоже ушел. Я желала этой женщине всяческого зла.

А сейчас? Я повитуха, и богиня-покровительница рожениц послала меня послужить этой женщине и проводить ее ребенка через врата жизни. Когда-то Нини была красивой: янтарная кожа, густые темные волосы, которые она заплетала в косы и закалывала. Сияющие черные глаза и тело, желанное любому мужчине. Юное, прекрасное. Мысли я хоть чуточку трезвее, то поняла бы, почему Нед ее захотел. Но, оглянувшись на пейзаж своей жизни за последние месяцы, осознала, что все это не имеет никакого значения. Колодцы моих глаз наполнил океан горячих слез. Я откинула голову назад, желая вернуть слезы к источнику. Нужно работать.

«Неважно, что они или их дети умирают на твоих глазах, что ребенок рождается мертвым или уродцем, ты приняла облик богини. А она мудра и могущественна. Богиня не плачет, не выказывает отчаяния. Она сама себя создает и разрушает». Голос Мари Катрин заполнил мою голову, словно она стояла рядом, как Эша. Я глубоко вздохнула и помолилась этой безымянной богине. Потом заговорила.

– Нини, помолчи... – я говорила с беззаботностью, которой не испытывала.

– Моя задача – родить ребенка. – Глаза Нини были закрыты, но она улыбалась. – Ты меня ненавидишь.

– Давай, девочка... сейчас мы...

– Нет. Послушай. Знаешь, я... этот Нед...

Она вдохнула, и от звука, вырвавшегося из глубины ее горла, у меня по спине пробежал холод. Предсмертный хрип ни с чем не спутаешь. Глаза Эши снова встретились с моими, на этот раз они были полны слез.

– Нед... он... тебя не любил... да и меня... тоже. Все быстро кончилось. Он уехал. Его отослали. Мариам... – Нини схватила меня за руку с такой яростной силой, какой от нее трудно было ожидать. – Возьми моего мальчика, Мэри. Возьми его, выкорми, у тебя же еще есть молоко. Подними его. У меня здесь никого нет. Пожалуйста... пожалуйста, не бросай его. – Рыдания обрушились на меня волной, похожей на ту, с которой я познакомилась много лет назад, когда пересекала большую воду, Атлантику, – «волна-убийца», как ее называли матросы. Волна появлялась из ниоткуда, отчего, знали только боги, и для чего – тоже знали только боги. Иногда вместе с волной являлись морские чудовища. Иногда волн было несколько, и они опрокидывали огромные парусники, как игрушки. Иногда топили вся и всех. И всегда повергали в панический ужас. Вот и сейчас страх захлестнул меня ледяным потоком, но я не могла отказать Нини.

– Нини, не волнуйся. – Шотландец сказал бы: «Не шебурши». – Не беспокойся. Я заберу твоего мальчика, пока тебе не станет лучше. Заберу.

Нини открыла глаза и улыбнулась мне.

– Лучше не станет, сама ведь знаешь.

Да, знаю. К стыду своему, пытаюсь обмануть мертвую. Или почти мертвую. А они ведь видят сквозь туман времени.

– Расскажи ребенку про меня. И про... Неда.

– Хорошо.

– Ты будешь его любить, Мариам? Пожалуйста, полюби его!

На этот раз я промолчала. У меня не было слов. Только кивнула, сжав губы.

Мальчик Нини родился почти в тот же момент, как жизнь покинула ее – и она это знала. Мне не пришлось его вытаскивать. Или вырезать – нам с Эшей. Он как-то сам умудрился выскользнуть в мир, дернул ножками, скорчился. А затем вдохнул так глубоко, что я подумала, это сразу его сморит, и закричал. Мы все улыбнулись от радости, а потом заплакали. Мать никогда не услышит его голоса.

Мы с Эшей, Тузи и Нидрой обмыли тело Нини водой и слезами и завернули в простыню. Мужчины отнесли ее в хижину Уоша для прощания. После чего мы не без труда оттерли с пола всю кровь. Брата Уилларда, проповедника с фермы Маккормиков, позвали сказать несколько слов. И до захода солнца Нини упокоилась на кладбище рабов Рассела в лесу за поселком.

– Что вы намерены делать с этим ребенком?

Голос мистрис Беллы, звонкий и резкий, взрезал наполненную горем тишину, словно нож.

– Он принадлежит мне, – прокудахтала она. – Ну, или на худой конец... брату.

Мистрис Изабелла Рассел Эллис жила у брата на хлебах и всячески блюла его интересы, потому что ее муж сбежал с какой-то другой женщиной и забрал с собой их деньги.

Эша пожала плечами и ничего не сказала. Она была из дома Маккормиков и мастеру Расселу не принадлежала. Ответила Тузи.

– Госпожа... мы... – и она оглянулась через плечо на Нидру. – Ребеночку-то титька понадобится, а я уж стара. Да и Нидра давно не доится. – Тузи посмотрела мне прямо в глаза. – Может... Мариам заберет его на время?

Белла Эллис фыркнула.

– Как бы не так, – огрызнулась она, слегка тряхнув головой, отчего ее толстые напояженные локоны-сосиски подпрыгнули. – Этот маленький ниггер – собственность моего брата. И останется здесь.

Теперь настала очередь Эши фыркнуть.

– Верно, вы тогда сами возьметесь его выхаживать, госпожа?... – Она закусила губу. Верхнюю. Я не слышала ничего, кроме голоса крохотного ребенка, мальчика Нини, сопящего и скулящего.

* * *

Идти было всего мили полторы, не дольше получаса. Но я очень устала, да и ребенок открыл глазки. А груди так набухли и напряглись, что вот-вот взорвутся. Я уже видела дым из трубы дома Маккалоха, когда пришлось остановиться. Ноги просто подкашивались. И малыш проголодался.

Неподалеку среди полей со зрелыми плодами конца лета высился небольшой холм. Кроме меня и случайных прохожих, стремившихся поскорее покинуть владения свирепого Маккалоха, там мало кто бывал. Я опустилась на валявшееся в траве бревно, назначив его скамейкой, и поставила мешок. Ребенок смотрел на меня темными глазами и сопел отцовским носом. Я закусила губу. Это было мне искупление за страшную глупость.

Влажное и липкое от пота и молока платье прилипло к телу и никак не расстегивалось, поэтому я просто стянула его с плеч. Чмокая, младенец присосался к груди так, словно внутри у него открылась бездна. Я спела ему песенку, которую пела мне мама, хоть и забыла значение слов.

Его головку покрывали темные волосики, черные как смоль, ресницы тонкими стрелочками лежали на щечках. О боже, а носик! Совсем как у Неда. Крошечная ручка обхватила мой мизинец.

Я подняла глаза. Вроде послышался какой-то звук. Я задержала дыхание. Ребенок самозабвенно сосал. Браконьер? Патрульные? Я медленно огляделась, надеясь, что не увижу уставленных на меня человеческих глаз. Ничего и не было. Ни оленя, ни белки, ни кролика. Малыш уснул. Я натянула платье и пошла вниз с холма с сыном Неда на руках.

Мальчик Мариам

Я не виделась и не разговаривала с Маккалохом недели две-три. Он уезжал и возвращался, а потом опять уезжал то на ферму, то за ее пределы. Геркулес говорил, что шотландец навещался к Маккормикам и Расселам, и в город по делам. Впрочем, присутствие или отсутствие хозяина не имело большого значения, мы и сами знали, что делать. Кукуруза не уберется сама. Куры сами не соберут яйца. И Долли готовила независимо от того, дома Маккалох или нет.

Меня не было дома две ночи: мистрис Смит из дальнего поселка послала за мной, чтобы я приняла роды у ее дочери Пег. Ребенок родился после захода солнца, а мне не нравилось бродить по ночам, поэтому я поспала на тюфяке рядом с мамочкой и младенцем. Вернулась рано утром, едва взошло солнце. В этакое время на дорогах пусто, никто ни о чем не спросит, да и в любом случае у меня есть пропуск от Маккалоха. А ребенка Нини я брала с собой, куда бы ни шла.

Домой я притащилась около шести утра, уложила спящего мальчика в колыбельку, которую Клейтон смастерил для моего Эдуарда. Ее почти и не использовали. И еще не успела захлопнуть дверь, как раздался стук. Я ответила. В дверном проеме выросла фигура Маккалоха.

– Итак, у нас теперь есть малец, – произнес он.

– Да, – выдавила я. Усталость просто валила с ног. Надеюсь, он не собирается огорчать меня с ребенком. Надеюсь, до него дошла записка мистрис Беллы с объяснением.

– Мистрис Изабелла написала про обстоятельства.

Шотландец подошел к колыбели и несколько мгновений стоял молча. А затем спросил:

– У тебя здоровья-то достанет, чтоб... за дитем приглядывать?

Я кивнула, говорить сил не нашлось.

– Когда его можно отнимать от груди?

– Месяцев через шесть... восемь. Можно и раньше, но...

– Не, делай как надо, лишь бы дитенок был здоров.

Маккалох наклонился над колыбелью и погладил щечку младенца большим корявым пальцем.

– Такой малыш... а имя-то есть у него?

По моим щекам покатались слезы.

– Нет. Нини умерла и... – Я покачала головой. Слова застряли у меня в горле, как рыбья кость.

Маккалох медленно кивнул и встал.

– Да. Не успев дать ему имя. Ужасно. А, ладно... – Он снова посмотрел на спящего ребенка и улыбнулся. – Будым звать яго Александром, пока Рассел не придумает чаго иного.

Словно откликаясь на свое новое имя, ребенок зашевелился, потянулся и открыл рот. Сначала ничего не вырвалось, кроме зевка, но затем раздался такой громкий крик, что Маккалох вздрогнул.

– Он еще ребенок, сэр, – я сжала губы, сдерживая улыбку. – Не укусит. По крайней мере, пока.

Шотландец смотрел на меня, а я – на него, позволив себе такое всего несколько раз за все время, что жила здесь. Я никогда не поднимала глаза. С тех самых пор, как ступила на эти берега, я усвоила один из первых уроков: нельзя смотреть в лицо белому человеку.

Передо мной стоял высокий мужчина, широкогрудый, подтянутый, несмотря на возраст: он лет на десять, а то и больше старше меня и уже давно немолод. Борода перец с солью, а местами просто седая, всегда коротко и аккуратно подстрижена. По словам Геркулеса, который приводил ее в порядок, шотландец в этом весьма требователен. Скулы высокие, а кожа скорее загорелая, чем розовая, хотя он родом из Шотландии, страны, как говорили, холмистой, где студено и часто идут дожди. Его глаза цвета темного меда скользили по мне, как осенний ливень, заставляя кожу холодеть. Я медленно выдохнула. Александр захныкал.

Глаза шотландца сверкнули, он повернулся и пошел к двери, но, прежде чем ее закрыть, отрезал:

– Глазей-ка лучше на мальчика, женьчына.

Малец же, проголодавшись, уже плакал во весь голос. Перед у моего платья промок насквозь.

– Он прям как дурак с этим мальчишкой, вот уж точно, – посмеивалась Долли, глядя на большую миску с фасолью у себя на коленях. Мы только что нарвали стручки и теперь чистили их. – Кто бы мог подумать...

– Угу, кто бы, кто бы, – повторила я за ней, одним глазом глядя на бобы, а другим – на Александра. То, что делал Маккалох, вызывало дрожь. Он, взяв мальчика на руки, маршировал вокруг загона с Бен, своей кобылой-великаншей, время от времени сажая ребенка в седло. Сандр хохотал, Маккалох довольно улыбался, и зрелище было бы трогательным, если бы не пугающий факт: Бен огромна и своенравна, а Александр – неуклюжий малыш, хоть и крупный. И еще такой совсем незначительный момент: Маккалох белый рабовладелец, а Сандр, в общем-то, собственность, причем чужая. К тому же у них разный цвет кожи. Однако Маккалох смотрел на Александра словно на сына. И совершенно одурел с тех пор, как я принесла мальчика на ферму. Я не могла объяснить это ни себе, ни другим, поэтому просто оставила все как есть. Но меня это беспокоило. Александру исполнилось десять месяцев, я почти отняла его от груди, и он делал первые шажочки. Причем явно был умным человечком и даже пытался говорить, вернее, лепетал, довольно отчетливо произнося лишь один слог – «па», – который Маккалоху показался тем самым словом.

Мастер Рассел мог в любой день прислать за мальчиком Уоша. Каждый день я этого ждала и готовилась к расставанию, хотя сердце рвалось на части. Но Сандр принадлежит Расселам. И Маккалох это знает. Интересно, как он поступит, когда сюда явится мистер Рассел?

– Наверное, потому что жена и дети умерли и он одинок, – бормотала Долли. Она говорила, я не слушала. – И ведь за все годы ни разу не привел сюда женщину. А давно мог бы взять другую жену, родить еще детей. Жалость-то какая. А теперь уж стар стал.

А я смотрела на мужчину, держащего моего мальчика – о нем я думала только так, понимая притом, что скоро придется от него отказаться. Да, Маккалох стар. Но не мертв же! Шотландец глянул на меня, и я отвела глаза и снова принялась сосредоточенно лущить фасоль.

Историю семьи Маккалоха я слышала. Они с женой, имя которой мне неизвестно, а Долли его забыла, приехали из Шотландии лет двадцать назад, а то и больше. Купили землю, стали ее обрабатывать, и

женщина родила пятерых детей, здоровых и цветущих. Пока не пришел тиф и всех не убил. За день. Заболели жена и один ребенок, и шотландец отправился в город за доктором. А когда вернулся, нашел всех, кроме одного малыша, мертвыми. Последний ребенок боролся за жизнь еще один день, но не справился. Говорили, Маккалох пытался покончить с собой.

Спустя «приличное время», как принято у розоволицых, соседи стали приглашать шотландца на разные сборища и знакомить с незамужними дамами, молодыми и не очень. Он же завидный жених: бережливый, земли много; правда, грубоват, но трудолюбив и порядочен, словно сам Жан Кальвин, хотя вроде католик. Никто не знал точно, потому что Маккалоха никогда не видели ни в одной церкви. Часть каждого воскресенья он проводил, ухаживая за надгробиями в северо-западном углу своего дальнего участка, где лежали его любимая жена, Джон, Бриджит, Джеймс, Джоан и Ангус.

– Многих мужиков так захомутали, – сказала Долли, как обычно осуждающе, и нахмурилась, когда ей в голову пришла еще одна мысль. – Помню, одно время ходили слухи, что он встречается с миз Генриеттой Перкинс. Ну, то есть давным-давно!.. – Долли ухмыльнулась, а затем повеселела и понизила голос. – Но это ничем не кончилось. Потом говорили, что миз Перкинс отправилась в гости к тете в Балтимор-Сити и там вышла замуж за вдовца. Купца, кажется. Ну, да она ж совсем глупая, а Маккалох дураков не любит. А еще болтали про него и Изабеллу Рассел...

Мы переглянулись и расхохотались, как девчонки. Изабелла Рассел? Даже представить не могу.

– Хрен чё выйдет, – пробормотала я, подражая Маккалоху. Мы еще немного похихикали, а затем Долли толкнула меня локтем.

– Что?

– Он на тебя сейчас смотрит.

– Да и пусть. Я уже старая. И он тоже.

Долли фыркнула.

– Ага, как перед этим Недом, этим ничтожеством ноги раздвигать, так была молодая! Ты сейчас еще не старая, вполне можешь ребенка завести.

– Долли... – Я смотрела на нее в упор, выпучив глаза.

– Ладно-ладно.

– Все в прошлом. У меня есть моя работа и мой... – Чуть не сказала «мой мальчик». Но Александр не мой! И очень скоро, куда раньше, чем выдержит мое сердце, придет мистер Рассел или кто-нибудь из его работников и заберет у меня Александра. И я снова останусь одна.

– И потом...

– Ну, что еще? – огрызнулась я.

– Он... – И Долли ухмыльнулась так широко, что улыбка показалась мне трещиной на ее лице. И провела кончиком пальца по светлой, медового цвета щеке, усеянной веснушками. – По-моему, положил на тебя глаз.

На этот раз я толкнула ее сильно.

Долли покусывала внутреннюю часть щеки.

– Мариам, ты слишком долго прожила, чтобы так говорить, да еще и думать, будто это правда. Никто бы тебя не осудил. И его никто бы не осудил. Он по-своему хороший человек. И... – Вдруг она торопливо захлопнула рот и вернулась к работе.

К нам подскочил Маккалох, за ним по пятам мчалась его собака Джинджер. Он протянул мне извивающийся комок – Александра – и отступил назад, расплываясь в самой широкой и глупой ухмылке, какую я когда-либо видела у взрослого мужчины.

– Этот парень прирожденный наездник. Оседлает эту чалую раньше, чем пойдет! – Маккалох щелкнул мальчика по носу и был вознагражден улыбкой во весь рот и хихиканьем. И велел Долли: – Я опоздаю к ужину, оставь его у очага.

– Да, сэр.

Меня он спросил:

– Грэм Браун грит, ты скоро придешь к его женке?

– Да, сэр, – ответила я, глядя на почти доверху полную миску с зеленой фасолью у себя на коленях. – Она быстро управится. – У миссис Браун это были шестые роды.

– Имей в виду, если тыбя вызовут затемно, зайди за мной. В городе слухи ходят, что появились патрульные.

– Да, сэр, – ответила я, не поднимая глаз. Александр обмочился, и я встала, чтобы сменить ему штаны и скрыть испуг на лице.

Патрульные.

Маккалох ушел, а мы с Долли переглянулись. Мы уже несколько дней ждали гостя, а он все не появлялся. И теперь, когда в окрестностях объявились охотники за беглыми рабами – особенно злобным был тот, с которым как-то столкнулась я, тот, кого называют кайнтукийцем, – нашему гостю, где бы он ни находился, грозит опасность. Связаться с ним и предупредить нет никакой возможности. Я надеялась, что сумею, прикрываясь родами миссис Браун, убедить гостя выйти из укрытия, обработать ему раны, подлечить, подкормить. Хоть предстоящие роды были у Эми Браун далеко не первыми, я полагала, что до них остался еще как минимум месяц.

Но ошиблась.

Индийская пещера

За мной прискакал старший сын Браунов.

– Ма говорит, ребенок вот-вот выйдет! – запыхавшись, выкрикнул веснушчатый мальчик с нелепо торчащими вокруг головы соломенными волосами. – Просит поскорее привезти вас!

Младенцы не следили за временем и сами решали, когда им появляться на свет. Поэтому определенный набор всего необходимого у меня всегда лежал наготове. Оставалось только добавить то, что пригодится в конкретном случае. Я отправила малого Брауна на кухню попить, подхватила Александра и его одежды и пошла туда же.

Долли, как всегда, делала десять дел одновременно: готовила ужин, ставила остывать пироги, мыла столы и подавала чашку воды рыжеволосому сыну Браунов. Маккалох по дороге к конюшням на ходу обменялся с мальчиком грубоватыми приветствиями.

– Эй, ты сегодня что, совсем ничего не пил? – удивилась Долли.

– Нет, – пробормотал мальчик между жадными глотками.

– Угу, – сказала Долли, забирая у него пустую чашку и переворачивая ее вверх дном. – Еще хочешь?

Малой сглотнул, рыгнул и кивнул, а нам с Долли стало весело.

– Вам лучше ехать по северной дороге, – распорядилась Долли, и эти указания, обычно ей не свойственные, меня сильно насторожили. Я внимательно прислушалась к ее словам. – В лесу шауни попрохладнее.

– Да, м'м, – кивнул мальчик. – Мама всегда говорит, что нам лучше ходить там.

– Вот и ладно, – сказала Долли. – Там легко дышится.

Малой Браун опять рыгнул в знак благодарности и направился к двери.

– Присмотришь за Александром? – спросила я Долли, и без того зная, что она это сделает.

– Да, – сказала она, забирая из моих рук мальчика и целуя его в щечку. Потом наклонилась, заглядывая в тамбур, через который мгновение назад прошел шотландец, и прошептала: – Пещера.

Как она узнала, я понятия не имела. Да и не мое это дело – знать. Нужно запоминать и действовать. В мой мешок мы положили хлеб, вяленое мясо, яблоки и кувшин с водой. Одеяло.

– Когда он там будет? – прошептала я.

Взгляд Долли метнулся к открытой двери. Тяжелые шаги Маккалоха были слышны, но не рядом.

– Сегодня, а может, и уже там, если пришел пораньше. – Она запихнула одеяло поглубже в мешок. – Будьте осторожны, охотники еще рыскают. – Долли вздохнула и одними губами произнесла: – За одним гнались... м-м-да. Кончилось скверно. – Беглеца изловили, а что потом – никто не знает.

Я кивнула. Пропуск у меня есть, но это не спасло бы от побоев или чего похуже, если бы меня поймали. Александр икнул, затем нахмурился, собираясь заплакать. Он всегда так делал, когда чувствовал, что я ухожу.

– Малыш, мама скоро вернется. – Я подышала носом ему в шею, он захихикал, и от этого звука у меня перехватило дыхание. Долли посмотрела на меня с жалостью. Я знала, о чем она думает: «Она слишком сильно привязалась». И была права. Но пока Расселы не забрали Сандра, он оставался моим мальчиком, а я его мамой.

– С ним все будет хорошо, – сказала Долли.

– Знаю.

– *Vaya con Dios*, Мариам, – напутствовала она. – Иди с Богом.

* * *

Будь я азартным игроком, поставила бы серебро, что ребенок миссис Браун появится так быстро, что мне и платить будет не за что. И проиграла бы. За двенадцать лет Эми Браун произвела на свет пять детей, последние двое родов – поразительно легких – принимала я. Помнится, она пару раз пукнула, крикнула, и ребенок выскочил. И так оба раза. Но не теперь. Думаю, шесть – не ее счастливое число.

Когда я вошла, Эми Браун ходила по комнате, то хрюкая, как свинья, то завывая от ужаса. Стоило ей открыть рот, муж судорожно вздрагивал. Он был похож на животное в клетке, отчаянно стремящееся убежать, но понимающее, что ничего не выйдет, куда

бежать-то? Я протянула мистеру Грэму свою корзину, обняла Эми за плечи и повела к кровати, на ходу с ним разговаривая.

– Чайник согрели? Одежда приготовили?

Тот кивнул.

– Как давно начались боли?

– Еще до ужина. Жена говорит, такого никогда не было. Говорит, ребенок словно разрывает ее на части. – Мужчина так побледнел, что кожа у него на лице стала прозрачной и обтянула скулы и лоб.

– Рождение ребенка похоже на...

Меня прервал душераздирающий вопль. Эми схватила меня за руку, будто вознамерилась ее оторвать.

– Мариам! Помоги! Он меня убивает! Я больше не могу!

– Миз Браун, дайте-ка посмотрю, – попросила я со спокойствием, которого не испытывала.

По моим подсчетам, бедняжка рожала уже восемь часов. Без последствий женщина, которая произвела на свет пятерых детей, не сможет так долго выносить сильную боль. Я раздвинула ей ноги пошире и осмотрела родовые пути. Эми закричала, и я задержала дыхание.

– Дышите медленнее, миз Браун, медленнее... еще медленнее...

Я закрыла глаза и мягко прощупала ее огромный живот, местами твердый, местами более податливый, затем опять залезла в родовые пути и обнаружила то, что ожидала. Глянула на Брауна. Он медленно сглотнул.

– Миз Браун... Теперь вам нужно задержать дыхание и вдохнуть, когда я скажу. Я переверну малыша. Будет больно. Но...

– Делай! – прорычала она.

– Да, мэм, – пробормотала я. Малыш между тем устроился у меня на ладони, как будто знал, что я делаю и зачем. Эми задержала дыхание и ничего не сказала, не закричала и даже не застонала.

В комнате воцарилась тишина. Даже мастер Грэм, который, казалось, вот-вот сблюет или грохнется в обморок, просто стоял, затаив дыхание. Не знаю, сколько прошло времени, а следующее, что я услышала, это кряхтение и вздох маленького, но здорового мальчика и сердитый вопль извивающейся девочки, недовольной, что ее вытащили из уютной теплой темноты на свет и холод. Ее личико покраснело от крика, и она лягнула меня по носу, когда я попыталась

взять ее поудобнее, чтобы перерезать пуповину. Управившись, я завернула кроху в шаль и передала матери. Браун держал мальчика и глупо ухмылялся. Его не стошнило.

– Мариам, может, не пойдешь? – спросил он позже, когда окончательно оправился, а я принялась собирать корзину. – Подремлешь у Эми и малышей, пока не посветлеет. – Он чуть отдернул занавеску и выглянул наружу. Было между половиной шестого и шестью утра, еще темно, горизонт слегка подсвечивался по краям, только обещая рассвет. – На улице туман; пока не рассеется, идти по холмам будет нелегко. Хочешь, малого с тобой отправлю?

– Нет, сэр, эти дороги я знаю как свои пять пальцев, хоть в тумане, хоть нет, поэтому доберусь. Спасибо, сэр.

Дело не ждет, пора двигаться. Миз Эми, спокойная и довольная, кормит обоих малышей. Ей и мать, и старшая дочка, Морин, всегда помогут. Зайду к Браунам через несколько дней, если не обратятся раньше.

Напоследок сказала мастеру Грэму, чтоб хотя бы два восхода солнца не позволял миз Эми вставать с постели, и пошла по дороге, огибающей восточную окраину фермы Браунов. Здесь Браун посадил кукурузу. Как и везде в долине в этом году, она хорошо росла, местами вымахав в человеческий рост. На шелковистые метелочки, словно заблудившееся облако, опустился туман. Даже подумать страшно, сколько трудов уйдет, чтобы все это собрать. Кругом ни души, тропка кривая, но мои ноги ходили по ней столько раз, что двигались сами по себе.

На границе ферм Брауна и Джона Истмана дорога разветвлялась. Здесь поля упирались в заросли белых кленов, почтенные гиганты охраняли выход на невозделанную возвышенность. Маккалох как-то говорил, что деревья здесь древнее святого хитона Господня, что они были старыми уже в те времена, когда охотники чероки кочевали по стране вслед за бизонами и гонялись за лосями.

По дороге прежде возили лес, а на ручье, пока он не пересох, стояла мельница. Я пошла северным ответвлением по старой индейской охотничьей тропе, ведущей в лес. Эта часть Вирджинии отличалась и от низменностей, где я жила раньше, и от болот Джорджии и знойного Рифа Цезаря и совсем ничем не напоминала мои родные места. Деревья тут стояли так плотно, что и днем под

ними клубились сумерки. Кое-где виднелись голые скалы с темными дырами пещер: и неглубоких, вроде гротов, и тянувшихся под землей на многие мили. Все они хранили множество тайн и вдохновляли рассказчиков на истории о привидениях, гнездах фей, логовах троллей или иных тварей – в зависимости от настроения авторов. Я и сама сочинила одну, про белого паука размером с кошку, который ел на ужин кроликов и белок, а в пещере устроил гнездо. Поскольку у меня была определенная репутация и одни называли меня «африканской ведьмой», а другие – «гичи»^[67], эта байка отпугивала любопытных. И сочинила я ее не на ровном месте: белого паука видела своими глазами, но он был размером с кончик пальца и потому на белок не покушался.

Ежели не знать, где вход в Индейскую пещеру, то и с десяти футов не разглядишь. Его прикрывала роща невысоких деревьев, цветущие кустарники, подсолнухи и плющ, вьющийся по скале, – получался этакий зеленый холмик. Нипочем не догадаешься, что под ним скрыт темный проем, незаметный даже с наилучшей точки обзора, от ручья, куда на рассвете и в сумерках по очереди приходили напиться олени и койоты. Пещера была изолированной, располагалась на полпути к вершине хребта, в безлюдной части леса, в стороне от дорог: ближайшая, считавшаяся хоть немного проезжей, проходила как минимум в полумиле отсюда. Любому, кого сюда заносило, скажем всаднику, скакавшему по старым бизоньим тропам через холмы и вздумавшему остановиться напоить лошадь, незачем было выбираться из оврага и подниматься по гребню.

Все это делало пещеру почти идеальным убежищем для беглецов. Хотя, конечно, под ее сводами оказывались не только они. Пещера служила любовным гнездышком, убежищем от непогоды, стоянкой для отрядов индейцев чероки – словом, пристанищем для всех тех, кому требовалось теплое, сухое и укрытое от посторонних глаз место. За минувшие годы я нашла там кости животных, мундштуки от трубок, остатки костра и разбитую чайную чашку. На мягком известняке у входа некие «А» и «Д» вырезали свои инициалы. В задней части, где пещера сужалась практически до щели, в которую могло протиснуться лишь небольшое животное, предыдущий обитатель нарисовал на стенке целую охотничью сценку: отряд пеших людей с луками,

стрелами и копьями, лося и медведя. Даже мои усталые глаза хорошо различали в тусклом свете росчерки угля и красной охры.

Стояла такая тишина, что слышно было дыхание бабочки. Я свистнула. Посвистом щеглихи. Ответил другой щегол. Самец. Я отодвинула в сторону ветки сирени и вошла.

Гость уже ждал меня.

– Спасибо, миссус, – сказал он, в один присест съев принесенную мной еду и выпив чуть не полгаллона воды. Потом громко рыгнул и тут же покраснел. – Прошу прощения.

Я улыбнулась, порылась в корзине и достала рулон тряпок и небольшую кастрюльку.

– Дай-ка гляну твою руку.

Он порезался. Рана пока не гноилась, но чтобы этого и не случилось, ее следовало почистить и обработать. Он морщился, пока я занималась его рукой, но ничего не сказал, а только благодарно улыбнулся.

– Как тебя зовут?

– Хар... Генри, миссус.

Я снова улыбнулась. У молодого человека явно имелись манеры.

– А фамилию ты себе выбрал? Какая была у твоего хозяина?

– Да, выбрал, – поспешно ответил Генри. За резким тоном ощущалась история. – Джонсон. Это... пусть будет Джонсон. Моего отца звали Джон.

– Хорошо, мистер Джонсон. – Я похлопала его по руке. – Готово. – И протянула сложенный кусок полотна и мазь. – Прежде чем лечь спать, сними повязку, промой чистой водой и осторожно промокни. Дай ране подсохнуть на воздухе, а когда соберешься уходить, снова тщательно забинтуй.

Я хотела спросить парня, откуда он и куда направляется, но не стала. Мне следовало накормить гостя, обработать раны и подготовить к следующей остановке в его путешествии. Когда, где и какой будет эта следующая остановка, меня совершенно не касалось и, скорее всего, не было известно ему. Впрочем, новоявленный мистер Джонсон без колебаний удовлетворил мое невысказанное любопытство.

– В Канаду направляюсь, миссус, – пояснил он. – Для кого-то там земля свободы, надеюсь, и для меня. Двоюродный брат нашел работу на ферме в Онтарио, недалеко от города Амхерстбург, туда и иду.

– До свидания, мистер Джонсон, – сказала я, прежде чем покинуть гостя. У меня сдавило горло, глаза наполнились слезами: что-то в этом парне такое было. В голову пришли слова Долли, и я добавила: – Ступай с Богом – *Vaya con Dios*. Иди с любыми богами, каких только сможешь найти.

* * *

По дороге домой он все никак не шел у меня из головы. Такой молодой, такой решительный. Как яростно сверкнул глазами, заявляя, что не станет брать фамилию своего бывшего хозяина. И как ярость сменилась огоньком надежды, когда он заговорил о Канаде и ферме, где будет работать. И жить.

Сколько лет Генри Джонсону? Восемнадцать? Двадцать? Где-то там, в мире, мои Илай и Седрах, почти ровесники ему. И Александру когда-нибудь исполнится восемнадцать или двадцать, если боги будут с ним. Если его не убьет изнурительная работа, не продадут вниз по реке в Луизиану рубить тростник, если он не подхватит легочную хворобу или еще какую-нибудь заразу, если не начнет прекословить белому человеку и не получит пулю в лоб, пытаясь постоять за себя, высказывая свое мнение и действуя по своему усмотрению. Мысленно я представляла, как растет и взрослеет мой мальчик, а он навсегда останется моим мальчиком, заберут его Расселы или нет.

Вот Александру пять лет, вот двенадцать, длинноногий и худой, голос ломается, скачет от высокого к низкому, вот... пятнадцать, шестнадцать... слишком рано повзрослел. Жаждет быть хозяином самому себе.

Я уже и не помню, скольким пробиравшимся на север, на запад или куда-либо еще за пределы Вирджинии помогла пересечь эти глухие края. Я видела следы ударов плетью, лечила лодыжки и запястья, истертые и кровоточащие от цепей, слышала истории об изнасилованиях, разлуках и смертях. Многих смертях. Жизни этих людей зависели от меня, а моя жизнь принадлежала им. Я ходила за ранеными, усталыми, больными и готовила мертвых в последний путь. А живых отправляла дальше с лучшим напутствием, какое было у меня на сердце. Но сейчас впервые за долгое время позволила себе

задуматься, а не отправиться ли и мне в путешествие. Из-за Александра.

Какая жизнь ждет его здесь? Перси Рассел по натуре человек не жестокий, но у всех бывают тяжелые времена. Он заберет Александра и, рано или поздно, решит заработать на «славном негритянском парне»... И Маккалох... Годовалый Александр такой милый. Но вырастет ведь и перестанет быть милым... Почему так?

Сбежать? Обрести свободу для себя и мальчика путем, проложенным Долли и остальными? Пора? Если двинуться сейчас, придется нести его, но скоро, очень скоро мы окажемся в этой пещере, а потом направимся в Пенсильванию, или в Огайо, или, например, в Канаду, о которой говорил Генри Джонсон.

Эти мысли крутились в моей голове, пока я спускалась от пещеры по гребню скалы, а потом по тропе, ведущей к ручью. Теперь оставалось пройти вдоль его русла и, перевалив через холм, оказаться в дальней части земель Маккалоха. Уже на полпути к ручью я услышала мужские голоса, собачий лай и очнулась от забытья, навалившегося на меня от размеренной ходьбы. Впереди мерцал ручей Лейси и разговаривали четверо мужчин. Все они приехали верхом, но двое сейчас спешили и стояли, держа лошадей в поводу. В подлеске рыскала большая собака. Одним из двоих был Маккалох.

Я резко остановилась, пошатнулась и чуть не соскользнула вниз по склону. Но удержалась, присела пониже и затаила дыхание, туго натянув на плечи шаль. Собака повернула голову в мою сторону и подняла морду к небу, принюхиваясь. Один из мужчин наклонился, погладил животное по голове и посмотрел вверх, пытаясь проследить за его взглядом. Но мое серо-коричневое платье сливалось с листвой, как шкурка кролика. Собака встала, заинтересовавшись чем-то на другом берегу ручья, и ее хозяин отвлекся. А я воспользовалась моментом, чтобы медленно выдохнуть страх и осторожно вдохнуть надежду. Сделать ничего было нельзя, только ждать.

И слушать.

– ...Никакого права... – голос Маккалоха.

– ...Закон и я поддерживаем это... – пронзительное кудяхтанье охотника за беглыми рабами, которого прозвали кайнтукийцем.

– Ты чё, сбрался зыкон мне обыснять? Дык я и без тыбе зыконы знаю. А на своей зымле я и вовсе сам себе зыкон.

Собака поскребла землю задними лапами, а затем уставилась на хозяина. Станный пронзительный смех кайнтукийца взлетел вверх по хребту, а у меня по спине пробежал холодок.

– Ну-у-у, – сказал он, растягивая одно слово на два, – вы пра-а-авы, сэр. Я где-е-сь, чтоб закон соблюда-ался, и уверен, что вы это понима-а-а-ете. Я и сам должен его уважать и делать свою работу. А всех сбежавших ниггеров, которых я отыщу на вашей земле или еще на чьей, заберу себе. И еще, сэр. Уж больно много говорят, что беглецы находят убежище в этих лесах и...

– Вы не будыте дылать свою работу на моих зымлях, сэр, я высым лично отсюды привожу. – Маккалох покинул Шотландию очень давно, и акцент, в последнее время почти незаметный, проявлялся, только когда шотландец был на взводе. А кайнтукиец его, похоже, сильно раздражал. – Я рызберусь с любыми неграми, которых обнаружу на своих зымлях, даже с чужими. Пынятно? Вам пынятно, что я имею в виду, сэр? В свыем хызьяйстве я сам – рука правосудия, а не вы.

Кайнтукиец опять рассмеялся. В его голосе слышалась такая уверенность, что я с трудом сдержала дрожь. Собака снова принялась принюхиваться.

– Уж больно у вас своеобразный идеал справедливости, Мак, – произнес кайнтукиец, и я даже на расстоянии увидела, как шотландец сжал челюсти. – Но федеральный закон важнее вашего. – Маккалох дернулся, это движение заставило охотника на рабов отступить на шаг. Тот вытер лоб и опять засмеялся. – Однако... Я не из тех, кто попирает права законопослушных граждан, – и он низко поклонился в притворной уступке. – Поверю вам на слово. Только вот предупредить хочу... если ваши ниггеры куда пойдут... по вашему заданию, у них должен быть пропуск. Не хотелось бы сцапать кого-то из них. Вроде как по ошибке, понимаете. – И кайнтукиец ослабил.

На этот раз Маккалох просто шагнул к нему – я была уверена, что дело закончится мордобоем. У кайнтукийца ухмылку с лица как корова языком слизнула. Собака опустила голову и зарычала. Маккалох зарычал в ответ. Собака смолкла.

– Ежли так случится, хыть по ошибке, хыть нет, – проревел Маккалох, – я тыбя к шарифу отволоку, а то и сам вздерну.

Кайнтукиец вздрогнул, а затем опять нервно захихикал. Вскочил на лошадь, приподнял шляпу и свистнул собаке, которая в последний раз настороженно повела носом в сторону гребня, а затем последовала за хозяином и его спутниками прочь от ручья. Маккаллох еще долго стоял на берегу после того, как болтовня кайнтукийца с его людьми, топот их лошадей и прочие звуки растворились в дыхании леса и единственным шумом осталось журчание воды, тихо бегущей по дну ручья, да пересмеивание щеглов, играющих в свои игры. Наконец шотландец сел в седло, тронул поводья, и огромная кобыла шагом устремилась на юг, на родную ферму.

Я дождалась, пока восстановится тишина, выпрямилась, покрепче ухватила свой мешок и корзину и, спустившись по гребню, пересекла ручей.

Александр Эдуард Маккалох Грейс

– Он к тебе хочет, – вместо приветствия обронила Долли, стоя у кухонной двери. Александр извивался в ее объятиях. Нос Долли дернулся, и она сделала шаг назад. – *Dios mio...* [\[68\]](#) Что это за запах? Ой! – Понимание отразилось на ее лице, когда она отвела от меня руку ребенка. Она нахмурилась. – Беда? – Наши взгляды встретились, и она понимающе кивнула. Позже.

– Привет, малыш, – проворковала я Александру, который потянулся ко мне обеими пухлыми ручонками. – Нет, нет, детка. Маме сначала надо помыться...

– Да уж, неплохо бы, да и поскорее, – Долли опять дернула носом. – Мастер велел прислать тебя, как только ты придешь. – Она качнула головой в сторону конюшни и вздохнула. Недовольство на ее лице сменилось тревогой, и она понизила голос до громкого шепота. – Был?..

Я кивнула. Мистер Генри Джонсон направлялся куда-то на север.

– Несколько порезов, не гноящихся. Дашь мне что-нибудь лицо вытереть?

Долли хмыкнула.

– Жди там, – и погрозила пальцем. – И не вздумай заходить ко мне на кухню с этой вонью! – Она исчезла за дверью и вернулась с мокрой тряпкой.

Маккалох ждал меня в конюшне. На попечении Джемми были все лошади, кроме Бен. Прикасаться к этой кобыле мог только сам Маккалох. Когда я вошла, он как раз положил руку ей на бок. Бен повернула ко мне огромную голову, фыркнула, заржав, топнула ногой, словно собираясь немедленно выбежать из конюшни. А потом вдруг взвилась на дыбы, едва не сбив шотландца с ног.

– Ах ты ж! Что за... – Маккалох схватил поводья и попытался успокоить животное. – Тр-р, тр-р-р, тихо, девонька. – Он взглянул на меня через плечо, на его лице появилось мрачное выражение. – Ш-ш-ш...

Низкое рычание заставило меня попятиться за дверь. Джинджер залаяла, а затем жалобно взвыла.

– Долли сказала... – попыталась я докричаться до шотландца сквозь весь этот шум.

– Иисус, Мария и Иосиф... женщина, что за вонища? Ты залезла в логово скунсов? Ну-ну... тихо, тихо... – Маккалох пристально смотрел на меня, одновременно пытаюсь успокоить лошадь. Он был похож на гнев Божий, о котором то и дело выкрикивал в своих проповедях брат Уиллард. Это была любимая тема преподобного: горький, раскаленный и едкий дождь, прожигающий кожу ничего не подозревающих грешников, решивших, что беззаконие сошло им с рук.

Вытирая лицо влажной тряпкой по пути к конюшне, я чувствовала, как желудок скручивается в узел: понимала, что шотландец сейчас устроит мне разнос или чего похуже, и опасалась, как бы он не отправил охотников за головами вслед за Генри Джонсоном и прочими бедолагами, хотя, надо признать, ни разу не слыхала, чтобы Маккалох так поступал. Впрочем, если судить по реакции Бен и Джинджер, умылась я недостаточно. Собака не умолкала. Отлично. Отпугиватель сделает свое дело. Ни один пес не учует запаха самого юного Генри и не станет его преследовать. Я не удержалась от улыбки, даже поймав свирепый взгляд Маккалоха.

– Убирайся, женщина! Иди умойся! От тебя воняет, как из задницы енота!

Мне было приятно это слышать. Он произнес почти те же слова, что и Генри, когда я намазала его своим снадобьем. Парень тогда кашлянул, чихнул, затем снова закашлялся. Глаза у него слезились.

– Прошу прощения... миссус... но что это? Это воняет, как... прошу прощения... из-под хвоста у опоссума.

Я хмыкнула и продолжала намазывать парню спину слоем погуще. А остатками натерла себе шею, руки, грудь и перед юбки. Хотелось, чтобы и за мной на обратном пути к ферме Маккалоха не увязалась ни одна собака.

– Это от псов. Чтоб они не выследили тебя по запаху. Возьми, – и я протянула ему флакон.

Генри несколько раз моргнул и поднял руку, намереваясь вытереть слезящиеся глаза, но я успела ее перехватить.

– Не смей! – закричала я. – Или хочешь, чтоб смесь попала тебе в глаза! Ну-ка дай... – И осторожно сама промокнула ему глаза, а затем насухо вытерла лицо.

– Что в ней? – спросил Генри, надсадно кашляя.

Я улыбнулась.

– Ну, это секрет. Немного того, чуток другого, капля третьего и щепотка красного перца для аромата.

Он усмехнулся.

– Да уж, любая собака ежели разок нюхнет, так будет сожалеть об этом до конца своих дней.

Я гордилась отпугивателем, рецепт которого позаимствовала у Мари Катрин и немного доработала. Двunoгие и четвероногие, какими бы огромными и устрашающими они ни были, опрометью бежали от этой вони. А лошадей она приводила в бешенство. Теперь у шотландца целых две причины злиться на меня.

Когда я вернулась на кухню забрать Александра и рассказать Долли про случившееся, та расхохоталась. Обнюхала мне шею, выясняя, хорошо ли я вымылась, и только потом положила мальчика мне на руки.

– Так-то лучше, – заметила она, улыбаясь. Александр зевнул и пристроил головку мне на плечо. – Он весь извелся. Говорю тебе, Мариам, он скоро пойдет. Я весь день гонялась за ним по дому, а ведь он только ползает!

Я поцеловала своего мальчика и уткнулась носом в его черные вьющиеся волосы. Долли купала Сандра (ей это нравилось) с мылом, которое делала сама, с ароматом трав, лаванды и сухих цветов. Пахло свежей травой и сиренью.

– Отдохни-ка хоть чуток, – добавила Долли, протягивая мне корзину с едой. Ну да, про ужин-то я и забыла. – Тут от Льюиса из поселения Берли приходили. Его Норма вот-вот родит, и мастер Берли решил позвать тебя осмотреть ее.

Я вздохнула. С Эми Браун была очень долгая ночь, а теперь, похоже, предстоит еще одна, с Нормой.

– И когда идти?

Долли погладила Александра по спинке.

– Мастер Берли написал, что завтра пошлет за тобой Льюиса с фургоном. А сегодня они все урожай собирают.

Надеюсь, Норма не упадет в саду замертво. Так что одну ночь мне все-таки удастся отдохнуть. Я медленно пошла в хижину, как никогда ощущая свои сорок с лишним лет и каждый фунт Александра. Мальчику и в самом деле пора учиться ходить. Таскать его мне не под силу: очень тяжелый.

Я покормила Сандра, уложила в постельку и рухнула в кресло, слишком усталая, чтобы поест и лечь спать. Хотелось бездумно посидеть.

Я устала на очаг. Было тепло, и разводить огонь не стоило, но мысленно я его видела. Пылающее пламя, желтое, красное и оранжевое, которое скачет и танцует, согревает мою хижину, готовит для меня еду, питает мою жизнь и жизнь моего сына теплом, изобилием и безопасностью. Не здесь, не в этой Западной Вирджинии, а где-то на севере, за темной быстрой рекой. В месте, где холоднее, чем я привыкла, но зато мы с Александром могли бы... просто жить. Припомнилось кое-что.

«Каково это – быть свободным, миз Мариам?»

Голос Колумбия был таким ясным, словно он сидел здесь. Мужчина сильно растянул лодыжку, убегая от собак охотников. Как ему удалось добраться до моей хижины на окраине Нэшевой плантации, непонятно. Но он сумел. Было это после того, как моего мужа... Джеймса, Седраха и Илая продали, но я еще не знала, что окажусь тут, на западе Вирджинии.

Мне казалось, в те времена нас, тех, кто родился в «Африкки», как говорили розоволицые, было больше. Местные чернокожие не понимали, что мы, «негры, рожденные не здесь», были из разных мест, носили другие имена, говорили на разных языках. Нас привезли из-за темных вод и перемешали с людьми, только похожими на нас, – с теми, кто родился уже здесь и всю жизнь провел в цепях, сковывающих не только тело, но и мысль. Для них стремиться к свободе было так же странно, как на крыльях долететь до Луны. Родители многих из них пришли в мир свободными, но розоволицые разлучили их с детьми, и некому стало этих детей направлять и отвечать на их вопросы.

Кроме кого-то вроде меня.

«Каково это... быть свободным?»

Я тогда ответила всего парой слов. Моя работа – лечить, исцелять раны и принимать роды. Разговоры отвлекают, а времени у меня мало.

Столько раз мне задавали этот вопрос, столько раз я отвечала односложно и быстренько спрашивала любопытствующих. Колумбий был другим.

Немолодой мужчина, лет пятидесяти, он умирал от заражения крови. Рану его на ноге, нанесенную не в меру ретивым надсмотрщиком, не очистили и не обработали, она загноилась, сама нога почернела. Колумбия трепала жестокая лихорадка. Я понимала: он умирает и никогда не увидит свободы здесь, на этой земле, и могла только облегчить ему путь к его богам. Наверное, поэтому я его и помню. Ибо знала: мой ответ будет последним, что он услышит на этой земле.

– Вы ведь из этих, африкцев, миз Мариам. – Из-за высокой температуры мужчина говорил медленно и невнятно, слова казались стертыми, как подошва ботинка. – Моя мама тоже из них. Была... – Он поднес большую, покрытую шрамами руку к щеке, пальцы скрючились, как сломанная ветка, упавшая со старого дерева. – Метки... Прямо здесь. На щеках.

– Гм-хм... – пробормотала я, подхватывая его руку и осторожно укладывая ее на простыню. – Такие делают люди, живущие на юге за великой рекой... Их женщины славные воины. Так говорят...

Да, он был явно из них. Высокий, полноватый, с широкими вырезанными ноздрями и благородным лбом. Я вспомнила... Как странно, что его слова навели меня на мысль о матери.

– Моя мама говорила, они добывают золото.

Он закрыл глаза и кивнул. Затем улыбнулся.

– А моя... мама говорила... там красиво... деревья...

Деревья. Я закрыла глаза и увидела их, деревья возле родительского дома. Почуяла, как они пахнут. В те, прежние, времена.

– Она так и не смогла... обвыкнуться здесь.

– Колумбий, отдохни. Помолчи.

Он уже не слышал меня.

– ...Говорила, что прыгнет... – Он снова поднял руку, вены на ней набухли и потемнели, и указал какое-то место, видимое только ему. – И прыгнула бы... в реку, если б... не я.

Он вздохнул, рука тяжело упала на кровать. И тут Колумбий открыл глаза и посмотрел на меня.

– Каково это – быть свободным, миз Мариам?

Я солгала ему. Произнесла слова, которые, вероятно, его мать сказала бы умирающему сыну. И когда он перешел в мир теней и духов, я представила, что она стоит на берегу той реки, протягивает руку и улыбается. Как я могла сказать ему свою правду?

Я прожила в этом месте дольше, чем на земле матери и отца. Когда огромная лодка с белыми парусами покинула порт Уиды, я была девочкой, еще не уронившей первую кровь. Играла с подружками, помогала матери с детьми, носила воду, ездила по делам с отцом, который называл меня своим... Красным Орленком, а старшие сестры и братья часто поддразнивали. До того, как работорговцы схватили меня, увезли, продали португальцам, а те – англичанам, я была самым обычным средним ребенком, не заветным первым сыном, не боготворимым поскребышем и не самой красивой из дочерей, а просто ребенком, который думал об играх, домашних обязанностях да о еде. Я даже не знала, что есть такое понятие, как «свободный». Но с каждым годом запечатленные в памяти картины моего детства одна за другой таяли, исчезали, а те, что оставались, отступали в моем сознании в такой дальний закоулок, откуда выцарапать их становилось все труднее; воспоминания бледнели, растворяясь в тумане времени, исчезая за занавесью забвения. Я не могла объяснить Колумбию или кому-либо еще, что значит быть свободным, потому что тогда, давным-давно, еще сама не осознавала, что была свободна.

Совсем не этого я хотела для Александра.

В дверь постучали, и воспоминания рассыпались, как битое стекло. Сколько я сидела так, вглядываясь в прошлое? Еще стукнули. Я встала, какая-то одурелая, разгладила платье на ноющих бедрах и коленях. У меня затекла спина и разболелась голова. Надвигалась гроза, я видела, как над западным хребтом клубятся тучи, темно-серые и злые. Было уже поздно. Но я привыкла, что ко мне стучатся в ночи. Дети рождаются, когда готовы. Люди болеют, когда... болеют. Наверное, это Льюис из поселения Берли пришел звать меня на помощь Норме. Пророкотал гром, пока слабый, но это ненадолго. Я глянула на свой мешок в углу. Придется шевелить ногами, если я хочу успеть к Берли до дождя. Надо ведь еще отнести Александра к Долли и Герку.

В дверях стоял не Льюис, а Маккалох.

– Сэр. – Я была не очень-то рада хозяину, но он хотя бы постучал. Дарфи, например, не имел такой привычки, просто распахивал дверь и входил, словно и я, и мое жилище принадлежали ему.

– Прости, что я пришел так поздно, Мариам, но... погрить нада. – Шотландец бросил взгляд на колыбель и понизил голос. – Малец спит?

Я слишком устала, чтобы выговаривать даже пару слов, поэтому просто кивнула.

– Нынче утром ты сглупила, – начал Маккалох низким напряженным голосом, вдруг оказавшись в другом конце комнаты. Как он там оказался? При немалых габаритах шотландец двигался бесшумно, словно кошка. – Я же велел тебе прислать из дома Брауна весточку, чтобы Джемми или Геракл тебя забрали, или попросить, чтоб пацан Брауна тебя приводил до северной окраины фермы. Я ж велел тебе не ходить в темноте. Охотники за беглыми бродят по округе, топчутся по моим землям. И этот кайнтукиец, – голос Маккалоха источал презрение, – душегуб безбожный. Он без колебаний тебя захапует и увяжет. – Глаза шотландца блестели в тусклом свете лампы. – Хоть с пропуском, хоть без.

Я снова кивнула. Он был прав, я понимала, но погрузилась в свои мысли. Его голос звучал так, словно кто-то бубнил и звал издалека. Маккалох схватил меня за плечи и встряхнул.

– Женщина, ты слышишь? Понимаешь?

– Да! – крикнула я в ответ, а затем посмотрела на Александра, мирно спящего под этим ураганом слов. И повторила громким шепотом: – Да.

– Сколько их было сегодня утром? – спросил шотландец.

У меня аж кровь застыла в жилах. Он чуть ослабил хватку и приблизил свое лицо к моему.

– Сколько?

Откуда он узнал? И тут же мелькнула ясная мысль. А как он... мог не знать?.. Все детали встали на места. Рабочие, которые приходят и уходят. Никогда никаких разговоров, что кого-то продают или выставляют на аукцион. Довольная Долли. Геракл, отсутствующий по нескольку дней. И Индейская пещера. Сотрудничество... такое организованное. Такое тайное.

– Один.

Он кивнул.

– Тыбе надо остановиться.

Я покачала головой.

– Подумай хорошенько, женщина, – прорычал Маккалох. – Этот гад из Кайнтукки думает, будто священную миссию выполняет. Считает сыбя умным и чует запах золота. Я не смогу защитить, если тыбя спымают в пещере или в лесу. А что будет тыгда с твоим мальчиком, подумыла?

Я снова покачала головой, на этот раз давясь слезами. Нет, не подумала.

– Ничего. Он не м-мой... мальчик. Принадлежит мистеру Расселу. – И я вытерла слезы рукой.

– Уже мне. Я его выкупил полгода назад.

Я нарушила правило не смотреть в глаза белым мужчинам. Впрочем, Маккалох как раз оглянулся.

– Вы? В-вы-купили его?

– Да.

– Значит, он ваш.

– Нет. – Маккалок помолчал мгновение. – Он твой. Ты привела его в этот мир и позаботилась о последнем вздохе его матери, хоть вы и враждовали. Ты кормила ребенка грудью, и ты... единственная мать, которую он знает. Но ты упрямица, Мариам Грейс, к тому ж беспечная. Да еще с тыкой яростной волей. Я знаю... – Он смолк. – Я прошу тыбя об одном. И хорошо подумый, прежде чем ответить.

Мальчик забеспокоился, и мы оба, испугавшись, замерли над ним. А он, как всегда, скинув одеяло, лежал на спинке, его круглый животик мягко двигался вверх и вниз, а ротик был открыт. Малыш похрапывал. Не удержавшись, я хихикнула и похлопала его по животику, чтобы успокоить. Он вдохнул, причмокнул губами, его крошечные веки затрепетали. Александр даже не почувствовал, что я тут.

– Замечательный парень, – прошептал Маккалох. Он стоял так близко, что я чувствовала его дыхание на своей шее.

Он должен был расти со своими красивыми молодыми сильными родителями... с Нини, прекрасной лицом и телом... но она ушла. С Недом, чье тело и любовь я делила с ней. Его широкую грудь и спину, сильные выразительные руки с длинными пальцами, глубокий голос... он тоже ушел. Мой маленький Эдуард, мой малыш тоже мог

бы стать прелестным, если б оказался сильнее, если б его не пожрала болезнь.

– Я знаю, ты хочешь бежать. Невозможно помогать всем этим страждущим, не желая при этом вкусить свободы самой. Ты сильная и мудрая. У тебя есть ремесло, которое поможет тебе устроиться в дальнейшем. Если я дам вольную тебе и Александру, ты уедешь с ним на север... известными дорогами... воспитаешь его, выучишь? Твой проезд я оплачу. И ни гончие, ни охотники тебя не выследят.

Он вздохнул, поник плечами. Вид у него был усталый.

Маккалох прижал тыльную сторону ладони к щеке Александра.

– Я стар. И хочу снова увидеть Кардонесс. Я не рабовладелец, да и не был никогда им. Так, имелся в Шотландии кое-кто в подчинении для всяких работ... в результате самого чуть в крюк не согнули. И людей моих всего лишили. Значится, так... Я отправлю тебя с мальчиком, а Долли, Герк, Джемми и остальные уйдут позже, когда захотят. А потом всё здесь продам и уплыву. Домой. – Он усмехнулся, словно вспоминая другие места и времена... совсем как я перед его приходом. – И буду доживать в избушке с соломенной крышей рядом с полыми холмами^[69] где-нибудь возле озера в обществе нескольких овец, лошадей, трубки и бутылки виски.

Рыдание застряло у меня в горле.

Маккалох нахмурился, а затем заговорил себе под нос словами своей далекой родины.

– Дом. Ты тоже хочешь... домой. – Я представила себе Шотландию, о которой порой в доме говорили, холодным, дождливым, ветреным зеленым краем с горами, равнинами и глубокими озерами, которые шотландец именовал «лохами». Эти места сильно отличались от тех, которые считала домом я, которые вспоминала и куда не могла вернуться. Лицо обожгло горячими слезами. Я почувствовала на щеке его ладонь, прохладную и мягкую.

– Я отправил бы тебя туда, если бы знал как... – Маккалох словно прочитал мои мысли.

От его прикосновения слова замерли у меня на губах.

– Ч-что это за слова? Как ты меня назвал?

Он убрал руку и шагнул назад, будто только сейчас понял, что прикоснулся ко мне. Тряхнул головой, словно пытаюсь прояснить мысли, затем посмотрел вниз. Но прежде, чем он опустил глаза, я

успела заметить в них смущение, печаль, тоску... одиночество человека, чей настоящий дом далеко, чьи жена и дети умерли давным-давно, чью постель давно не согревала женщина, а в сердце живет одна работа и долгое-долгое время не было места никому, пока за день до сбора кукурузы он не взял на руки маленького пухленького мальчишку. Передо мной было лицо человека, смертельно истосковавшегося по нежности.

Я понимала его чувства. Вероятно, больше других... эту боль, эту сосущую пустоту утраты... Муж, дети, их больше нет рядом... Шрам, невидимый, но непрерывно саднящий. Меня и похоронят с ним. Знакома мне была и тоска, которая порой сводила с ума, одиночество и тоска... по ласковому слову, нежному прикосновению.

– Я... я... Я говорил... – Когда он снова посмотрел на меня, я не отвела взгляд. – Называл тебя «сердце мое».

* * *

Младенцы спят сном праведников. Они еще слишком мало прожили, чтобы о чем-то горевать. Александр спал даже слаще. Долли говорила – как убитый, и это была правда. Прежде всякий раз, когда над долиной грохотали раскаты грома, молнии сверкали в темноте, словно мимолетные вспышки солнца, завывал ветер, принося с собой бурю не слабее свирепого шторма, я, не находя себе места от страха, подбегала к колыбели, хватала мальчика, укладывала рядом с собой на кровать и тряслась, потому что вокруг разверзался ад розоволицых. Казалось, боги разгневались и послали великанов уничтожить людишек молниями, слепящими лучами и порывами ветра, которые валили деревья. Я глаз не могла сомкнуть, пока буря не стихала, а Александр спокойно спал все это время.

Поэтому и бурю, пришедшую в долину из-за хребта, из-за которой у меня разболелась голова, и ту, что разразилась только для нас с Маккалохом, малыш проспал как сурок.

Шотландец взял мою руку и, поднеся к губам, поцеловал в ладонь.

– Я... Давненько я этого не делал. – Его низкий, мягко взрыкивающий голос был едва слышен из-за стука дождя по крыше. Я

сжала его руку и принялась тянуть к себе, пока не ощутила его тело рядом со своим. Я тоже давно этого не делала.

Пожалуй, здесь я остановлюсь. Закрою рот. Поморгаю глазами на солнце. И больше не скажу ни слова о... нем. О Маккалохе.

* * *

Забыла? Кто меня спрашивает? Забыла, как было с ним? С Маккалохом? Забыла, как нежен он был, как смотрел на меня, словно я... как прикоснулся к моему плечу, будто прежде не дотрагивался до женщины? Как я тянулась к нему...

Нет, я не забыла. И никогда не забуду. Когда-нибудь мои глаза полностью скроет пелена, память – затуманится, но не вся. И только не эти воспоминания.

Их я бережно храню, храню для себя. Они теперь только мои. Сокровища моей души укрыты от чужих глаз, как золото Цезаря, где бы оно ни находилось. И о них я не стану рассказывать молодежи, своим детям, своим внукам. Эти драгоценные воспоминания не для них. Не принадлежат им.

Ну, что сказать. С ним, с Маккалохом, все случилось именно так, как говорила Мари Катрин, много лет назад. Она почти слово в слово предрекла, что я буду думать и чувствовать, как ощущать мужское тело, сильное, теплое и мягкое, рядом с моим. Та девочка, которой я была, слушала, но не понимала. Слышала, но всячески отталкивала слова Мари. В двенадцать лет кажется, будто постигла всю подноготную жизни, но на самом деле не знаешь ничего.

– Никогда! – завопила я. – *Jamais!* ^[70] – я грубо выплюнула слово собственного языка Мари Катрин. Воспоминание всплыло так ясно, словно наставница появилась передо мной в моей хижине. И в каком-то смысле так и было.

Мари Катрин улыбнулась, приложила ладонь к моей щеке и смахнула слезы, которые там обнаружила.

– *Cherie* ^[71], то, что с тобой случилось... ужасно и неправильно... С мужчиной, которого тылюбишь, всё будет по-иному.

– Нет, не хочу... Больше ни один ко мне не прикоснется! Никогда! – крикнула я в ответ, от гнева у меня перехватило горло. Из

мужских прикосновений я тогда знала лишь хватку человека, который сцапал меня, жестоко, грубо использовал, а потом, сильно ударив по затылку, толкнул на булыжник, разбив мне губу. Удивительно, как Цезарь не заметил черно-фиолетовые синяки и припухлость на моем лбу. Он ведь так хорошо всё примечал: подозрительно раздувшийся карман, бегающие глаза, выражение лица собеседника, когда прикидывал, честен тот или хочет обмануть. А свидетельства моего позора не увидел. Я постаралась всё забыть, пока...

– Послушай меня, малышка Мэри, – сказала мне Мари Катрин. – И учти, я говорю тебе чистую правду. Может, это и не называется любовью, но... если появляется мужчина, который хорошо к тебе относится, который слушает и признает твои слова и твою мудрость, касается тебя сдержанно и нежно, прими его. Неважно, на каком языке он говорит, богат или беден, какое положение занимает. Не беспокойся ни о чем таком. Принимай нежность и заботу там, где найдешь. И знай, что иногда она проявляется в очень странной, непривычной форме. Но... – И Мари Катрин изящно провела рукой по своему телу. – Тело не имеет никакого значения. Важно то, что на душе.

Она и в самом деле говорила правду. В глазах шотландца мелькнула искорка неуверенности, будто ему что-то мешало, заставляло остановиться. Я прижала ладонь к его щеке. Его жесткая борода терлась о мою руку.

«Принимай нежность и заботу там, где найдешь».

*В графстве Питтсильвания,
Содружество Вирджиния^[72].*

Сей день, 6 мая 1806 года, Авраам Уильям Маккалох своим принужденным волеизъявлением освобождает Мариам Присциллу Грейс и ее сына Александра Эдуарда Маккалоха Грейса. Означенное освобождение считается действительным с сего дня.

Подпись – знак «X» – Авраам Уильям Маккалох.

Эту бумагу я храню до сих пор.

Часть IV

Мама Грейс

Если вы встретите женщину, которая уверенно идет по жизни, крепко стоит на ногах и при этом проявляет милосердие, независимо от характера, поговорите с ней... Вы обнаружите, что за всем этим кроются такие страдания, что в какой-то момент она была готова сунуть голову в петлю.

Сена Джетер Наслунд^[73]. Жена Ахава
(1999)



1

Река

Из Вирджинии мы уехали далеко не сразу. Надо было собрать вещи, продумать и организовать переезд, договориться о жилье, переписываясь и ожидая вестей неделями, и дожидаться, пока ножки Александра достаточно окрепнут, чтобы его старой матери не пришлось нести мальчугана всю дорогу до Огайо. Так что минуло еще много восходов и закатов.

Даже с документами – а шотландец не успокоился, пока не собрал их полную сумку, – не было никаких гарантий, что нас не сцапают охотники. Ведь мы для них просто ходячая премия. Мое средство отлично отпугивало собак, но глаза-то у некоторых людей зоркие. Всегда найдется тот, кто что-нибудь да высмотрит. Правда, сунутой в ладонь монетой можно как разговорить человека, так и заткнуть, а еще заставить сомневаться, правильно ли владеть другими людьми или лучше отпустить их. Правда, проходимцам ничего не стоит завладеть и документами, и деньгами. Маккалох не торопился, поскольку не хотел, чтобы с Александром что-нибудь случилось. Или со мной. Поэтому мой путь к стулу на крыльце обшитого вагонкой дома на горном холме в округе Хайленд начался задолго до того, как я сделала хотя бы шаг.

Проводить нас Маккалох нанял Джаспера Шиллинга и Исаака Каппа – племянников его двоюродного брата. Они читали тропы не хуже индейцев и знали округу на мили до горизонта как свои пять пальцев, но показались мне слишком молодыми. Не хочу рассказывать, каким путем мы шли. Дети говорят, что я должна вспомнить, дескать, это история и людям полезно ее знать. Они говорят: «Мама Грейс, война окончена, рабство отменили. Никто не придет за тобой». Я смеюсь и отвечаю: «Ну конечно, кто ж заплатит за старуху, которая плохо видит и еще хуже ходит?»

Но страх утратить свободу въелся в меня, иначе не скажешь. Засел еще с тех дней, которые я провела одна в хижине на ферме Нэша, присматривая за беглецами, болящими и прочими. Я боюсь, ибо понимаю, на что шла Долли, долгие годы помогая людям. Всех безопасных путей, убежищ, знаков и сигналов не знал никто.

Вглядываясь в туман прожитых лет, я задаюсь вопросом, а знала ли весь путь сама Долли. И хоть мне и памятливы тропки и деревья, холмы и небо вдоль пути, по которому мы шли, я не могу... не стану рассказывать, как добиралась до Огайо. Дороги, которыми двигались мы, были только нашими, а те, кто отправился к свободе после нас, шли своими. И так происходило с каждым. Все беглецы помнили свои дороги, хотя и не рассказывали о них, и только спустя много лет потихоньку забыли.

Перед отъездом, на прощание я обняла Долли, Герка, Джемми, его жену Синд, их ребенка Ли'л Синд и остальных. В последний раз окинула взглядом просторы зеленой долины с фермой Маккалоха, щедрые поля, богатые травами луга, могучие леса, где стеной росли деревья, что, по словам шотландца, старше святого хитона Господня, и горы. Джаспер называл их «Аллеганы», мне казалось, что это какие-то древние боги, старше меня нынешней, – они устали от скитаний и, упершись мощными ступнями в землю, решили передохнуть, а теперь, как всякие старики, ворчат, иногда шевеля головами-вершинами, и курят огромные трубки, дым из которых смешивается с облаками и после оседает на лесистые макушки.

Стоял август, кто-то уже собрал урожай, кто-то еще нет, но погода постепенно менялась от душающей летней жары к сухой осенней прохладе, и растения и всякие насекомые не понимали, как себя вести. Ночью под полной луной мы отбивались от кусачих комариных стай в воздухе и муравьиных полчищ на земле и до головной боли слушали скрежет и стрекот цикад. Но в предгорьях к югу от речной долины воздух стал прохладнее, а дни – короче. Теперь на закате песни пели прыгучие жуки, называемые сверчками, а стрекот цикад стал короче и тише, будто они не смели соперничать. Незадолго до того, как мы выехали из округа Мейсон, где на ферме двоюродного брата Маккаллоха сменили повозку, цикады и вовсе перестали петь, оставив темноту прыгучим жукам.

Александр ехал в фургоне, Александр ехал на моей спине, Александр шел на своих маленьких ножках, изнашивая одну из двух пар ботинок, которые сапожник сшил для него по поручению Маккалоха. Ему исполнилось три года, и он был очень шустрым. Длинноногим, как отец, и порывистым, как мать. Моментально подхватывал разные словечки Джаспера и Исаака. Помимо «нет»,

любимым у него было «черт возьми». А следующим стало «почему?». Он шел так близко к лошадям, что я опасалась, как бы его не затоптали, но он не боялся. Маккалох его научил. Я видела характер Неда в его маленьком, но уже твердом подбородке и крупном носике с четко вырезанными ноздрями. Красоту Нини – в идеальном лобике и щечках. Александр был их мальчиком на моем попечении. А вырастет он свободным человеком.

– Мэм? Миссус Грейс? Мы здесь.

В конце причала высокий мужчина схватился за канаты и встал. Джаспер и Исаак машут ему, он машет в ответ. Потом вытирает руки о штаны, в несколько длинных шагов оказывается у повозки и придерживает лошадей, пока парни спрыгивают вниз.

Потом они здороваются, приветственно похлопывая друг друга по спинам. И поясняют:

– Мистер Эллис управляет паромом, мисс Мариам.

Высокий мужчина, словно пушинку, снимает с повозки меня, потом Александра. Потом стаскивает с головы шляпу.

– Натан Эллис, мэм, – и смотрит на Александра, который тарашится на него, словно на великана из сказки. – Чудесный парень, мэм.

Мне странно, что белые мужчины называют меня «мэм», и привыкну я к этому не сразу.

– Сэр. Мистер Эллис, у вас, часом, нет родни в Бедфорде, в округе Питтсильвания? Мистрис Изабелла Рассел Эллис вам знакома?

Длинное костлявое лицо Эллиса остается непроницаемым.

– Да, мэм, – говорит он. – К сожалению, да.

Эллис умело управляет паромом, и тот почти бесшумно скользит по воде. Хоть это всего лишь река, но я не люблю воду. С тех самых пор.

* * *

Ровная дорога, обсаженная с обеих сторон кустарником и небольшими деревьями, огибала ветхий беленый дом, пристань, похожую на ту, что примостилась у Ньютоновской мельницы, и небольшой паромный причал. За деревьями, домиком и пристанью по

берегу рассыпались разнокалиберные дома, по реке шли баржи, колесный пароходик шлепал лопастями по воде, нещадно дымя трубой, а вдали возвышался холм, покрытый деревьями и домами. Но всем этим правила река, самая широкая, самая большая, какую я видела с тех пор, как оказалась на этой земле. Ее светлые воды сверкали на солнце, волны звенели и рассыпались брызгами, ударяясь о берега. Каждый попадавший сюда мог наречь ее по-своему. Люди, некогда обитавшие в этих краях, а теперь сгинувшие, называли этот чистый поток Спайлайвесипе. Те, кто отправился на север, зовут его Прекрасной рекой. По-французски *la belle riviere*. Местами она настолько глубока, что усатые рыбы, плавающие у дна, вырастают с человеческий рост. Река переносит людей, товары и болезни. Во время паводка ее вода становится коричневой. Она стремительно заливает долины и уносит тысячи жизней.

Нынешние жители называют поток «Огайо». Я зову его просто Рекой.

Джаспер улыбался, его худое лицо сияло. Исаак кивнул реке, вытер лицо носовым платком в красную клетку и тоже вздернул уголки губ.

– Красота, верно?

Я кивнула, на большее меня не хватало.

– Мама! Матли, матли! Болсая вода! Болсая вода!

Я подняла Александра, который становился все тяжелее, и поцеловала.

– Да. Большая вода.

* * *

– Это ваш дом, миссис Грейс.

Женщина по имени миссис Гордан, шедшая впереди, постоянно оборачивалась, похоже, нервничала.

– Надеюсь, вам подойдет.

Мой дом.

Я оглядела переднюю комнату обшитого вагонкой дома – маленькую, как в хижине на ферме Нэша, – увидела в дальней стене дверь, распахнула ее, и в груди у меня набух ком. Окна, деревянный

пол... Маленький домик на вершине холма был тщательно выметен и отмыт, вероятно, самой миссис Гордан, и мое горло так сжалось от благодарности, что я не смогла вымолвить ни слова. Домик, по словам миссис Гордан, был снят на «неопределенный срок» и плата внесена. Перед нашим отъездом шотландец вручил мне мешочек с монетами, которые, по его словам, были моими, и только моими, чтобы я «потратила их на сыбья и мальчика». Я назвала эти деньги «сокровищем Александра» и спрятала в кладовке под половицей. Дом был, как здесь говорят, «меблирован», так что оставалось разложить по местам то немного, что мы привезли с собой, и ощутить под ногами землю Огайо. Джаспер и Айзек ушли, попрощавшись, держа шляпы в руках. Александр заплакал, потому что успел подружиться с ними, а я, несмотря на теплый прием Бекки Гордан, ее мужа, преподобного Гордана, и членов сообщества свободных цветных, ощутила себя потерянной, потому как опять оказалась в чужой стране среди незнакомых людей. Я схватила мальчика и крепко прижала его к себе. Что ж, хотя бы в этом путешествии мы вместе...

И мы стали обживать, мой мальчик и я. Каждую ночь я произносила благодарственную молитву тому богу, который меня слушал.

Да, мне подошло.

* * *

Несколько недель спустя заглянула Бекка Гордан – с целой корзиной разных вкусов, от которых у меня потекли слюнки. Она жила неподалеку, умела готовить, и это было здорово! Ведь не успела я обосноваться, как у соседей запросились на свет двое младенцев, и мне не хватало времени не только чтобы готовить, но и поесть.

– Ты для нас просто находка, Мариам. Не знаю, что бы делала Лула. И дядя Эдвин. Повитуха нам очень нужна, детей-то рождается много. Конечно, – усмехнулась она, – скоро и твоя очередь придет. – Она махнула рукой. – Не волнуйся, мы поможем, когда настанет пора. Ты подскажешь нам, что делать.

Моя очередь?

Меня окатило жаром.

Я старела и тучнела. Путешествие на север было изнурительным: приходилось шагать вверх и вниз по упавшим деревьям и камням, залезать в повозку и выбираться из нее, вброд переходить небольшие ручьи. От этого я окрепла, но не похудела. Наоборот, поправилась и по-старушечьи раздобрела. Причем настолько, что последние несколько месяцев платья трещали по швам. И живот... Ой, да ладно... Просто ем слишком много хлеба, пирогов и пирожных Бекки, уж больно они у нее вкусные. Стала прожорливой. Отъедаюсь за голодные годы, вот и все.

– Нет, старовата я для этого, – усмехнулась я и похлопала себя по округлившемуся животу. – Просто растолстела. Нет, я не... – Пока я мысленно искала нужное слово, что-то внутри словно постучало мне по лбу.

Не может быть.

Я глянула на Бекки, которая смотрела на меня многозначительно и весело улыбаясь. «*Dios mío!* – сказала бы Долли. – Ну и повитуха: сама не поняла, что у нее будет ребенок!..»

Бекки откашлялась, а затем спросила:

– Как думаешь, когда он родится?

2

Partus Sequitur Ventrem

Partus sequitur ventrem^[74]. Латинские слова. «Рожденное следует за утробой...»

Схватки начались в полночь. Мой ребенок ляжет мне на руки к рассвету. «Пусть она будет сильной, – молилась я богине радуги и тружениц, – пусть она будет здоровой». Я не могу потерять эту девочку. Мое сердце надорвется. И я слишком стара, чтобы зачать еще одного ребенка.

Поговаривают, что повитухи умеют принимать роды у самих себя, готовить к ним собственное тело и лоно, как делают это для других женщин. Сущая ерунда. Я позвала на помощь Бекки Гордан. Та не была повитухой, но рожала десять раз и знала всё досконально.

Моя дочь покинула утробу перед рассветом. Пиналась, размахивала руками и вопила во все горло. И сосала так, будто явилась в мир из голодной пустыни. Бекки улыбалась до ушей, наводя порядок.

– Какой чудесный ребенок, Мариам, – она погладила девочку по головке и поцеловала. – Красивей всех, кого я видела в последнее время. Кроме Блессинг, разумеется.

Имелась в виду ее единственная дочь. Бекки похлопала мою дочку по спинке и была вознаграждена здоровой отрыжкой. Мы рассмеялись.

– Как назовешь?

Когда она передавала мне извивающийся сверток, ее улыбка немного померкла.

– Прости, но должна спросить тебя, Мариам. Ты ведь... и говорила, что носишь девочку. Откуда ты узнала?

На этот вопрос у меня не было ответа, по крайней мере такого, который я могла бы произнести вслух. Благословенна та, кто помнит...

Сколько лет прошло?

Задняя комната маленькой хижины на Рифе Цезаря, женщина, которая нажимает мне на живот и заставляет пить воду с пряностями. Мари Катрин. Женщина, которая вылечила меня, успокоила мой разум и научила тому, что знала сама о рождении, смерти и способах

препятствовать ей. И еще она говорила о том, чему женщина должна научиться сама.

Она умела заглянуть за завесу времени, видеть сквозь туман, читать судьбы. Я этого не забыла.

В маленькой комнатухе вечер, тихо, если не считать кваканья лягушек и стрекота утомленных цикад, прекращающих свою песню с закатом. Комната освещена свечами. Я сижу на тюфяке, который наставница набила для меня, и морщусь, когда она обматывает полосками ткани мою грудь, налившуюся молоком, чтобы кормить ребенка, которого больше нет.

– Прости, малышка, – говорила она, туго затягивая бинты опытной рукой. – Но я должна это сделать... чтобы молоко ушло. – Она грустно качала головой. – К сожалению, ни одна из женщин Цезаря в последнее время не рожала, так что кормилица никому не нужна. *Eh bien...*

Голова у меня разрывалась от мыслей, от смятения, от боли. Я была ребенком. Нет, женщиной. Родившей ребенка. Но он умер. Мать говорила, что для нее дети подобны цветам: удовольствие и подарок. Дверь в будущее. А если у меня больше не будет детей?.. С этим ребенком не повезло, а вдруг и с другими не повезет тоже? Неужели боги заберут и остальных моих детей и оставят меня без будущего? Когда я рассказала Мари Катрин о своих страхах, ее глаза наполнились нежностью, и она ласково похлопала меня по руке.

– Это не невезение. – Она приоткрыла губы, словно собираясь сказать что-то еще, но умолкла и вышла из комнаты. А вернулась с высокой толстой свечой красного цвета. Свеча горела ровно, несмотря на ветерок, дувший через открытое окно, выходившее на море.

Я хотела спросить ее, что это за свеча, но передумала. Настало время тишины.

Мари Катрин смотрит на меня сверху вниз, потом прямо в глаза. Я дергаюсь.

– Молчи, – шепчет она.

Я киваю, сглотнув от страха.

– Ты... такая юная и все же...

Она смотрит на меня со странным выражением, кажется, грустит о чем-то. Теперь я думаю, она пыталась понять, чем можно со мной,

девочкой, поделиться. Я ведь и потом жила по ее завету: никогда не рассказывай всего, что знаешь.

– Ты проживешь долгую жизнь, малышка Мэри. У тебя будет муж. И много близких мужчин.

Я улыбнулась. Тогда я была всего лишь маленькой девочкой, несмотря на все, что мне пришлось пережить. И радовалась предсказанию о муже и «близких мужчинах». Я еще ничего не знала о мире.

Мари Катрин снова посмотрела на пламя. И заговорила – низким, странным, словно чужим голосом. Пламя свечи замерцало, а мне стало холодно.

– Ты уехала далеко от дома и отправишься еще дальше. – Она снова посмотрела на меня. – *Sans compagnie*^[75]. – Ее голос упал до шепота.

– Сам... ком... па?..

Мари нахмурилась.

– Одна. Но все же... – Она медленно помахала рукой перед пламенем. Оно не дрогнуло. Мари откинулась на спинку кресла, обессиленно опустив руки на колени. Мои вопросы горохом посыпались изо рта. А ответы я получила, когда пришло время.

«У меня будет мужчина?»

Нед. Маккалох.

«Муж?»

Да, сказала она. И был Джеймс.

«А дети будут?»

«Да, но не все они будут твоими». Тогда я не понимала, что Мари Катрин имеет в виду. До меня дошло лишь много позже. Она сказала о четырех сыновьях и двух дочерях. Но с годами и потерями я забыла. А что сейчас?

Четыре сына. Илай, Седрах, Эдуард и Александр.

«Но не все они будут твоими».

Две дочери. Ангелочек, чья могила много лет смотрела на дюны и море, и эта пока еще безымянная девочка на моих руках. Мари Катрин тогда взяла меня за руку теплыми ладонями, твердыми пальцами.

– Слушай и запоминай, Мэри. В мире существуют места, где туман времени редет, где то, что есть, и то, что будет, пересекаются, а

ничего не подозревающий путник может пройти через невидимую дверь и оказаться в чужой стране. Но ты не бойся.

Дочь указала мне путь в чужую страну, в будущее. У меня не осталось иного выхода, кроме как уйти.

По сравнению со мной девочка была светлой. А волосы – почти черными. Я заметила в них рыжие и золотистые блики, яркие, словно отблески солнечного света. Глаза отцовские, цвета темного меда и виски, которое он так любил. Теплые и искренние. Лобик напомнил мне мой собственный, а нос, длинный и тонкий, навел на мысль о материнском лице с его темно-медными рельефными скулами и... Мое сердце замерло, словно наткнувшись на препятствие. Воспоминание о лице матери растворилось в тумане теней и мгле времени.

Забвение. Оно накрыло меня серой пеленой, как набегающая волна, как порывы ветра, служащие предвестниками бури. Ферма Маккалоха, насмешки Нини, солдаты в красных мундирах, Джеймс... мой любимый Джеймс и сладкая мягкость шейки младенца Илая, Цезарь, мой спаситель, белые паруса, такие красивые и смертоносные, дверь, откуда нет возврата, голос отца, лицо матери... Лица, истории, места исчезли, скрылись за стеной забвения, куда мне больше не было хода.

Когда я переехала сюда, в этот Огайо, забвение подкрадывалось ко мне, каждый день забирая у меня по одному крохотному воспоминанию, оставляя мне новое, которое всегда было менее ценным, чем отнятое. Мой разум крутился в поисках лиц, голосов, ручьев и запахов моих прошлых жизней и людей, сопровождавших меня тогда. Чем дольше я оставалась в этом месте, в этой Америке, тем отчаяннее боролась, стараясь сохранить в памяти, через что мне довелось пройти и откуда меня привезли сюда. Поначалу это был способ выжить, сохранить рядом мать, отца, сестер и братьев, сохранить живыми их всех, а особенно Джери. Но шли дни, недели, годы, и воспоминания растворялись. В темноте вечеров, в одиночестве мой разум пытался путешествовать в прошлое и натыкался на стену из ничего. Существовали ли еще те места, дома, земли? Неужели темные воды поглотили мир, из которого я пришла? Неужели мои сестры превратились в старух, приглядывающих за внуками, а братья – в деревенских старост?

Благословенна та, кто помнит, когда все забыли.

А теперь забыла и я. Мои воспоминания, запахи, образы, звуки поглотила серая мгла. Я ужаснулась. Если я забуду, кто поведает всё?..

Голос Бекки прервал блуждания моего разума.

– Эта девчушка напоминает мне трехцветную кошку, – заметила она, обтирая ребенка. – Сама кремовая, волосы черные с рыжим проблеском, а глаза ореховые с золотым.

Бекка запела, и я узнала ее любимый псалом.

Александра нарек Маккалох, но я дала мальчику и второе имя, Эдуард, в честь отца шотландца, столько сделавшего для нас. То же самое я сделала для этой девочки. Назвала ее Эдия, в честь своей матери, и Мейв, в честь матери Маккалоха. Но никто никогда этими именами не пользовался.

Все звали ее Трехцветкой.

Дубинка охотника

Моя хижина стоит на холме – на одном из многих. Стены ее собраны из темных стволов деревьев, которые, как любил говаривать Маккалох, были старыми, когда его бог праздновал юность. Она льнет к земле, как ребенок к матери, и неколебимо стоит, подобно крепости защищая нас от холодных ветров. И в ней сухо, словно в пустыне, даже когда на улице льет как из ведра. Здесь, на холме, красиво – всё съедобное зеленеет, растет, леса стоят нетронутыми. Поля плодоносят, что ни посадишь, и все – свиньи, овцы, коровы, люди – питаются хорошо. Я занимаюсь чем и всегда: лечу недуги, помогаю малышам прийти на этот свет, облегчаю путь уходящим из него. Воспитываю Александра, он растет не по дням, а по часам! И Трехцветку, которая уже говорит не хуже преподобного Гордана. Ровно в девять месяцев она пошла, да так шустро. В общем, стареть некогда. Надо за своей девочкой успевать!

Люди, во всяком случае цветные, приветливы, добры ко мне и детям. Бекка и Бенджамин, ее муж, преподобный, мои лучшие друзья. Бенджамин мне симпатичен, но я не хожу в его церковь. Бекку это удивляет. А сам Бенджамин, хоть и проповедник, принимает это как должное. Поздоровается со мной, присядет, мы поговорим о том о сем, он выслушает мои советы, как лечить его больные суставы. Он говорит, что его бабушка была из «Африкки» и что я слышу голоса других богов, а это его не тревожит, потому как, когда в мир пришел Иегова, те боги уже совсем состарились. Я улыбаюсь, размышляя об этом. Иеремия с фермы Нэша такого никогда бы не сказал!

Огайо красивое место. По утрам я смотрю на холмы, на долину, пытаюсь что-то увидеть сквозь утренний туман. К востоку отсюда есть небольшие горки, которые первые люди на этой земле насыпали своими руками. Хотелось бы их увидеть, но идти далеко. Поэтому я просто смотрю на восток. И мечтаю.

Белые люди здесь как и везде: кто-то хорош, кто-то нет. Они пришли на север, истощив свои земли в Каролине и Вирджинии, и привезли с собой своих животных и свой образ мыслей. Я живу

недалеко от поселка, который называется Итонстоп в честь англичанина, основавшего здесь факторию. Мои соседи цветные. А белые устроились за горным хребтом и в городе Итонвилл. Бекка говорит, этот «центр округа», где ведутся все дела, находится в десяти милях отсюда, полдня на фургоне. Здесь, в Огайо, рабства нет. Но действуют законы, которые запрещают людям вроде меня заниматься и владеть тем же, что и белые.

Некоторые из живущих за хребтом и в Итонвилле помогают охотникам за беглыми, переправляющимся через реку из Вирджинии и Кентукки. Они наблюдают, перешептываются. Доносят. А потом, когда их дети простужаются, а женщинам нужна помощь, посылают за мной. Улыбаются и говорят: «Спасибо, мисс Мариам». И платят монетами, быть может теми самыми, которые охотники вручают им, уволакивая людей – иногда и в самом деле беглых, а когда и свободных. Ведь не у всех здесь есть вольная, как у меня. А даже если и есть, охотники позволяют себе «не принимать ее всерьез».

В Итонстопе жители помогают беглецам по мере сил. Кормят их и прячут. Указывают следующую остановку. Как Полярная звезда. Я лечу недуги и раны беглых. Мы знаем, что нас постепенно будет больше: и тех, кто стремится к свободе, и их преследователей. После восстания Ната^[76] гайки начали закручивать. Некоторые из здешних свободных людей – Брауны, Джейми Смит с семьей, молодой Элайджа Хайурден с невестой Ребеккой Тейлор – решили, что эта прекрасная земля подле Итонстопа небезопасна. И двинулись дальше на север, далеко на север, вдоль большого моря Эри в Детройт и Канаду. Бывают моменты, когда я задаюсь вопросом: может, и мне сняться с места и, взяв детей, снова перебраться туда, где не достанет ни один охотник за беглыми? Но эта земля, такая зеленая и мягкая, радует меня, и я устала от переездов. Я попала в эту жизнь не по своей воле – темные воды принесли меня... Я не планировала путешествие, приведшее меня в Огайо, не прокладывала маршрут, но всегда и везде отвечала только за себя. А теперь у меня есть мой Александр и моя Трехцветка. Есть дом и работа. Я не хочу срываться с места, если только боги не призовут меня.

Воскресенье – день отдыха, так говорит Бенджамин, преподобный Гордан. Так-то оно так, но это если никто не рождает и не болеет. И нет домашних забот. А как без них? Я возделываю свое поле, дою своих

коров (когда меня нет, это делает Авденаго, средний сын Бекки) и присматриваю за детьми. Александр, ему четыре, возражает: «Мама! Я не ребенок!» Очень самостоятельный. Крупный для своего возраста и похож на Неда. А Трехцветка, похоже, никогда и не была беззащитной малышкой. Не успев выпростаться из пеленок, побежала, заговорила и принялась командовать. Даже брату указывает, что нужно делать. А если ей перечат, окатывает таким взглядом!.. И сразу напоминает мне ее отца. Подобный взгляд способен вызвать гром, молнию и ливень разом.

Сегодня воскресенье. На моем холме и в долине тихо, все люди по церквям: в маленькой церковке Бенджамина, церкви АМЕ^[77] пастора Митчелла и прочих церквях белых людей. Одна только я осталась в поселке, язычница, как назвал бы меня человек Нэшей, Иеремия, со своим вечно кислым выражением лица. Впрочем, думать о нем некогда – слишком много дел. Я устала от себя – старухи, которая расслаживается на крыльце, наблюдая за игрой сына с дочкой. Мне пристало им бабушкой быть. Сижу, а внутри зудит: одежду пора починить (Бекка справляется с иглой куда лучше, чем я), курицу приготовить, она старая, придется повозиться, подмести сарай, смешать травы для очередной роженицы, скорее всего Амелии Аллен, а потом...

Где-то на задах участка залился лаем Гидеон, выдернув меня из дремотных размышлений. Собак я не держала, пока не приехала в Огайо. Впрочем, и ружья тоже. Мне посоветовали обзавестись и тем и другим, поскольку домик мой стоит на отшибе. Сказали, так я смогу защитить себя и детей. Но этот пес только жрал все, что плохо лежит, да дремал на солнышке в свое удовольствие. Ружье оказалось практичнее: не требовало еды.

Гидеон полаял, потом перестал. Слышен звук, от которого желудок у меня подпрыгивает к горлу. И тишина.

Этот человек похож на ходячий труп, лицо серое, глаза, красные с желтизной вокруг радужной оболочки, слезятся. Больной. Пьяный. Злорадно ухмыляется. Зубов уже заметно поубавилось. Волосы грязно-седые, невымытые, взлохмаченные. Одежда слишком велика для жалких останков его тела. Но руки, все еще крепкие, все еще мускулистые, вцепились в шею моего сына, как птичьи когти.

– Я знал, что это ты. – Голос у него тот же. – Когда мне сказали, что на холме живет африканская ведьма, я все понял. Слышал, ты убежала. Или Мак отправил тебя на север после того, как ты легла под него? – И он мерзко захихикал. Его смех всегда вызывал у меня рвотный позыв. – Смотрю, теперь у тебя есть малыши. Хорошо. Этот мальчик принесет...

– Этот мальчик свободен. Я тоже.

Где же Трехцветка?

– Слушай сюда, ведьма, даже если у тебя есть бумаги, я их порву. Для меня они ничего не значат. Зато за мальчишку можно взять хороший куш, да и ты еще не настолько стара, на что-нибудь сгодишься, а я получу в придачу несколько долларов.

Он огляделся, и я тоже.

– Говорят, у тебя еще есть маленькая черномазая полукровка. Шотландская байстриючка? Она-то мне побольше принесет, долларов пятьсот, а то и тыщу. Я ее в шлюхи продам в Лексингтоне.

– Никого ты никуда не продашь.

Я нацелила дробовик ему в голову, молясь, чтобы Александр стоял смирно. Кайнтукиец рассмеялся.

– А мальчонка-то твой у меня.

Он притянул моего сына ближе и опять захихикал. Вытащил пистолет из кармана и взвел курок.

– Брось-ка ружье, ведьма. Я этого шпингалета задушу или застрелю, коль придется. А ты лучше тащи-ка сюда свою девчонку-полукровку.

– Я тебя убью, – прошипела я. – И его тоже... – Как бы мне хотелось не говорить этого при Александре, который был до смерти перепуган! Но я лучше застрелила бы своего мальчика и свою маленькую девочку, чем отдать их в лапы этого чудовища. Я перевела дыхание. Крепче ухватила приклад и прищурила один глаз.

– Мама!

Трехцветка.

Кайнтукиец обернулся. Александр тут же пнул его в причинное место, вырвался и кинулся прочь. Трехцветка, бежавшая ко мне, споткнулась обо что-то и упала.

Я в мгновение ока взвела курок и выстрелила.

Остальная часть того воскресенья вспоминается кусками как размытый, разбитый сон, звучит глухо, словно из-под толщи воды. Слышались крики, мужские голоса, злые вопли, ржание лошадей, пахло дымом. По всей долине и холмам звонили церковные колокола. Это был не призыв верующих на молитву. Набат.

Охотников за рабами, считая кайнтукийца, было пятеро; они пробирались в свободный штат, переправляясь через реку, чтобы изловить кого-то из беглых и получить награду, а если им отыскать никого не удавалось, хватали первого попавшегося темнокожего, с документами или без. Четверых жители Итонстопа, собравшись толпой, выгнали взашей. Потом община приготвилась к осаде. Мы думали, они вернутся. Если не для того, чтобы закончить свою отвратительную работу, то для того, чтобы спасти кайнтукийца.

Только зря время бы потратили.

На невысоком холме, где осенью созревало просто море ягод, жители Итонстопа вырыли могилу глубиной более шести футов. Из уважения к своему богу, но не к Амосу Кокериллу – а именно так звали кайнтукийца – преподобный Бенджамин произнес молитву. Я наблюдала, как земля сыпалась с лопат на лицо человека, который следовал за мной через несколько жизней, через Вирджинию и, преодолев реку, просочился в Огайо.

– Что прикажете делать с его лошадьё? – спросил один из мальчиков Хайвардена, крепко державший животное за поводья. Это был взрослый гнедой мерин, предназначенный для верховой езды, а не для крестьянской работы.

– Возьмите его себе, – предложил кто-то, нежно поглаживая животное по носу.

Мерин затоптался, и человека по боку ударила длинная толстая палка.

– Что это такое? – удивилась я.

Мальчик фыркнул, отвязал ее и протянул мне.

– Здесь это называют дубинкой охотника. Возьмите, миссис Мариам. Вдруг вам совершенно случайно доведется отбиваться еще от каких-нибудь негодяев.

Древесина палки была твердой, гладкой и красиво блестела на солнце. Но я знала кайнтукийца. Его дубинка причинила много боли, впитала немало страданий. Я подошла к могиле и бросила ее туда.

На холме растут черника, ежевика, земляника – особенно густы их заросли на могиле. На будущий год возьму с собой детей собирать ягоды, большую часть отдам Бекке. Она печет пироги лучше меня. Проходят месяцы, а я жду. Жду, не восстанет ли этот демон из вырытой для него глубокой могилы. Жду, не вернутся ли его компаньоны. Подскакиваю всякий раз, когда лает моя вторая собака, тоже Гидеон. Жду (и даже теперь, вопреки здравому смыслу).

Но они больше не пришли.

И со временем, после того, как налетела и закончилась война, маленький безымянный холм стал называться холмом Охотников за беглецами, а позднее и попросту Охотничьим.

Итонстон, округ Хайленд, Огайо. Лето 1870 года

Я зеваю. Моргаю, открываю глаза. Воспоминания просто... уплывают. Я обдумывала свою жизнь. Нет, проживала ее заново. Во сне. Проснулась. И вдруг поняла, что Трехцветка еще не вернулась домой. А скоро ужин. Из кухни Фанни доносились ароматы.

– Где твоя мама? – спросила я внука, который как раз проходил с двумя ведрами между сараем и домом.

– Мама Грейс, ну ты забыла, что ли, – фыркнул в ответ Николас. – Она же всегда в делах, а сейчас в женской группе, которая при церкви. Она, миссис Гордан и миссис Пауэлл.

Я кивнула. Дочь редко бывала дома, вечно что-то организовывала, чем-то руководила, вникая во всё, что происходило в Итонстопе. Говорила и убеждала. И никогда не отказывалась ни от какого дела, впрягалась без лишних разговоров и тянула вперед. Я усмехнулась: ее отец всегда так поступал. Маккалох не болтал, что «неплохо бы заняться», – он вообще предпочитал рта не раскрывать, – а засучивал рукава. Ну, а я держалась с краешка, в тени, принимала роды, залечивала сломанные руки и ноги, заваривала травы, чтобы успокоить людям нутро. И каким-то образом мы с шотландцем зачали дочь, которая не боялась ничего и никого и всегда говорила, что думала. Удивительно, что они с Родамом так долго прожили вместе. А еще в перерывах между собраниями женских групп, церковными мероприятиями, учебой и боги знают чем Трехцветка умудрилась произвести на свет шестерых детей. Не знаю, как и когда ей удалось зачать их, родить и воспитать! Но теперь я живу с младшим внуком и его семьей.

– А вот и она! – Голос Фанни возвестил о прибытии моей дочери.

– Кто это с ней? – удивился Николас.

Я заинтересовалась и слегка повернула голову влево, присматриваясь здоровым глазом. В гору, громыхая, взбирался фургон, я слышала его и увидела дочку, ее черно-рыжеватые волосы сияли на полуденном солнце: заставить эту женщину надевать шляпку я так и не

смогла. Рядом сидел мужчина, приятный лицом, смуглокожий, в костюме, шея перехвачена ярко-белым воротником.

Хм, подумала я. Еще один проповедник. Итонстоп служил им столбовой дорогой. Пока Трехцветка натягивала поводья, останавливая лошадь, Ники прошагал вперед, а Фанни вышла из кухни, вытирая руки о фартук и щурясь от полуденного солнца.

Дочь, ее сын и невестка о чем-то пошептались, а затем незнакомец спрыгнул с повозки и протянул руку Трехцветке. Та разгладила платье и достала корзину. Приезжий жестом предложил ей идти первой, и она, кивнув, что-то ответила. Ага, у дочки завелся поклонник. Дочка вдовела уже несколько лет, шибко горевала, когда Родам скончался... Но время идет. Она уже не молодая, но по-прежнему красивая женщина, и мне не нравилось, что она одна. Александру тоже. Хоть он и забрался далеко – в Вашингтон, округ Колумбия, где сделался начальником: отвечал за всех лошадей в пожарном депо, – но тоже беспокоился о ней. Письмо за письмом слал. Я знаю, потому что дочка читала их мне и всегда отвечала одно и то же: «Нет, мама. Нет, Сандр. Откуда у меня время на мужа?» И была права: всяких дел и задумок у нее выше головы. Но сейчас, глядя, как Трехцветка идет ко мне, а рядом мужчина, я задавалась вопросом, уж не передумала ли она.

Дочка рассмеялась. Мужчина тоже засмеялся в ответ. И у меня перехватило дыхание.

Смех был грудным, мягким и теплым. И прозвучал до странности успокаивающе и знакомо. Сердце сжалось. Я прищурилась, когда они подошли ближе. И пожалела, что отказалась от подарка Александра, который хотел купить мне эту модную безделушку – очки. Мужчина остановился у подножия холма, а Трехцветка двинулась дальше.

– Мама, – сказала она, и ее красивое лицо засияло в теплом солнечном свете. – Я хочу познакомить тебя кое с кем. Он проделал долгий путь из Техаса, чтобы увидеть нас. А точнее, тебя. – И глянула через плечо. – Вот, мама, это преподобный Холланд. Э-э-э... преподобный, это моя мать, Мариам Присцилла Грейс. Мы ее зовем мама Грейс.

Мужчина поднялся по дорожке и остановился, крутя шляпу в руках. Затем низко поклонился и улыбнулся.

– Миссис Грейс, мэ, для меня большая честь познакомиться с вами. – Голос его оказался глубоким и бархатистым, и его вибрации

пульсировали в ласковом воздухе позднего лета. У меня вдруг волосы на затылке встали дыбом. Я уже слышала этот голос раньше, когда-то давным-давно. Вибрации взвихрились вокруг меня, и воздух потяжелел, словно приближалась гроза.

– Преподобный, – медленно произнесла я. – Дочь сказала, ты приехал издалека. Наверняка ведь устал. Сядь и поведай нам о своем путешествии. Трехцветка, принеси преподобному... Холланду, чего-нибудь холодненького... попить.

Дочь усмехнулась и ушла, шурша юбками.

– Не позволяйте ей вас запугивать, преподобный Холланд. Маме нравится делать это теперь, когда она достигла возраста жены Мафусаила.

Я не особо разбиралась в Библии белых, но некоторые истории знала, в том числе историю Мафусаила.

– Жена Мафусаила умерла молодой! – крикнула я дочери вслед. – И вообще, покажите мне женщину, которая вытерпит мужчину девятьсот лет и не захочет удрать от него в могилу!

Смех Трехцветки и Ники наполнил летний воздух.

– И откуда ты приехал? – Я внимательно смотрела на сидевшего напротив молодого человека с таким знакомым лицом, знакомым голосом и знакомым смехом.

– Из Адамса, штат Техас, мэм, – ответил преподобный. – Это маленький городок, а по правде говоря, просто местечко у дороги. Недалеко от границы с Луизианой. Вы там бывали?

– Нет, голубчик, – отозвалась я и задала ему еще один вопрос.

А потом еще. И, признаться, делала это только для того, чтобы услышать звук его голоса. Словно у меня на руке был ожог, а его голос был бальзамом, который успокаивал боль.

– Расскажи мне о своих предках, – попросила я.

– Прошу, преподобный Холланд, – прервал меня голос Трехцветки. Ники принес с крыльца небольшой столик и пристроил прямо на землю рядом со мной. Трехцветка поставила на него поднос со стаканами, печеньем (ванильным, которое я люблю) и кувшином такого холодного чая, что стенки запотели. Потом налила мне стакан.

– Это тебе, мама, – и, улыбнувшись, протянула такой же преподобному Холланду. – Надеюсь, мама не забрасывает вас вопросами. Ей нравится, когда ее считают кроткой и мягкой.

Я почувствовала на предплечье теплую ладонь дочери.

– Но это не так. Она неистовая.

– Вовсе нет! – возразила я. – Не придумывай!

Смех Трехцветки хрусталем рассыпался в воздухе.

– Да что ты, мамочка, это же отличное слово. Это означает, что ты сильно чувствуешь. И вообще сильная. Очень сильная, учитывая, через что тебе пришлось пройти в жизни. – Ее голос прервался. Я посмотрела на дочь с удивлением и увидела, что у нее на глазах – теплых золотисто-коричневых, цвета кленового сиропа, как у отца, – показались слезы. Почему?

– Ваша дочь рассказала мне, миссис Грейс, что у вас была насыщенная жизнь. Я с удовольствием послушал бы ваши истории, если захотите ими поделиться.

Я на мгновение задумалась об этом, а потом снова обратилась в слух, потому что, ну, потому что, когда он говорил, я снова ощутила те вибрации, завихрения. Они означали, что в моей жизни вот-вот произойдут перемены, хорошие или плохие.

– Не считите меня грубой старухой, преподобный, но хотелось бы сначала услышать о вас. Кто ваши предки, откуда вы, как там оказались ваши родители? Вот вы, лично вы, откуда, говорите, приехали?

– Из Адамса, штат Техас, мэм, – любезно повторил преподобный, и голос его опять обласкал мой слух. Да он вовсе не юнец, а примерно ровесник Трехцветки. Боги, все вокруг молоды! Но когда-нибудь и вам стукнет столько же, сколько мне.

– Мама Грейс! – на этот раз на меня заворчал Ники.

– Нет-нет, все в порядке, – возразил преподобный Холланд.

Он поставил стакан и потер ладони, словно желая их согреть, хотя день был теплый. И мне стало интересно, почему он нервничает.

– Я... мэм... ну, мои предки... то есть мамыны все из Техаса, по крайней мере два последних поколения. Ее родители приехали вместе с хозяином еще в начале 1850-х годов, их хозяйство в Алабаме обанкротилось, земля истощилась, и им там просто нечего стало делать. А родители познакомились в церкви в Адамсе и в ней же поженились.

– Они там и живут? В Техасе? – спросила Трехцветка.

– Нет, мэм, мисс Трехцветка. Отец умер во время... попал в бурю, так называемый тайфун в Персидском заливе. Был моряком на торговом судне. Мама держалась изо всех сил, но она никогда стойкостью не отличалась и, когда мне было пять лет, заболела чахоткой и умерла.

– Упокой, Господи, их души, – пробормотала Трехцветка. – А сестры или братья у вас были?

– Одна сестра, но она тоже умерла. Меня дедушка воспитал...

Тут преподобный смолк, словно закончил рассказ, отвечая на вопрос, который собирался, да так и не задал Ники. Только я поняла, ну, может, еще Трехцветка, что это не конец истории. Во рту у меня пересохло, сердце заколотилось в груди, дыхание участилось.

– Отец твоей матери? – уточнила Трехцветка.

– Нет, отца. – И преподобный снова смолк. А затем сделал то, чего я никак не ожидала. Взял меня за руку. И я поняла и попросила:

– Рассказывай всё.

– Меня зовут Илай Холланд, миссис Грейс. Отца звали Седрах Холланд, а его отца – тоже Илаем. Меня в его честь нарекли. Тятя... я так его называл, тятя... ну, тятя Илай и его брат Седрах приехали в Техас со своим отцом, Джеймсом, их туда продали из Вирджинии. Тятя рассказывал, что хозяину по имени Нэш потребовались деньги выплатить долги и он продал часть своих людей. Среди них были и мой прадед Джеймс, дедушка, тятя Илай, и двоюродный дедушка Седрах. А вот тятину матушку... оставили.

Я услышала, как Трехцветка глубоко вздохнула. Она и Ники посмотрели на меня, я видела их краем глаза, но не могла на них отвлекаться. Пока не могла. Единственным здоровым глазом я, если можно так выразиться, во все глаза вглядывалась в лицо Илая Холланда.

– Мне было пять лет, когда я переехал жить к тятю, и с тех самых пор он мне рассказывал... как рос в Вирджинии, о брате Седрахе, об отце Джеймсе, который умер еще до моего рождения, и матери...

Он сжал мою руку.

– Тятя говорил, она африканка, красивая, умная и бесстрашная, и что ее привезли из-за моря. Она была повитухой, мудрой и умелой. Хозяева плантаций всегда звали ее, когда их жены и дочери рожали. Тятя говорил... что никогда ее не забудет... И заставил меня

пообещать... что, когда смогу, я найду его мать или кого-нибудь из родни и расскажу, как они с отцом и братом не сдавались, как все время пытались ее найти. Что они никогда ее не забывали.

В голосе преподобного послышались слезы, и на мгновение туман времени рассеялся, и я услышала, как теплый, сильный и глубокий голос Джеймса говорит мне о своей любви, рассказывает о Седрахе, маленьком и уже взрослом... И мой Илай... шепчет: «Мама, вот мой мальчик. Послушай его. Это я направил его к тебе».

– Я... Я ищу тебя с тех пор, как закончилась война. Тятя назвал мне имя человека в Вирджинии, который тебя продал, но там после войны ничего не осталось, совсем ничего. Потом я узнал от одного чернокожего проповедника, что тебя продали шотландцу, который жил в долине Шенандоа в Центральной Вирджинии. Я и туда съездил. Нашел его могилу, но...

Его могилу. В памяти всплыло лицо Маккалоха.

Сердце подпрыгнуло в горло и застряло там. Маккалох так хотел, чтобы его похоронили в земле родной Шотландии, но не успел уехать, смерть пришла раньше. И дочь не увидел...

– А потом я встретил людей, которые помнили истории о женщине-гичи, как они ее называли, знахарке-африканке, которая была повитухой и еще помогала людям бежать. И понял. Понял, куда идти. Но никогда не думал...

– Не думал, что застанешь меня живой, – продолжила я, осторожно выговаривая слова, потому что горло у меня сжималось. Я смотрела на преподобного и слышала голос Джеймса, видела его лоб и глаза, его телосложение, свой нос и губы матери. И глаза моего отца. И звали его, как моего сына, Илаем. Может, я и жива-то именно поэтому.

– Тятя велел мне... сказать... что он никогда тебя не забывал. Что твое лицо всегда было первым, что он вспоминал, просыпаясь, и... – Голос Илая дрогнул. – И последним, которое видел, умирая.

На той неделе у нас дома был праздник. Пришли все, кто жил в Итонстоппе и за его пределами. А в воскресенье Илай читал проповедь в баптистской церкви Бенджамина, и я сидела на передней скамье. Вот некоторые, верно, удивлялись-то, как на меня церковный потолок не обрушился! А вечером, когда солнце уже садилось, а веселье продолжалось, я доковыляла до заднего крыльца и уселась в кресло-качалку подальше от шума и музыки. Мой правнук Илай всю

дорогу держал меня за локоть и задавал вопросы, а потом поставил кресло поудобнее.

– А что случилось с отцом тети Трехцветки? Ты так и не сказала.

Да, не сказала. Это тяжело. Каждый раз, видя свою девочку, я вижу его. И вспоминаю, что он сделал. И знаю, ему так и не довелось добраться до своей Шотландии.

– Прости, мама Грейс, – преподобный Холланд преподнес мне эти слова, словно драгоценные камни. – Я утомил тебя своим приставанием. Отдыхай.

Я покачала головой.

– Нет, мальчик, я не устала. И расскажу тебе всё, что ты хочешь знать.

Он улыбнулся, и сердце у меня снова екнуло. Джеймс.

– Правда? Все эти истории, что про тебя рассказывают... про Африку, и пиратов, и... прочее. Всё правда?

– Может быть. А может, и нет, я ведь не знаю, чего там обо мне болтают. Есть только одна история, которую я знаю. Моя жизнь.

Мы с правнуком сидели на крыльце, а за дом опускалось солнце, и взойти ему предстояло на другом конце света, в том месте, где я родилась, где я прошла через дверь, откуда нет возврата, имея при себе только две вещи: свою жизнь и свое имя.

Благодарности

Семена для «Десяти жизней Мариам» посеяли еще в детстве мои бабушки, которые рассказывали в основном (но не исключительно) о своих бабушках и дедушках и о временах, в которых они жили, захватывающе интересных временах. Истории эти по повествовательной силе были сравнимы с лучшими преданиями и таинственными сказками на ночь. Лишь много позже я поняла, что рассказывали они о реальных людях.

Я фанат генеалогии, то бишь семейной истории. Но когда тщательно изучишь бумаги, микрофиши, оцифрованные и бумажные книги, приходится возвращаться к привычному «сказочному» зачину «однажды давным-давно». Я многим обязана рассказчикам по обе стороны моей семьи, но особенно прабабушке со стороны отца Джесси Хайварден Гарднер и двоюродной бабушке со стороны матери неукротимой Эмми Монтгомери Рид. Без их историй, как устных, так и записанных, я бы не осмелилась излить на бумаге все узнанное.

Благодарю также «Четверговую команду» – добровольцев, которые терпеливо и мастерски помогают желающим раскопать свои корни в Центре семейной истории библиотеки Джона Паркера при Национальном центре освобождения по Подземной железной дороге, расположенном в Цинциннати, штат Огайо. Мои коллеги Сью Мене, доктор Джон Брайант и Дэн Дейли были ангельски терпеливы, выказывали неиссякаемый энтузиазм, предлагали мудрые советы. Я не всегда им следовала, но надеюсь, меня простят за проявленную вольность.

Чтобы выстроить контекст и предысторию жизни Мариам, я проштудировала множество независимых источников, воспоминаний и книг, повествующих о жизни повитух, в том числе афроамериканок, и их пациенток на протяжении десятилетий и даже столетий. Очень много дали мне рассказы бывших американских чернокожих рабов, записанные под эгидой Управления общественных работ^[78]. Истории этих храбрецов часто приводили меня в изумление. Осталось много незакрепленных нитей, но, как любит говорить моя коллега и подруга, писательница Линн Хайтауэр, «ничто не пропадает впустую».

Принявшись за книгу, сначала я старалась скрупулезно приводить имена, даты, названия мест и описания событий, имеющих историческое значение. Но постепенно поняла, что такой подход неправомерен. События, которые много значили лично для моей героини, не были официально зафиксированы ни в каких хрониках. А прослушав истории о прежних временах от почитаемых в своих общинах старейшин, я и вовсе решила отказаться от жесткой, чуть ли не поминутной временной структуры. Ведь рассказчик может позволить себе такую роскошь, как время от времени корректировать время и географию своего повествования. Мое исследование выявило ряд противоречий в официальной хронологии и обогатило ее множеством нюансов.

Черный Цезарь, реальный и одновременно таинственный исторический персонаж, бороздил Карибское море в «золотой век» пиратства, но была ли при нем девочка-переводчица, никому неизвестно. А вот эпизод с появлением в хижине Мариам раненого *игбо*, чьи соплеменники предпочли рабству смерть в водах Совиного ручья, навеян инцидентом, который предположительно произошел около 1803 года в Данбарском Ручье на острове Святого Симона в штате Джорджия.

Натан Эллис (1749–1819) появился в повествовании благодаря писателю и коллеге Рону Эллису, первому читателю этой книги. Натан действительно управлял паромом, ходившим между Кентукки и Огайо, и был прапрапрадедом Рона.

Моя героиня могла появиться на свет в 1758 году. Однако точно установить год (хотя бы десятилетие) или место ее рождения невозможно. Поэтому даты условны, как и имена многих персонажей. Некоторые истории я аккуратно пересказала. Другие, те, где, исключительно между строк (о таком не говорят напрямую), речь шла о чем-то слишком болезненном, жестоком, личном или ценном, я привожу в виде рассуждений и воспоминаний. И не целиком.

Огромное спасибо моему редактору Патрику Генри Бассу, команде по рекламе и маркетингу *Amistad/HarperCollins*, а также моему агенту Мэтту Биалеру.

Неиссякаемый источник радости, вдохновения и поддержки – мои родные, и я выражаю им свою сердечную благодарность. Особенно же моему мужу Брюсу, который всегда рядом.

notes

Примечания

1

Библия, Книга пророка Иезекииля, глава 37. В стихах 1 и 2 описано видение, в котором Иезекииль видит лежащие среди поля сухие кости Израиля и Иудеи. Бог повелел ему пророчествовать на кости, чтобы вернуть их к жизни. Как только Иезекииль произнес Слово Божье, кости покрылись плотью и кожей. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Народ в Юго-восточной Нигерии.

Возможно, имеются в виду туареги, которые постоянно носят одежду, окрашенную индиго, и краска придает их коже голубоватый оттенок.

4

В описываемое время город Эдо – столица королевства Бенин, ныне известна как Бенин-Сити в штате Эдо в Нигерии.

В королевстве Бенин Ййоба, или мать Оба (короля; то есть королева-мать), занимала важное место в политической иерархии. Для нее возводился отдельный дворец, ей полагалась свита и множество служанок.

6

Народ, живущий на западе и юго-западе Нигерии.

7

Короли, принцы (*эдо*).

Дагомея – с 1958 по 1975 год государство в Западной Африке.
Ныне Бенин.

9

Город в Нигерии на крайнем юго-востоке Нигерии, близ ее границы с Камеруном.

Многозначительное название, поскольку «маринет» – плетка-девятихвостка, которой во Франции традиционно наказывали солдат и детей.

Мароны – беглые чернокожие рабы, а также их потомки. Мароны часто сотрудничали с прибрежными пиратами, совершали грабительские набеги на подконтрольные европейцам поселения, чтобы захватить продовольствие.

Обиа (*Obeah*) – ямайская система духовных практик, форма черной магии. Сейчас официально запрещена, но по-прежнему остается для многих жителей Ямайки важной частью жизни.

Мари! Мари! Открывай дверь! Скорее! (*фр.*)

Ну наконец-то! (*фр.*)

15

Одеваться, быстро (*φρ.*).

Ну, что еще? (*фр.*)

Где... (*фр.*)

В твою честь. «Черная Мари» (*фр.*).

Годится! (*фр.*)

Сукин сын (*фр.*).

Исторический морской термин, которым образно обозначался наблюдательный пост в виде открытой бочки, закрепленной на фок-мачте парусного судна. В бочке сидел наблюдатель или корректировщик артиллерийского огня.

Мусульмане.

Струнный инструмент с 21 струной, похожий на лютню и арфу одновременно, широко используемый в Западной Африке.

Который (*фр.*).

Никогда (*фр.*).

Бедняжечка (*фр.*).

Ну конечно! (*фр.*)

Успокойся (*фр.*).

Понимаешь? (*фр.*)

30

Послушай (*фр.*).

Замолчи! (*фр.*)

Головные уборы нигерийских женщин. Цельный кусок яркой ткани, нередко расшитой или разрисованной, который самыми разнообразными способами оборачивают вокруг головы. Их носят и как повседневную одежду и тогда заворачивают самостоятельно, а в особых, торжественных случаях требуется посторонняя помощь.

Hy, BOT (*φρ.*).

Глянъ-ка... (*фр.*)

Англичане (*фр.*).

Хорошо (*φρ.*).

Надеюсь! (*фр.*)

Это безличный оборот, который обычно переводится на русский назывными предложениями. Например: *Il fait chaud.* – «Жарко». *Il fait de l'orage.* – «Гроза». Дословно же может переводиться как «надо», «нужно», «необходимо». Поэтому смысл и ускользает от Мариам.

Горячевато (*фр.*).

Hy, BOT (*φρ.*).

41

Поспать (*искаж. фр.*).

Слушай (*фр.*).

Он не умер, а исчез (*фр.*).

Его здесь нет (*фр.*).

Индейский народ, в доколониальный период проживавший на юго-востоке Северной Америки.

Народ, живущий в Сенегале, Гамбии, Мавритании и Мали.

Колдунья, ведьма (гэл.).

Он же Азария – персонаж библейской Книги пророка Даниила. Один из трех юношей, которых царь Навуходоносор повелел бросить «в пещь огненную» за отказ поклониться золотой статуе царя и заявивших, что они веруют в Бога единого, который пребудет с ними.

Ураган, тайфун.

Илай (Эли) – храбрый воин из войска библейского царя Давида.

Он же Анания – еще один из трех отроков, брошенных в «пещь огненную».

Речь о лозунге «Нет налогам без представительства», в котором сосредоточилась главная претензия британских колонистов Северной Америки к королевской власти и колониальной администрации и который широко использовался в ходе Американской революции.

Местность и селение на побережье Верхней Гвинеи, в Западной Африке. Печально известный форт (с одноименным замком-тюрьмой), который использовался для перевозки рабов со всей Африки на корабли, направлявшиеся в другие части мира.

Сбежал из рабства в Кентукки со своей семьей и укрылся в Канаде. Он основал школу для американских негров, а позднее перебрался в Бостон, штат Массачусетс, где стал аболиционистом (сторонником движения за отмену рабства), лектором, бизнесменом и политиком. До Гражданской войны в США он и его жена Харриет Хейден, также бывшая рабыня, помогали многочисленным беглым рабам на Подземной железной дороге, часто укрывая их в своем доме.

Чарльз Лерой Блоксон (1933–2023) – американский историк, писатель, библиофил и коллекционер книг, исторических документов, произведений искусства и других материалов, связанных с историей и культурой чернокожих обитателей Америки, континентальной Африки и африканской диаспоры по всему миру.

Не вздумай тащить это в рот! (*фр.*)

Будь внимательна (*фр.*).

Моя маленькая Мари (*фр.*).

Белых (*фр.*).

И теперь (*фр.*).

Папа Легба – одна из центральных фигур в религии вуду, особенно в ее гаитянском варианте. Папа Легба является одним из духов-лоа, которого приверженцы религии считают посредником между людьми и всеми остальными духами.

Собаки (*фр.*).

Ну, тогда (*φρ.*).

Вот так (*φρ.*).

Будь готова (*фр.*).

Малышка (*фр.*).

Так в США называют потомков рабов из Западной Африки, проживающих в низинах, которые сохранили свою культурную и языковую историю. Термин происходит от названия реки Огичи, района, где многие из них поселились.

Боже мой... (*исп.*)

По шотландским и ирландским (кельтским) преданиям, полые холмы – обители «малого народца»: гномов, гремлинов, фей, эльфов.

Никогда! (*фр.*)

Дорогая (*фр.*).

Таково полное официальное название этого штата.

Американская писательница, автор семи романов и двух сборников рассказов. Ее роман 1999 г. «Жена Ахава» «Нью-Йорк таймс» назвала выдающейся книгой года.

Правовая доктрина, принятая в колониальной Вирджинии, а потом и в других колониях английской короны и в Южной Америке и определявшая правовой статус рожденных там детей. В соответствии с доктриной, дети матерей-рабынь сразу же становились рабами.

В одиночестве (*фр.*).

Самое крупное восстание чернокожих рабов.

Африканская методистская епископальная церковь.

Федеральное независимое агентство (*WPA*), созданное в 1935 г. по инициативе Ф. Рузвельта и ставшее основным в системе трудоустройства безработных в ходе осуществления Нового курса.